

- **АВТОПОРТРЕТ С ЮЛЕЙ**  
(новая повесть Бориса Полякова)
- **НЕОЖИДАННО КАК ЖИЗНЬ**  
(литературные дебюты Михаила Шепелева  
и Геннадия Вальдберга)
- **КАГЕБЫЛО – КАГЕБУДЕТ...**  
(перспективы России в статье Доры Штурман)
- **ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОСТАЛЬГИЯ!**  
(разгадка фильма Тарковского в "Листках из блокнота"  
Нины Воронель)
- **СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ...**  
(воспоминания Натальи Белинковой-Яблоковой)
- **УБИЙСТВО ПО-АНТИСИОНИСТСКИ**  
("дело Емельянова" в очерке Семена Резника)
- **"КАК ОНИ ПИШУТ ВДВОЕМ?"**  
(Василий Аксенов о новой книге П. Вайля и А. Гениса)

**22**

33

№ **33**

**МИШУСЯ И ЕРУСАЛИМ**  
**МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ**

---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

---

Год издания VI

№ 33

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

О. КУСТАРЕВ. Одна идея и два-три философа (рассказ) . . . . .	3
МИХАИЛ ШЕПЕЛЕВ. Рассказы. . . . .	9
НАУМ ВЕК. Стихи из книги "Стрела верлибра" . . . . .	36
БОРИС ПОЛЯКОВ. Автопортрет с Юлей (повесть, ч. 1) . . . . .	39
АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ. Молчанье вска (трагедия) . . . . .	88
ГЕННАДИЙ ВАЛЬДБЕРГ. Эй, Мота-а! (фантастический рассказ) . . . .	93

### УРОКИ ИСТОРИИ

РАЙМОН АРОН. В защиту нашей декадентской Европы . . . . .	117
---	-----

### РУССКИЙ ВОПРОС

ДОРА ШТУРМАН. Кагебыло кагебудет... . . . . .	123
---	-----

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

АМОС ОЗ. В яростном свете лазури. . . . .	140
---	-----

### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

НИНА ВОРОНЕЛЬ. Да здравствует ностальгия! . . . . .	153
---	-----

### ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

НАТАЛЬЯ БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА. Славное море, священный "Байкал"... . . . .	168
--	-----

### ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

СЕМЕН РЕЗНИК. Дело Емельянова. . . . .	187
--	-----

### ЛЮДИ И КНИГИ

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ о новой книге П. Вайля и А. Гениса . . . . .	201
Два мнения об одной книге (Доры Штурман) : В. Каган и И. Ефимов . . . . .	203
М. АГУРСКИЙ (о книге Э. Когана о Солженицыне) . . . . .	216
М. ВАЙСКОПФ (о книге Пятигорского и Мамардашвили). . . . .	217

## ПУБЛИКАЦИИ

ЛЕВ ШЕСТОВ. Письмо к отцу о Базельском конгрессе сионистов . . . . 221

*На последней странице обложки: кадр из фильма А. Тарковского "Ностальгия" (к статье Н. Воронель)*

---

## ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский

А. Воронель

Н. Воронель

Э. Кузнецов

Ю. Меклер

Н. Рубинштейн

М. Хейфец

Я. Цигельман

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

технический редактор — Наталья Рубина

ответственный за выпуск — Нелли Гутина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacifis Grove. Ca. 93950. USA

A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N. Y, 10036.

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

L. Gerschtein, 27 Bruckner str. 8 Muenchen 80

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

Типография "Дерби"

Тель-Авив

1983

## ЛИТЕРАТУРА

1. В мире много удивительных вещей. Мы не перестаем им удивляться. Кое-кто в своем удивлении заходит очень далеко. Некоторые моралисты, например, подчеркнуто удивляются тому факту, что до сих пор живы и здоровы плохие люди. Картинно пожимая плечами, моралисты спрашивают: как это их земля носит?

2. Риторический, чтобы не сказать дурацкий вопрос. Земля знает, кого ей носить. Носит же она сорняки. Зачем-то надо, не наша забота.

3. Но вот насчет плохих идей тот же вопрос надо бы поставить ребром. Они совершенно неоправданно носятся в атмосфере, отравляя ее не хуже, например, табачного дыма.

4. Живучесть плохих идей, надо думать, объясняется тем, что они хорошие. Не в том смысле хорошие, что хорошие. А в том смысле, что были бы хорошие, если были бы правильные. И еще в том смысле, что в них содержится кое-что хорошее. Точнее сказать, мы сами туда кое-что хорошее вставили. То есть мы говорим, что кое-что обстоит таким образом, подразумевая про себя, что оно должно бы непременно обстоять этим самым образом. Но мы при этом увлеченно не обращаем внимания, что оно обстоит абсолютно наоборот.

*О. Кустарев*

**ОДНА ИДЕЯ И  
ДВА-ТРИ ФИЛОСОФА**

5. Непонятно вышло. Но это ничего. Просто слишком теоретически. Можно и на пальцах разъяснить. Пример: допустим, мы говорим, что белое это белое. Мы так говорим потому, что нам позарез охота, чтобы так было. И совершенно не хотим обращать внимания, что белое это черное. Мы закрываем на это глаза, потому что слабые рабы своих фантастических и неукротимых желаний. Вот вынь нам и положи, чтобы белое было белым. Сделать с живой реальностью мы, рабы божьи, однако ничего не в состоянии. Поэтому мы и утверждаем нагло и безоглядно, что белое это белое, хотя, в сущности, нам просто очень хотелось бы, чтобы так было. Можно и еще конкретнее объяснить, но уже все понятно. Не будем переводить бумагу.

6. И много-много таких плохих хороших плохих идей застит нам глаза. Хотелось бы с ними побороться. Всех сразу, конечно, не одолеешь. Но некоторые, особенно нахальные идеи, ей-богу, кирпича просят. Особенно одна.

7. Долгими осенними вечерами, глядя без толку в книгу и встряхиваясь крепким чайком, полусонно размышляя о всякой всячине, я пришел к самостоятельному выводу, что особенно много недоразумений происходит от известной претензии на то, что будто бы разумное, красивое, справедливое и полезное — это все одно и то же и в жизни совпадает. На этот гвоздь намотана программа, что простому человеку ни выплюнуть, ни проглотить.

8. И пока, увлеченные собой и красивыми мыслями, романтики этой жизни пляшут и ползают вокруг своего изобретения, накапливается все больше фактов, говорящих (если их, конечно, спрашивают) за то, что этот симпатичный проект удобной гармонии не стоит ржавого цента, а есть абсолютная плешь и брешь.

9. Но тем не менее эта гипотеза на колесах прет, как танк, по чужим мозгам и, овладевая массами, становится такой силой, которую голыми руками не возьмешь и чистым разумом не закритикуешь.

10. Будем однако неустанно напоминать о фактах. Рано сдаваться, еще все впереди. Кроме того, непобедимых идей не бывает. Бога побороли — и кто? Смешно сказать — два настырных доцента с помощью Лейденской полбанки и Бекона с яичницей. И так — факты!

11. А факты — вот они. Кузанский рассказывает. Не тот Кузанский, который в Кузах, кажись, родился и в Кузах отказался, а Коль Кузанский, аспирант с Кишинева. Значит, с его слов.

12. Но перед тем, как уже окончательно обратиться к фактам,

придется все же сделать некоторое разъяснение, даже два. Они будут изложены в следующем пункте. Кто не любит путаных разъяснений, может пропустить.

13. Тем более что и номер у пункта противный. Такое совпадение. Итак.

Мучительный вопрос, который должен возникнуть у каждого пытливого студента, выглядит буквально так: если вы утверждаете, что разумное в кавычках ("разумное") и справедливое в кавычках ("справедливое") это одно и то же, то как же это проявляется в быту? Ответ: должно проявляться в том, что образованные люди — безусловно самые благородные и порядочные. Всмотритесь в свои представления о жизни, и вы увидите, что такая мысль постоянно в них суетится. Ее онтологические корни (как говаривает все тот же Коля Кузанский) довольно очевидны. В каждом живет тоска по благородству и порядочности. А где их найти? Где их ожидать, что проявятся? Только у ученых — больше нигде.

Такой переход с идеи на личности и позволяет нам проверять бывшую (только что) абстрактную идею фактами. Это было первое разъяснение.

Второе разъяснение можно было бы изложить отдельным пунктом, но я этого не делаю из опасений, что кое-кто может по ошибке вчитаться и останется разочарован. Ибо второе разъяснение — чисто внутреннее дело и касается чисто литературных забот. Главная неприятность — это та, что из одной идеи рассказ не состряпаешь; нужны действующие лица и исполнители. Идея что? Так, рамка, ее можно и на обложке изобразить. А по-настоящему рассказ начинается с того момента, как в нем появляются два философа. Они сюда пришли, потому что они-то уж знают, что художественному рассказу нужны не идеи, а факты. Идея — это только идея, у нее даже другого имени нет. А человек — совсем другое; человек — это факт.

14. Перехожу к перечислению двух философов, действующих в этом рассказе. Номер первый — Бертран Рассел. Не тот Бертран Рассел, который как-то раз в Москву наведывался, а философ Бертран Рассел, специалист по Бертрану Расселу (кончил университет в штате Айдахо в 1976 г.). Номер второй — Бубер, не тот Бубер, который, намучившись с немцами, перебрался в государство Израиль, а Маркуша Бубер, философ, специалист по Буберу (кончил Московский университет в 1976 г.).

15. Они работали рука об руку три года и три дня и вдруг как отрезало.

16. Всегда существовавшие между ними философские разногласия неожиданно резко обострились и перешли в настоящую поножовщину. В начавшейся войне с обеих сторон были использованы самые гнусные словесные средства и откровенная невежливость — последнее дело.

17. Суть разногласий для нас несколько темна. В двух словах, спор шел о каких-то интеллигибельных субстанциях. Бертран Рассел говорил что-то такое насчет гносеологических aberrаций экзистирующей ментальности и что, дескать, из них будто бы происходят эмердженции, передислоцирующие всю (или только практически, что ли, всю — не помню точно) стратификацию конфессиональных перцепций, или там рецепций, или, может, рептилий.

18. Бубер же, не будь дурак, утверждал, что все это чепуха на постном масле и что на самом деле будто бы существует какая-то конвергентность онтологических феноменов, которые, проецируясь затем на многомерное пространство конвенциональной экзистенции, провоцируют ментальные интенции, близкие по характеру к мастурбациям, что ли (боюсь, тут я что-то напутал). Но не в том суть.

19. А суть вот в чем. Казалось бы — подумаешь, дело. В конце концов, сколько голов, столько умов. Чего стулья-то ломать?

20. Но как раз именно до стульев дело и докатилось. Как говорится, хлопцы дерутся, а у стульев спинки трещат. Потому что стулья трещали и в прямом, и в переносном, и во всех остальных смыслах.

21. Какие там шутки: Бубер в самом деле замахнулся стулом на Рассела, а Рассел в ответ поднял на него свой. Спасибо, более хладнокровные сослуживцы кинулись со всех сторон и буквально повисли на стульях. Треск-то, собственно, от этого и произошел. Но все равно, неважно уж, что и как, а треск был.

22. Но что такое треск натуральных буквальных стульев в споре двух философов! Ерунда! Потому что настоящий-то треск исходил от тех самых воображаемых, так сказать, стульев, которые оба философа занимали по службе.

23. Подсиживали они, голуби, друг друга, а говоря в переносном смысле, хотели друг из-под друга стул вытащить.

24. Два философа, два ученых человека. Чей долг — во всеоружии разума подавать другим пример духовной красоты и справедливости, сцепились, как Бобик с Жучкой из-за куска собачьей радости, из-за прибавки к зарплате, из-за повышения.

25. И как сцепились. Слово за слово, а дошло и до доносов. И каких лицемерных. Нет чтобы обвинить друг друга в чем-нибудь таком очевидно нехорошем, допустим, Бубер Расселу в калошу насрал или, наоборот, Рассел у Бубера калошу стащил. Чего проще, казалось бы. Так нет. Один другому эти самые aberrации в нос тычет, а другой одному эти мастурбации, или как их там. Я – бухгалтер, счетовод, калькулятор простой в этом мире и то понимаю: нельзя человеку неправильную философию наподобие уголовной статьи шить. Ну, допустим, какие-то философии правильные, а какие-то нет. Но, положи руку на сердце, разве можно так вот запросто решить, какие есть какие, или как друг Коля Кузанский говорит, кто тут есть ху и ху есть кто.

26. Тем не менее оба философа ходили друг на друга жаловаться именно по поводу неправильных взглядов. Вот это и не укладывается в мою бедную голову. И как только не стыдно, ей-богу. Мало того, что два образованных человека вместо того, чтобы уступить друг другу дорогу, как этого требует закон совпадения ума и добродетели, который ихняя же братия и придумала, мало, говорю, того, что, вместо братского и джентльменского друг к другу отношения, два мыслителя вцепились друг другу в волосы. Они еще и такой своеобразный криминал друг другу стали навешивать, что только ахнуть можно.

27. Эх!

28. Но самая наиболее жуткая деталь. Два философа адресовались со своими кляузами третьему. Потому что начальник-то у них был того же роду-племени (штатный университет Юты, 1973 г.). И рассуждать между двумя спорщиками должен был по службе никто иной. Так что выходит жуткое положение дел: не только служебная склока переместилась на философский уровень, но и способ решения отдан в руки философам.

29. Я же сказал: "Эх!"

30. А между тем, при ближайшем рассмотрении, и предмет-то спора был абсолютный пустяк. 80 долларов ноль ноль в месяц. При нынешних-то ценах, зарплатах, налогах и сейлах. Место, видите ли, освободилось, на котором оклад содержания был на 80 бабок побольше. Ни за что. Просто ставка другая. Ну, там более ответственные бумажки акцептировать надо. Вместо клерка – старший клерк. И 80 рублей в придачу за название.

31. А еще философы.



### 32. Разве в старину такие философы были?

Образованные люди! Как получать разумное, доброе, вечное, так все лапы тянут. А как сеять — так их же не дозовешься.

33. Говорят, все бухгалтера — жулики. Да вы поглядите на философов! В наших банках от них вся суэта и интриги. Да и только ли в банках, господа меня прости, господа меня, господаи...

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**  
**НОВАЯ КНИГА**  
**МАЙЯ КАГАНСКАЯ И ЭЗЕВ БАР-СЕЛЛА**  
**"МАСТЕР ГАМБС И МАРГАРИТА"**

168 стр.

10 долл.

Со сказочным остроумием авторы показывают, что романы "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" получили бессмертие из рук Воланда и что загробная жизнь — это миф о загранице. Попутно срываются все и всяческие маски с Бегемота, Иоканана Марусидзе и "Театра-Варьете"; выясняется, что Андрей Белый лил воду на чертову мельницу, почему Маргариту зовут Маргарита, а Зосю Синецкую — Зося Синецкая, роковая роль, которую сыграли Ницше, Мейерхольд и князь Мышкин в судьбе Мастера, а также почему от слова "Мастер" у Сталина случилась истерика.

Книга "Мастер Гамбс и Маргарита", посвященная тайной связи Булгакова с Ильфом и Петровым, открывает жанр, неслыханный расцвет которого приходится на первую декаду XXI века — жанр научно-фантастического литературоведения.

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу:

"Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**  
**НОВАЯ КНИГА**

**АЛЕКСАНДР И ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ.**  
**ФАКУЛЬТЕТ ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЫ**  
(юмористические рассказы и повести)

240 стр

10 долл.

"Шаргородские — это два Вуди Аллена, прибывшие к нам из России", — пишет "Журналь де Женев". "Шаргородские — блестящие наследники традиций Зоценко и Бабеля", — добавляет парижская "Нота бене". А сами авторы скромно говорят о себе: "Мы — это Зоценко, Бабель, два Вуди Аллена, братья Гонкур и сестры Федоровы, вместе взятые".

Новый сборник произведений известных авторов заставляет плакать и смеяться, вспоминать и грустить. Эта книга так же обязательна в вашей библиотеке, как "Дацзыбао" Игоря Гарика. Даже в двух экземплярах. Потому что один у вас немедленно "уведут" друзья.

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow—Jerusalem" P O B 7045, Ramat—Gan, Israel

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ  
ЯКОВА ЭЛЬ-САФРАНО

Ровно в восемь часов утра Яков вошел в контору и сел за свой стол у окна.

Остальные сотрудники, пришедшие несколькими минутами раньше, толпились вокруг Моше и возбужденно обсуждали только что введенный налог на холостяков.

По иронии судьбы единственным холостяком в конторе был Яков. Однако он, как обычно, не вступил в общую беседу, а сосредоточился на обдумывании собственных нелегких проблем.

В конторе по регистрации земельной собственности Яков был антиобщественным элементом. Все в нем выдавало нонконформиста, начиная с неизменного пиджака и галстука, гладко выбритого лица и аккуратной прически. Он никогда не принимал участия в перерывах на кофе. Никогда не приглашал сотрудников на вечеринки и сам вежливо и твердо отклонял их приглашения. Приходил на работу и покидал ее точно в установленные часы — и в жару, и в дождь. Короче, всем своим поведением он как бы говорил сослуживцам: оставьте меня в покое, я здесь для работы, а не для компанейского общения.

Конечно, полностью избежать неделовых контактов было не-

*Михаил Шенелев*

**РАССКАЗЫ**

возможно. Вот и сейчас Дрора, настойчиво улыбаясь, попросила его снять с верхней полки стеллажа тяжелую книгу реестров.

Корректная улыбка Якова должна была ясно показать Дроре, что, выполняя свой долг джентльмена, он в то же время отрывается от работы, за которую государство платит ему зарплату. Передавая книгу, он постарался не коснуться невзначай пальцев неутомимой сотрудницы.

И снова к столу, чтобы завязать узелок на прерванной нити размышлений.

— Главное — не опоздать. Прийти раньше — еще полбеды, но опоздать!..

И на листке бумаги, который он положил перед собой, появилась первая за сегодняшний рабочий день строчка: "Войти между четырьмя и четырьмя пятнадцатью, ни минутой позже".

Яков придвинул к себе стопку папок с делами, развернул верхнюю, и его мысли во все ускоряющемся темпе потекли по привычному руслу.

Свои обязанности в конторе Яков выполнял добросовестно. Впрочем, обязанности эти были несложны и не требовали значительных затрат времени или сил. Разница между ним и другими сотрудниками заключалась лишь в том, что те открыто демонстрировали свое безделье — распивали кофе, вели бесконечные телефонные разговоры, обсуждали друг с другом семейные и политические проблемы. Яков же уделял час-полтора своего рабочего времени заполнению специальных форм, причем делал это аккуратно, без ошибок, остальное же время сидел за столом спиной к сослуживцам, разложив перед собой папки и формуляры и будто демонстрируя всем, как нужно много трудиться, чтобы избежать брака в работе. Он и вправду работал, — но уже в совершенно другой области: отвываясь от грешной земли и решая проблемы духа.

— Нужно твердо решить — прикупать до картинок или сразу блефовать. Нет, пожалуй, лучше всего несколько раз за вечер менять тактику...

И на листке появилась еще одна строчка, подводящая итог полу часовым размышлениям: "Картинки — блеф, чередовать три раза".

Еще раз покрутив в уме все варианты, Яков удовлетворенно расправил плечи и улыбнулся. В конечном счете, победу приносит знание теории вероятности и ее правильное использование.

Он уже подумывал, не заняться ли делами конторы, но тут вновь настал момент платить дань "человеческим отношениям". На этот

раз к нему обратился Моше и начал длинно, с ненужными подробностями объяснять, что случилось с карбюратором его "Опеля". Яков уже подумал, не спутал ли его Моше с кем-то другим, и собирался отрезвить его напоминанием, что слово "карбюратор" слышит первый раз в жизни, но тут Моше вдруг прервал сбивчивый поток своей речи и деловито попросил:

— Ты ведь едешь в сторону парка? Подбрось меня к дому, это по дороге...

Ну, вот. Для чего, спрашивается, человек планирует свои дела с ювелирной точностью, если судьба в любой момент может вырвать уже поднесенный ко рту стакан?

— Извини, но как раз сегодня я еду в прямо противоположном направлении — у меня важная встреча, на которую я не могу опоздать.

Его ледяной тон не смутил Моше.

— Так это еще лучше, подбрось меня к центру, я заеду к матери, уже сто лет никак к ней не соберусь...

"Что он ко мне привязался?"

— Извини, но я не еду в центр. Это всего в трех кварталах отсюда, и, как я уже сказал, я должен быть там в точно назначенное время. Так что сегодня я никак не могу быть полезен.

Моше развел руками, как бы говоря, что нечего было и рассчитывать на этого "англичанина", — так сотрудники называли Якова между собой.

"Теперь у них будет занятие до конца рабочего дня — обсуждать меня", — подумал Яков и углубился в служебные дела. Но листок с записями снова приковал его внимание.

Через полтора месяца Якову предстояло идти в милуим и следовало уже сейчас позаботиться о том, как лучше спланировать эту ежегодную дань обороне страны. Лучше всего (с точки зрения Якова, разумеется) было бы пристроиться на береговой базе где-нибудь на юге. И зависело это — смешно сказать — от пухленькой солдаточки в военкомате, которая, сортируя направления, всего-то и должна была положить его, Якова, карточку в нужный ящик. Но разве можно полагаться на везение? Придирчиво обдумав все варианты, он остановился на летнем кафе — и недорого, и не слишком обязывает, и времени отнимает не так уж много — час, полтора. Процедуру придется, конечно, повторить несколько раз, вплоть до вечера накануне призыва, а там — прощай, солдаточка, до следующего года...

“Две “Колы”, мороженое, кофе”, — записал Яков, сложил цифры и вывел сумму. Что ж, за удовольствия надо платить, подытожил он еще один этап своей работы и улыбнулся, представив себе утренние купанья, свежий вечерний ветерок и долгие рыбалки. Сумма затрат явно окупалась.

Все это время он ни на минуту не выпускал из сознания одну печальную и в то же время сладостную мысль. Некоторое время назад с ним случилось то, что, если верить литературным источникам и рассказам друзей, рано или поздно настигает каждого мужчину, каким бы рационалистом он ни казался себе и окружающим. Какая-то голубоватая дымка нежности стала окутывать его точение, поблескивающие металлом умозаключения, решения, гипотезы и расчеты. И если первые дни Якову удавалось привычным усилием воли отключать ту часть мозга, которая занималась романтикой, то теперь он ощущал неумолимое приближение к центру опасного водоворота. А ведь начало было таким банальным...

И все же ему и на этот раз удалось уйти от размышлений по поводу этого назойливого вопроса. Не прояви он твердости — весь день был бы потерян. У настоящего мужчины, — а Яков не без оснований считал себя таковым, — на лирику должно уходить только свободное время. Если оно есть...

А его не было. Якову предстояло еще обдумать самую болезненную проблему, которая обязательно должна была быть решена сегодня. Сегодня, в половине восьмого, он должен был дать ответ. Конечно, все вычисления он уже давно проделал и знал, что ответить нужно отказом. Но лирическая дымка снова заслоняла стройные ряды цифр.

Совершенно очевидно, что этот так называемый “заем”, по сути дела, является безвозвратной помощью. Но ведь он, Яков, не распорядитель филантропического фонда! Верно, они были друзьями. И обстоятельствам того, кому он сегодня должен отказать (в весьма значительной сумме, будем откровенны) нельзя позавидовать. Но, с другой стороны, разве Яков виноват в его несчастьях? Разве не Яков предупреждал, что “чувства” до добра не доведут, что все решает логика, трезвый расчет и холодный анализ? И кто же в результате оказался прав? Вот он, Яков, построил свою жизнь сам, не прибегая к посторонней помощи, полагаясь лишь на свое знание людей и безошибочные вычисления сравнительной стоимости каждого шага. А теперь у него хотят забрать часть с таким трудом заработанных им денег! Нет, все эти сантименты: дружба, время, кото-

рое они так славно провели вдвоем, трагические последствия его отказа — все это не стоит ни гроша. В конце концов, это “славное проведенное время” он честно оплачивал — свою половину, разумеется. А несчастная судьба неудачника — что ж, за удовольствия надо платить...

И на белом листке, под колонкой цифр, появилось написанное твердой рукой слово “нет”. Если присмотреться, можно было заметить, что оно было написано чуть крупнее, чем все предыдущее.

Рабочий день подходил к концу. Сотрудники уверенно добивали свои сердца кофеином, танином и сахаринном. Телефон разбухал от количества выслушанной и переданной информации (не имевшей, естественно, никакого отношения к земельной собственности). Яков еще раз отклонил попытку Дроры войти с ним в контакт, на сей раз физический — острая необходимость вдруг выглянуть в окно заставила ее нагнуться над столом, и только быстрота реакции позволила Якову избежать прикосновения тяжелой груди искальницы приключений.

Улыбка Дроры ясно показывала, что она не обескуражена и намерена продолжать свои попытки до победного конца. Эта настойчивость даже слегка смягчила Якова. Он-то знал, что его крепость никто сокрушить не может!

Он глянул на часы, спрятал в карман листок бумаги — итог его нелегких, но плодотворных размышлений, сделал на столе перестановку, подготавливая документы к завтрашнему дню, и, бросив всем сослуживцам общее, корректное “Шалом”, вышел из конторы.

\* \* \*

Около семи вечера Яков припарковал машину недалеко от дома, где ему предстояла очередная встреча. Времени оставалось еще достаточно, и он мог, как обычно, посидеть за столиком в своем излюбленном кафе.

Это место, находившееся на задворках некогда процветавшего, а ныне обветшалого квартала, было облюбовано двумя категориями пестрого израильского общества — проститутками и лесбиянками. Отсутствие конкуренции между этими столь разными представительницами прекрасного пола делало отношения между ними трогательно гармоничными. Нередко можно было видеть, как профессионалки ищут утешения у своих бескорыстных подруг, укрепляя своими жалобами на клиентов и сутенеров и без того прочное

отвращение жриц однополой любви к безобразной половине человеческого рода.

Яков давно уже стал завсегдаем этого крошечного участка, населенного человекообразными планеты. Здесь его непрерывно действующий мозг отдыхал, безучастно — хотя и с некоторым любопытством — воспринимая чужие страдания и радости, которые ни в малейшей степени не затрагивали его жизненные интересы. Порой, вслушавшись в сбивчивую речь какой-нибудь девицы, он невольно начинал в уме анализировать ее ситуацию и быстро и безошибочно находил решение ее пустяковых проблем. Но, естественно, он никогда не высказывал своих решений вслух. Вмешаться — значило нарушить нестройное течение жизни, проявить интерес — значило стать соучастником того, что являлось для него всего лишь бесплатным представлением.

Постоянные посетительницы давно привыкли к тщательно одетому “джентльмену”, почти ежедневно проводившему за одним и тем же столиком пятнадцать-двадцать минут за чашкой кофе или бутылкой “Колы”. Они тоже были безучастны к нему — не клиент для одних и не партнер для других, он был для них существом из параллельной вселенной, и они не считали нужным скрывать от него свои тайны.

Внезапно в узком проходе, отделявшем тупик, где находилось кафе, от пустынной улицы, Яков услышал женский визгливый крик и мужские ругательства. Два широких шага — и его взору представилась рядовая для этих мест картина: двое грузных мужчин деловито избивали прижавшуюся спиной к стене худенькую женщину. Это была Браха — Яков прекрасно знал ее по горестным монологам в кафе — мужчины же были ее сутенерами, которым она отдавала заработанные деньги в обмен за защиту ее “участка” — бульвар Ротшильда и примыкающие к нему площади Арлосорова и Бен-Гуриона — от конкурентов.

Проблема состояла в том, что денег на приличную жизнь у этих мужчин всегда не хватало, и они не без основания полагали, что Браха могла бы зарабатывать куда больше, если бы не торчала вечно в кафе, где, понятно, никаких клиентов подцепить не могла и лишь подрывала невероятным количеством выпиваемого кофе и выкуриваемых сигарет основы материального благополучия их спянного коллектива. Они уже не раз предупреждали ее, что лень не доведет до добра, и вот, очевидно, наступила развязка: стало ясно, что половинчатые меры недостаточны, и Браха, в очередной

раз застигнутая в рабочее время в кафе, должна была понять всю греховность своей праздной жизни.

Браха твердо знала, что падать нельзя — если упадет, забьют ногами, — и она, беспрерывно визжа, металась в узком пространстве — слишком большая мишень, чтобы рассчитывать на промах специалистов. Ее голые, по-детски худые руки, то распростертые по темно-красной кирпичной стене, то собирающиеся после особенно чувствительного удара, были как бы цветовым сопровождением симфонии звуков, сопровождавших избиение. Сутенеры били Браху без злости, без эмоций, деловито выполняя свою задачу — нанести саботажнице как можно больше болевых ощущений в единицу времени — и одновременно демонстрируя постороннему наблюдателю — каковым в данный момент являлся Яков — прекрасное знание анатомии, недюжинную силу и безошибочную меткость.

Яков, мгновенно оценив происходящее, уже повернулся было идти прочь от горестей и проблем параллельного мира. И вдруг лирическая дымка, — который раз за этот день! — вновь заслонила перед ним реальность. Последняя мысль его внутреннего компьютера: “Она сама виновата...” — была прервана произвольно вырвавшимся из его уст криком:

— Оставьте ее, подонки!

Возглас этот был полной неожиданностью и для тех, кому он предназначался. Джентльменская фигура Якова выглядела несерьезно на фоне рыцарей полночного мира, даже Браха это понимала.

Один из мужчин недоброжелательно глянул на Якова и равнодушно буркнул:

— Проваливай, пока цел!

Ответ Якова не оставил сомнений в зловредности его намерений:

— Я сказал, оставьте ее в покое!

Сутенеры были профессионалами, и потому им чужда была словесная перебранка, которая предваряет, а иногда и заменяет столкновения любителей. Тот, что стоял ближе к Якову, выбросил вперед правый кулак, и Браха поняла, что все предрешено, — удар, падение на землю, ноги в тяжелых ботинках.

И Браха, и сутенеры допустили жестокую ошибку.

Расставив ноги на ширину плеч, повернувшись к нападающему вполоборота, старший сержант воздушно-десантных войск Яков Эль-Сафрано нанес по приближающейся к его подбрюшью руке страшный удар предплечьем. Не обращая внимания на животный



крик боли и звук падения тяжелого тела, он тотчас привел тыльную сторону ступни своей левой, ударной ноги в соприкосновение с коленной чашечкой второго противника, и тот тоже рухнул на землю, вторя стонам своего партнера и еще раз доказывая ту простую, но так трудно доходящую до людей истину, что быстродействующий компьютер надежнее того устаревшего устройства в черепахе, которым беспричинно гордится большинство населения этой странной планеты.

Браха застыла у стены, всей своей нелепой позой выражая недоумение и ужас. Все произошло слишком быстро и неправдоподобно не по правилам. Сутенеры валялись у ног Якова, гортанно всхлипывая:

— Чего привязался, сказал бы по-хорошему, мы бы ее тебе и так отдали...

— Что со мной теперь будет, что со мной теперь будет?! — монотонно завела Браха.

Интеллект Якова не терпел дел, не доведенных до конца.

— Ты, — сказал он, упершись в Браху своими излучающими твердость и волю оптическими элементами, — позвонишь в полицию, скажешь, что они подрались, избili друг друга. Они подтвердят.

— Подтвердим, чего там! — заныли сутенеры.

— А я, как же я? — снова завывала Браха.

Яков остановился. И снова возвышенные эмоции вызвали в нем неоправданную с точки зрения холодной логики реакцию. Все же жалко было это несчастное существо, которое теперь будут третируют все, кому не лень. Другие сутенеры выгонят ее с ее участка, будут зажимать в подворотнях, отнимать деньги. Самая последняя мразь будет помыкать ею, как вещь, нимало не заботясь о ее сохранности.

— Ну, хорошо, — сказал Яков, решив дать выход положительным эмоциям. — Скажешь всем, что ты теперь под моей защитой. Никто тебя не тронет, а тронет — в госпиталь его отправлять не придется, разве что в морг.

Глаза Брахи лучились радостью и надеждой. Неуверенная улыбка появилась на ее покрытом синяками лице. И Яков разрешил ее последние сомнения, завершая этим короткий эпизод, едва не сорвавший его столь мастерски намеченные планы:

— А деньги будешь отдавать мне здесь, в кафе, ты знаешь, когда я здесь бываю...

Л. никогда не писал писем. У него не было потребности выстраивать на бумаге дорожки из причудливых значков, глядя на которые, кто-то, находящийся за сотни километров, сможет узнать, что Л. ел на ужин, какая мысль пришла ему в голову, когда он проснулся, и что было причиной покупки нового костюма.

Л. считал, что вряд ли кто-либо — все равно, знакомый или незнакомый — заинтересован заглянуть в его внутренний мир, и, по правде сказать, если бы столкнулся с подобного рода интересом, скорее всего был бы неприятно удивлен. Он полагал, что его мысли принадлежат только ему — так же, как испытываемые им огорчения, радости и надежды, и поверить их другим людям означало бы потерять часть себя. А это совершенно не отвечало его интересам.

Но однажды утром, сев поудобней к столу, Л. начал писать на плотном белом листе бумаги, сначала медленно, неумело, затем все быстрее, стараясь успеть за ходом своих мыслей.

Письмо?

Да, Л. решил написать несколько писем.

Нет, он не поступался своими жизненными принципами. Все письма будут адресованы ему самому — с условием, что он получит их через двадцать лет.

Перед самим собой он мог без колебаний и страха раскрыть сложный мир своей души, свою непростую и неординарную жизнь, полную счастливо избегнутых ловушек, обойденных углов и хитроумных обходных дорог, кратчайшим путем ведущих к цели.

К сожалению, Л. не удалось довести замысел до конца. Даже самый опытный игрок может совершить ошибку. В случае Л. ошибка была роковой. И таким образом письма стали доступны посторонним. Вот часть из них.

Письмо первое.

Дорогой Л.

Я решил написать тебе письмо. Сегодня у меня масса свободного времени, и я подумал, что тебе будет интересно вспомнить меня, еще сравнительно молодого, удачливого и полного сил человека свободной профессии. Я так и представляю себе, как ты дрожащей (трясущейся?) рукой вынимаешь из потемневшей, почти черной (сейчас она ярко-голубая) шкатулки стопку темных хрупких

листочков, раскладываешь их по порядку и, водрузив на нос очки, приступаешь к чтению.

Сейчас апрель, одиннадцать утра. Я недавно встал, умылся и как только закончу это письмо сяду завтракать.

Вчера у меня был удачный день (как, впрочем, обычно). Опишу все по порядку.

Ты, конечно, не помнишь Рути? Такая маленькая, смуглая, распущенные черные волосы, пухлые красные губы — не помнишь?

Нет, в общем, ничего особенного, просто вчера она, наконец, согласилась пойти со мной в постель — в ее постель, разумеется. Моей, как ты знаешь, пользуется только один человек — я сам.

Итак, вчера, часов в десять, после довольно милого вечера в маленьком кафе на углу Линкольна и Вильсона (существует ли еще это кафе? Оно называлось "Майами"... ) мы двинулись по направлению к ее дому. Рути многозначительно сообщила мне, что подруга, с которой они вместе снимают квартиру, уехала к родителям на пару недель.

Заметь, до этого она целый месяц упорно отклоняла все мои попытки обнять ее чуть покрепче, чем положено хорошему знакомому, хотя мы виделись почти каждый вечер.

Мы углубились в пустынные, темные переулки, и вдруг она повернулась ко мне и сказала:

— Ты счастлив, что добился своего?

Л., дорогой, по-моему, это был бестактный вопрос. Что значит "добился"? Разве она сама не хочет того же? Если нет, чего ради мы тащимся к ней? Вечер, надо сказать, был довольно прохладный. И честно говоря, в эту минуту перед моим мысленным взором стояла совсем не постель, а рюмка коньяка. Поэтому я ответил ей чуть-чуть спокойней, чем следовало бы по сценарию (и она это, к сожалению, уловила):

— Если ты этого не хочешь, мы можем попрощаться у дверей твоего дома...

— А как ты думаешь, хочу я или нет?

Брр! Никогда не связывайся с хрупкими брюнетками. Они готовы всю твою жизнь превратить в викторину, и каждый раз вместо приза тебя будет ждать очередной вопрос.

— Я думаю, что ты ко мне не совсем равнодушна...

Кажется, попал в точку, слава Богу. Расспросы прекратились. Впрочем, мы уже подошли к ее дому. Сложная операция по вылавливанию ключа из битком набитой сумки, открывание замка, за-

жигание света в передней. Я вхожу, захлопываю дверь, пытаюсь ее поцеловать, и — мои нескромные поползновения гордо отклонены. Зачем мы все-таки здесь?

Мы проходим в гостиную, садимся на диван, и Рути сообщает мне следующую потрясающую новость:

— Я так устала, что боюсь, не дойду до кровати...

Пойми меня правильно. В таких случаях почти всегда чувствуешь, что твое самолюбие подвергается слишком тяжелым испытаниям, и начинаешь испытывать почти подлинную страсть (что такое подлинная страсть, кстати, ты не узнал случайно?). Я говорю с обидой (на этот раз натуральной) :

— У тебя не найдется рюмки коньяка, я бы выпил на дорогу?

Знаешь, я замечал много раз, — чем больше реплика соответствует твоему подлинному настроению, тем более неправдоподобно она звучит. Я сам поразился фальши моей фразы. А ведь я искренне мечтал о коньяке.

Она, ни слова не говоря, выходит на кухню, довольно долго отсутствует и вдруг появляется — совершенно обнаженная, с бутылкой коньяка в одной руке и бокалом — в другой.

Опять викторина — с чего начну?

Теперь я опишу тебе Рути. Коньяк “Наполеон” ты, надеюсь, и сейчас еще живо себе представляешь. Без одежды она была еще более тоненькой, совсем хрупкой, как веточка. Но она не походила на девочку — тяжелые груди с ярко-красными сосками, женственные бедра, соразмерные с фигурой, смуглое тело.

Итак, она подходит ко мне почти вплотную — я, как ты помнишь, сижу на диване — и говорит (как я и предполагал) :

— С чего начнешь?

Ты знаешь все практические неудобства, связанные с раздеванием перед уже раздетой женщиной. Одно дело, если они раздеваются или раздевают друг друга оба — так сказать, в порыве страсти. Но мужской стриптиз, даже для небольшой и неодетой аудитории — нет, это не для меня. Поэтому я взял из ее рук бутылку и бокал и сказал негромко, но твердо:

— Иди в кровать, я разденусь и приду.

Она опустила голову и пошла в спальню.

Я подумал, что победа все-таки осталась за мной — сначала коньяк! Я сделал хороший глоток, разделся, еще глотнул, подумал, не взять ли бутылку с собой, но все же оставил ее в гостиной и, погасив за собой свет, вступил в храм любви, то есть в помеще-

ние, которое должно было стать таковым через несколько минут. Она лежала на простыне, неукрытая (хотя было, напоминая, довольно прохладно) — губы сжаты, руки прижаты к бедрам, ноги сдвинуты вместе, чуть согнуты в коленях. Я сел на край кровати, нагнулся над ней и коснулся губами ее губ. Они были сухими и горячими. Я приподнял ее голову, раздвинул губы языком и начал медленно вовлекать ее в наш первый поцелуй.

Думаю, мне в конце концов это удалось, — Рути обняла меня и прошептала:

— Будь осторожен, дорогой, ты у меня первый.

В общем, этого можно было ожидать — не все такие смельчаки, как мы с тобой, старина. Обычных, рядовых мужчин отпугивает ирония, даже заключенная в столь соблазнительную упаковку.

Что касается дальнейших наших действий, они не отличались оригинальностью. Я надеюсь, ты еще помнишь, как это делается...

Около шести утра я встал, укрыл ее простыней, оделся, глотнул коньяка и поплелся к стоянке. Машину, к счастью, не угнали. Четыре часа глубокого сна, и вот я пишу тебе письмо — так сказать, письмо счастливого, здорового и отдохнувшего человека, предвкусывающего вкусный и плотный завтрак.

Пока! К сожалению, не предполагаю получить от тебя ответ.

Твой Л.

Письмо третье.

Привет, старина! Давно не брался за перо. Дела, дела! Сейчас уже август, восемь вечера. Я сижу за столиком (он еще стоит в твоей квартире? Небольшой, красного дерева, инкрустированный металлом?), на мне новый серый костюм. Меня ждет масса разнообразных (и не очень приятных дел), так что просто необходимо немного расслабиться.

День, как обычно, был посвящен планированию вечера. Для нас, людей свободной профессии, не существует оффисов, установленных часов работы, секретарш, деловых бумаг и, тем более, помощников. Мы ведем свои сложные и опасные дела в кафе, цифры записываем на клочках салфеток или на обороте меню и все обязательства сторон, сроки выполнения контрактов, а главное — степень ответственности партнеров держим в голове.

Вот и сегодня я продумывал, как вести себя во время вечерних деловых встреч — одна предстоит в кафе, другая в ресторане и еще несколько разговоров — в салоне электронных игр. Это замечатель-

ное место — все так увлечены этой почти совершенной имитацией жизни, что на настоящую жизнь уже не обращают внимания.

Там же в салоне, предстоит встреча с Рути, я писал тебе о ней — хмурая брюнетка лет двадцати, она немного помогает мне в последнее время. Ты ведь знаешь мои принципы — не смешивать дела с романтикой. Поэтому вполне естественно, что когда наш романтический период кончился (это произошло довольно быстро), наступил период прозаических, но необходимых совместных дел, и никакой связи между этими, совершенно несовместимыми занятиями, разумеется, не существует. Для меня. К сожалению, Рути не очень быстро соображает, и ее бесконечные намеки начинают раздражать меня. Поэтому вчера я попросил ее подойти часам к десяти в салон, где мы сможем откровенно объясниться.

Ты знаешь, я не очень начитан. Уже с детства я предпочитал познавать жизнь естественным путем — контактируя с ней. Именно поэтому ты уютно сидишь сейчас в своем роскошном особняке, и счета в многочисленных банках надежно охраняют твое будущее от посягательств настоящего.

Книги! Истории о любви и дружбе, верности и предательстве, написанные не очень умными людьми, чтобы развлечь других не очень умных людей. И это они называют развлечением!

Я никогда не употреблял суррогатов. Если мне хотелось любви, я добивался ее (ты же имеешь возможность ее купить, что тоже не худший вариант). Естественно, настоящая любовь отличается от той, что возникает в блеклом воображении писателей. "Любовь на всю жизнь", — утверждает теоретик, которого уже оставили три жены, а четвертая подумывает о разводе. "Любовь — это океан страстей и вершина наслаждений", — пишет другой, неспособный уделить женщине в постели больше пятнадцати минут и не чаще, чем раз в месяц. "Любовь — это полное слияние душ и тел", — сообщает третий, проводящий свободное от теоретических изысканий время в довольно безвкусных оргиях (и чаще всего в качестве наблюдателя).

Увы, есть люди, принимающие на веру каждую строчку, если она напечатана типографским способом. Я пытался убедить Рути, что любовь, как и все на свете, имеет начало и конец. И не надо искать в реальном мире отражение чьих-то маразматических фантазий. Романы для чтения, жизнь для жизни.

Начав работать у меня, Рути решила, что может совмещать функции любимой женщины с обязанностями подчиненного. Я четко и

ясно дал ей понять, что любовь окончена и отныне трудовые отношения — наш предел. К сожалению, как я уже упоминал, интеллект — не самая сильная ее сторона.

Ее непрестанные намеки во время деловых свиданий, неожиданные прикосновения ко мне (да еще при клиентах и компаньонах) — все это заставило меня назначить, наконец, ей это позднее свидание. Подумай, тратить свое драгоценное время на такую чушь!

Еще одно неприятное дело, предстоящее мне сегодня, касается другого аспекта человеческих отношений. Речь идет о верности обязательств. Интересно, он еще жив, Рони? Высокий, коротко подстриженный, серые глаза, мощный подбородок? Чистый Джеймс Бонд, только слишком уж сверкает — золотая цепь на шее, золотой браслет на руке, перстень на пальце, золотая зажигалка, такой же портсигар, такие же часы с массивным браслетом... Сегодня мы должны подвести с ним итог полугодовой совместной работы. Я почти уверен в его полной несостоятельности и, чтобы скрасить это неприятное мероприятие, заказал грандиозный ужин. Когда он кончится, будет ясно, существует Рони в твоё время или нет...

Что делать, безответственность надо искоренять.

Пофилософствую еще немного. Так сказать, теоретические изыскания трезвого практика.

Кое-кто, пожалуй, назовет меня жестоким человеком, лишенным чувств, веры и возвышенных идеалов. Я мог бы ответить на это, что жрецы так называемой "духовности" на деле не менее жестоки и прозаичны, чем мы с тобой, трезво оценивающие ситуацию. Но дело не в них. Ты прекрасно знаешь, что мой (и твой, надеюсь, тоже) духовный мир богат и разнообразен. Я знаю, что такое любовь — хотя и меряю ее не продолжительностью, а силой страсти. Я сочувствую людям — сейчас, например, я жалею Рони, который явно взялся не за свое дело и решил повернуть свои гешефты за мой счет. Я жалею Рони. Другое дело, что помочь ему уже нельзя. Но ведь и самый большой романтик не может спасти человека, прыгнувшего с крыши тридцатизэтажного дома — еще вопрос, успеет ли он пожалеть его.

Итак, расчет и чувства могут сосуществовать, и меня вполне устраивает, если зачастую их выводы в отношении тех или иных необходимых действий оказываются противоположны. Разве не в этом полнота жизни, когда ты, тщательно обдумав свой завтрашний шаг, печально любишься красотой или дерзостью тех, кого этот шаг навсегда оставит во вчерашнем дне? Течение жизни стремительно и

непрерывно, но извилистость реки, глубокие ямы, чередующиеся с мелями, водовороты — все это и создает наслаждение красотой плавания — особенно, если ты уверен в его безопасности, не правда ли, мой друг?

Пока, всего наилучшего в моем завтрашнем дне. Твой Л.

Письмо четвертое.

Дорогой мой. Неделю назад я написал тебе "философское письмо" — верный признак плохого настроения. К сожалению, в этом плане перемен к лучшему не наблюдается.

Сейчас начало сентября, двенадцать часов дня, жарко. Я встал сравнительно недавно, привел себя в порядок, выпил содовой и сел писать письмо, надеясь по ходу описания тебе своего состояния самому получше разобраться в нем.

Итак, вчера, если оценивать объективно, у меня был неплохой день. Во-первых, я узнал, что несчастный случай прервал наши трудные отношения с Рони, избавив меня от необходимости выяснять скучные и мелочные подробности нарушения им неписанных соглашений. Бедняга, он не соблюдал правил при езде по нашим опасным дорогам!..

Во-вторых, я провел чудную ночь (с одиннадцати вечера до пяти утра) с Моникой. Ее-то ты, наверняка, не помнишь — она через неделю уезжает в Австрию и вряд ли еще появится у нас. Моника приехала только вчера, в качестве добровольца в кибуц.

Сначала она мне показалась похожей на сытую корову — невыразительное лицо, неимоверный бюст, мощные бедра, выползающие из шелковых мини-шортов. Мы встретились в баре около железнодорожной станции: она под села к моему столику, заказала кружку пива, отпила почти половину и равнодушно передала мне привет от Шмуэля из Вены.

Вот уж никогда не подумал бы, что Шмулик пошлет товар с такой флегмой. Но я скрыл удивление и спросил, как дела у ее тети, — удостоверил свою личность. Она, не проявляя никаких эмоций, заказывает еще кружку — первая уже пуста.

— Где товар? — спрашиваю.

Еще один мощный глоток, внимательный взгляд на меня, словно оценивающий мои потенциальные возможности, улыбка — мол, итог благоприятный — и заявление:

— Товар со мной, только отдать его могу строго наедине.



Наедине, так наедине, главное — поскорее. А она уже к третьей кружке присосалась. Я говорю:

— Милая барышня, я очень извиняюсь, но у меня крайне загруженный день, может, мы сначала покончим с делами, а потом займемся пивом?

Она снова посмотрела на меня внимательно и снова улыбнулась.

— Я во время работы спешить не люблю, кончай свои делишки и приходи сюда, я подожду.

Ну, не бить же ее, да и проймешь ли — кожа, наверно, как у носорога. Я расплатился и сказал, что буду здесь часа через три.

— Хорошо, я подожду. Меня зовут Моника.

Я покрутился по своим делам, понаблюдая за работой Шауля — я его поставил на место Рони — и часам к десяти вернулся в бар. Моника сидит все в той же позе, пьет пиво. Выпила она уже кружек пятнадцать, задержись я еще на час — перевалило бы за два десятка. Я даже ощутил какое-то уважение.

Наконец, добрались до отеля, я сел на диван, стараюсь угадать, в каком тайном месте спрятан товар. У нее-то всюду поместилось бы достаточно. Она между тем, улыбаясь, снимает кофточку, шорты, просит меня расстегнуть молнию на купальнике, снимает купальник и вручает его мне. Так вот где был товар — шит между двумя слоями шелка! Шмулик не ошибся, посылая ко мне эту крупногабаритную красотку — товара было килограмма на два.

Тут я перевел глаза на Моника — и забыл о товаре. Какая там корова! Красивая обнаженная женщина, широко раскрытые голубые глаза, стройные длинные ноги, плавно переходящие в изумительной формы бедра, прекрасная грудь — где же были мои глаза раньше?!

Я отбросил купальник, сделал шаг вперед, и мы упали на ковер. Она сорвала с меня одежду, и мы буквально впились друг в друга...

Короче, очнулись только под утро. Моника очнулась первой, села, потрепала меня за волосы и нежно сообщила, что она-то готова провести на этом ковре хоть всю неделю, но для меня это, пожалуй, будет слишком.

— Да и Шмулику надо же что-нибудь оставить, ведь он наш общий друг, верно?

Кое-как добрался домой, свалился в кровать и мгновенно заснул.

Как видишь, все вроде бы хорошо. Даже Рути после недавнего

разговора ведет себя вполне пристойно — работает и не пристаёт, ни словом, ни жестом.

И все же что-то не в порядке.

Попробую разобраться, с тобой-то я могу быть вполне откровенным. Наверно, все же, никто не совершенен. Вот и я не могу сказать, что полностью свободен от сожалений. Все-таки люди не пешки, которые можно бесчувственно снимать с доски. И не важно, долгая ли была у тебя связь, которую ты безжалостно прервал, или все продолжалось всего один день, — место обрыва кровоточит, и ощущаешь пустоту, которую не заполнить десятком новых, пусть и самых приятных ощущений. Теряешь навсегда, получаешь на время.

Жалко Рони. Ведь по глупости пропал. Объяснял же я ему, что в нашем деле честность — самый дорогой товар, и за него приходится платить...

Неспокойно у меня на душе, даже воспоминания о Монике не помогают.

Ну, пока, дорогой. Надеюсь, когда ты получишь это письмо, рана уже зарастет и зарубцется. Твой Л.

Письмо пятое.

Дорогой Л. Наверно, нужно кончать нашу одностороннюю переписку — ведь не дневник же я, в конце концов, веду. Да и тебе, думаю, недосуг читать тома, посвященные повседневным радостям и печалям. Я уверен, что ты будешь отдыхать от дел активно — хватая жизнь за самые лакомые местечки, демонстрируя, чего стоят врожденные способности в сочетании с жизненным опытом...

Итак, это письмо — последнее. Закончу его и уберу шкатулку в секретер. А ровно через двадцать лет ты ее оттуда вынешь. Не торопись, сейчас конец сентября, значит — через двадцать лет, в конце сентября, в пять часов вечера.

Надеюсь, ты будешь сидеть, как я сейчас, один (письма только для тебя!), бутылка хорошего коньяка (рекомендую "Наполеон"), разогретый в ладонях бокал — и вот ты начинаешь погружаться в эти отрывочные, как бы прочерченные пунктиром события двадцатилетней давности.

Итак, как я уже сказал, конец сентября, только что прошел дождь, на улице темно, у меня же светло, тепло, немного коньяка (тоже "Наполеон"), от этого мысли ясней, а настроение чуть-чуть сентиментальней.

Настроение у меня неплохое. Я очень удачно распорядился товаром, который прислал Шмулик. Включая Моника. Я думал, что наше, такое бурное деловое свидание будет последним, но судьба часто смешивает карты по своему усмотрению, и на этот раз расклад получился в мою пользу (что, впрочем, случается почти всегда). Короче, на следующий день захожу я в бар, где должен был встретиться с Шаулем, заказываю оранжад и вдруг чувствую, кто-то глазами ощупывает мою спину. Я, как ты знаешь, не очень-то люблю тыловые заходы. Обернулся. За соседним столиком сидит Моника и совмещает исследование моей спины с поглощением любимого напитка. Судя по кружкам, сидит здесь уже не первый час.

Как же я ее сразу не заметил, спросишь. Очень просто. Во-первых, совершенно не предвидел такую возможность. Во-вторых, одета скромно — длинное серое платье полностью скрадывает достоинства фигуры, волосы уложены в замысловатую прическу — короче, барышня из офиса зашла на минуточку выпить бокал лимонада.

Пересела к моему столику и спрашивает:

— Как насчет сегодняшней ночи, не выдохся?

— Ты же собиралась оставить что-то для Шмулика?

— Я передумала. Мне кажется, мы с тобой чудесно сработаемся, виза у меня на полгода, а там посмотрим.

В общем, сделал я свои дела, вернулся в бар, уплатил за двадцать одну кружку пива, и, поверь мне, ночь прошла не хуже предыдущей.

На рассвете она кладет голову мне на грудь, и я чувствую, что она плачет.

— Моника, что с тобой? О Шмулике вспомнила?

— При чем тут Шмулик? Себя жалко. Опять с подонком связалась. Ты ведь меня сейчас в оборотпустишь, не так ли? Ведь я для тебя тот же "товар", разве что цена ниже...

Я сел, погладил ее по мягким волосам — где ты причесочка?! — и сказал серьезно и твердо:

— Моника, я не знаю, что ты имеешь в виду, называя меня подонком, может в моем английском это слово означает что-то иное, чем в твоём. Я деловой человек, зарабатываю на жизнь тяжелым трудом. Зарабатываю неплохо, но и работать приходится достаточно много. Хочешь работать со мной — не возражаю, но работа — это работа, путать ее с любовью я не намерен. Я тебя не держу, хочешь — оставайся, хочешь — уезжай. Но запомни: плачу я хорошо, но

только деньгами. Ты девушка красивая, сможешь получить много, но все должно быть ясно с самого начала — как только ты приступаешь к работе, между нами все кончено, я ни для кого исключений не делаю...

— Когда приступать, босс? — она приподняла лицо, залитое слезами. — Сейчас, или еще ночку со мной проведешь?

Все-таки я правильно тогда определил: корова, она корова и есть.

— Я тебя ни к чему не принуждаю. Хочешь, приступай завтра, хочешь — уезжай, хочешь — иди в кибуц. Там, конечно, как у меня, не получишь, зато вкусишь прелестей сельской жизни. Итак?

— Ну, поцелуй меня в последний раз. Где тебя завтра найти?

— В том же баре, в десять вечера. Познакомлю тебя с другими девушками и — в добрый час...

Это было три недели назад. А вчера, проходя по своим рабочим точкам, я с ней опять повстречался. Она молодец. Одета броско, но со вкусом. Подает товар солидно, не суетится. Я ей сказал, что очень ею доволен и буду платить больше, чем обещал.

Смотрит на меня своими коровьими глазами, и не понять — довольна или нет.

Через несколько метров встретил Рути — у той дела идут совсем плохо: выглядит неопрятно, волосы неприбраны, платье мягое, туфли без каблучков.

— Рути, — говорю, — ну что это такое, ты ведь получаешь больше, чем приносишь. Если так будет продолжаться, я вынужден буду прервать контракт. Посмотри на Монику — работает недавно, а уже есть постоянные клиенты, следит за собой, одним словом — делает дело. А я еще просил тебя ее опекать. Стыдно, ты ведь не девчонка неопытная...

Вот уж чьи глаза коровьими не назовешь. Посмотрела — как бритвой полоснула.

— Не девчонка, ты прав. Была девчонкой, а теперь все в порядке. И опыт есть. Спасибо, что напомнил.

Беда с этими худыми брюнетками... Но, в общем, вчерашним днем я остался доволен: Шауль в полном порядке, венский товар уже разошелся, девушки не бездельничают.

Пришел домой поздно, отменно выспался, великолепно позавтракал и часа через два снова приступил к работе.

Час назад позвонил телефон. Странно — те немногие, кто знает мой номер, не беспокоят меня раньше семи. Видно, ошибка или неисправность на линии — в ответ на мое "Алло" я не услышал ни

слова. На всякий случай, позвонил Шаулю, он был еще дома, но он мне, разумеется, не звонил.

Конечно, это просто ошибка. Это только в детективных фильмах так проверяют — дома ли намеченная жертва. Кто меня может наметить? До сих пор, как правило, намечал я, причем телефоном для проверки не пользовался.

Что это со мной? Да, старина, и такое случается — нервы расшалились, не просто так я коньячок выпил задолго до выхода из дома. Ну, ничего, ты ведь, конечно, знаешь, что ничего в этот, двадцать лет назад пролетевший день, с нами не слу...

## РЕАЛЬНОСТЬ НАДЕЖДЫ

Я подошел к обшарпанной двери на площадке четвертого этажа, посмотрел на часы и нажал кнопку звонка. Было точно семь часов пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд.

Вчера по телефону Меир сказал мне веско:

— Только не опаздывайте, моя жизнь расписана даже не по минутам, а по секундам.

Звонок прозвучал и смолк, и это был единственный звук, нарушивший утреннюю тишину, задержавшуюся в трущобах этого давно удалившегося на покой городского квартала. Я снова сверился с часами. Нет, ошибки не было — восемь часов две минуты. Я позвонил снова. И снова. Потом, постепенно накаляясь, стал звонить почти непрерывно, разнообразя лишь интервалы между звонками и их продолжительность.

В четверть девятого по лестнице застучали тяжелые шаги. Какой-то грузный мужчина лет пятидесяти поднялся на площадку, окинул меня равнодушным взглядом, пробормотал что-то вроде “дилетант” и принялся равномерно бить подошвой правой ноги. Дверь сотрясалась от ударов, но за ней все молчало.

Вслед за мужчиной по лестнице легко взбежал элегантно одетый брюнет, сухо кивнул нам обоим, подошел к двери и начал колотить в нее своей тростью.

Действия грузного мужчины и элегантного брюнета характеризовались отточенным — видимо, в длительных тренировках — мастерством. Похоже было, что их представление о привычках хозяина, жизнь которого “расписана не по минутам, а по секундам”, было лучше моего.

Тем временем на площадку поднялись еще несколько человек — некоторые были явно знакомы друг с другом, деловые кивки обнаруживали в них постоянных клиентов. Их терпеливое равнодушье внушало надежду, что дверь в конце концов откроется.

И действительно, без четверти девять лязг ключей, звяканье цепочки и стук щеколды возвестили, что рабочий день конторы "Меир Блум, услуги, Ltd." (как значилось на прибитой у двери табличке), наконец, начался. Дверь открылась, и небритый мужчина лет сорока пяти, в потертых джинсах, незастегнутой и незаправленной в штаны рубашке и шлепанцах едва успел посторониться с пути ворвавшихся в квартиру посетителей.

Закрыв дверь, Меир (я был уверен, что это он) проследовал за посетителями в гостиную, сел за стол, безусловно купленный на блошином рынке, сделал глоток из стоявшей перед ним кружки кофе и сказал сонным голосом:

— Ну, кто тут первый, излагайте свои проблемы. Только не кричите все разом.

Первым был, безусловно, я. Первым на лестнице.

Моя попытка поговорить первым была немедленно пресечена сразу пятью людьми, среди которых был и брюнет с тростью. Окружив стол с трех сторон, они начали кричать, подкрепляя свои доводы ударами кулаков о стол и нимало не заботясь о сохранности этого ветхого сооружения. Поднялся страшный шум, в котором я тщетно пытался уловить хотя бы одну связную линию.

— Ты ведь мой страховой агент, — истерически кричал один. — Ты должен был напомнить мне, когда следует возобновить страховку! Почему я должен платить, если ты мне не напомнил?

— Нет, вы посмотрите на него, — орал в ответ Меир так, что на миг перекрыл все прочие звуки. — Он, видите ли, ребенок, ему нужно напоминать, что в туалете нужно снимать штаны. Чей холодильник, твой или мой? Может, я должен тебе напоминать, что делать, если твоя жена раздвигает ноги?

— Ты мне обещал, что я получу деньги еще вчера, — перекрикивал его брюнет, размахивая тростью. — Где же деньги? Где деньги, я тебя спрашиваю?

— Деньги! — открикивался Меир. — Все помешаны на деньгах, у вас нет ничего святого. Евреи, деньги еще не все! Ну да, я обещал приготовить тебе определенную сумму. Но тот, кто должен был мне — и гораздо больше — не вернул долг. Так что же мне делать? Я ведь денег не печатаю! Но заметь, я не бегу в полицию. Он клялся

прахом родителей, что отдаст еще позавчера, что же, я должен плевать на такие клятвы! Я еще не дошел до этого! Я еще верю людям, хотя знаю, что все они жулики и сволочи.

— Но позволь! — перебил его низенький субъект в потертом джинсовом костюме. — Я хочу понять, почему я не получил мебель, которую заказал три месяца назад. Я ведь все оплатил, включая доставку и твои драгоценные услуги. Что же с мебелью?

— Прекрати кричать! — неожиданно спокойно произнес Меир. — Я знаю, что ты ни в чем не виноват.

— Нет, вы слышите? Это я ни в чем не виноват! Черт с ней, с мебелью, главное — я оправдан. Пусть это мне влетело в копеечку, но ведь мы с Меиром не любим дешевки. И вот — мы оба невиновны. Разница только в том, что я — заплатил, а он — получил!

— Да прекрати ты эту демагогию! — застонал Меир. — Заказал я, заказал я твою мебель, сам доплатил магазину, чтобы быстрее доставили, из своих же комиссионных — тоже мне комиссионные... Получишь ты свою мебель, еще на этой неделе, я тебе обещаю, чего ты еще от меня хочешь?

— Ты мне уже три месяца обещаешь! Мне не обещания нужны, а мебель!

Теперь я стоял в третьей линии атакующих, там, где выражали свои эмоции криками:

— Ужас! Безобразия! Сколько можно терпеть?!

Рядом со мной стоял грузный мужчина, который вторым пришел поутру. Он поймал мой взгляд и сказал доброжелательно:

— А тебя что привело сюда, ранняя пташка?

Я начал говорить, увлекся и не заметил, как все, в том числе и сам Меир, постепенно замолчали и повернулись в мою сторону. А ведь ничего особенного в моем рассказе не было. Судите сами — один приятель дал мне телефон Меира, отрекомендовав его как прекрасного учителя вождения. Дело в том, что моя двоюродная сестра должна была срочно получить права, и приятель сказал, что Меир может это устроить в течение двух недель. Вот я и позвонил. Что тут особенного?

Но ведь что-то приковало ко мне внимание всех этих людей так, что они, позабыв о своих делах, в полной тишине ждали, пока я кончу. Может, они не знали, что Меир еще и учитель вождения? Или они уже наизусть знали собственные истории, и им было интересно послушать новичка?

Я излагал свое дело связно, стараясь придерживаться одних фак-

тов и избегая ненужных подробностей. Терпеть не могу свойственную некоторым людям манеру включать в самую простую историю — например, о том, как женщина, покинутая возлюбленным, бросилась под поезд, — и детали туалета этой женщины, и рассказ о состоянии транспорта в описываемый период с небольшим (сорок-пятьдесят лет) экскурсом в прошлое, и состояние сельского хозяйства в момент происшествия — с прогнозом на будущее, естественно. Простая житейская ситуация разрастается до размеров пухлого романа, и вы уже не знаете, что в этом романе главное: любовь, ревность или степень приспособленности вагонных купе для интимных отношений? Зачем, спрашивается, при описании любовной сцены сообщать цвет и фасон платья героини, перечислять детали ее нижнего белья? Ведь уже через десять-пятнадцать секунд она предстанет перед нами (и своим партнером) обнаженной! К чему же столько подробностей? Еще строчка, и вы понимаете, что и описание ее наготы (юные, не до конца сформировавшиеся груди, круглая розовая попка и нежный пушок на лобке и подмышками) тоже было излишним: они погасили свет (из скромности) еще до конца раздевания.

И так всегда — в любом мало-мальски знаменитом романе, повести или даже рассказе.

Поэтому я начал свою историю, строго придерживаясь сути дела. Но заметив, что интерес к ней возрастает, я смутился и стал, как говорится, растекаться мыслями по древу. Я уточнил, в какой день недели мы встречались с приятелем, немного проанализировал жилищную проблему в центре страны и, наконец, что уже было совершенно некстати, заметил, что вскоре еду на месяц за границу. Короче, уподобился столь нелюбимым мною писателям.

Однако мой бессвязный рассказ никого, казалось, не удивил. Даже когда я кончил, все продолжали еще несколько секунд молчать, и лишь потом грузный мужчина вдруг хлопнул меня по спине и громко сказал:

— Правильно поступаешь, молодец, нам нужно всем брать с тебя пример!

И тут все, как по команде, заговорили:

— Конечно! Правильно! Я давно говорил, что мы закоснели! Вот человек — знает, чего хочет! Всем нужно подумать над его словами!

Я совершенно потерялся в этом извержении. Что они одобряли, с чего собирались брать пример, над чем собирались думать? Над



моей поездкой за границу? Над моим разговором с приятелем? Что за странные люди? Почему они давным-давно не бросили этого Меира — ведь, судя по всему, он их всех только подводит? А сам он что за человек? Почему берется за все, если ничего толком не умеет? Что его связывает с ними? А ведь что-то связывает — их реакция на мой рассказ была совершенно одинаковой...

Я почувствовал, что голова моя разбухает от этих вопросов.

Зачем я здесь вообще? Мне надо было уйти сразу, как только я понял, с кем имею дело. Впрочем, это еще не поздно сделать... И я повернулся к двери. Все остальные в этот момент тоже повернулись, — но по совершенно другой причине.

В дверях стояла женщина. Видимо, она только что проснулась — ее волосы были в беспорядке, лицо розовое, как у здоровых людей после сна, глаза смотрели немного по-детски. Но все это не уменьшало ее привлекательности, напротив — она была прекрасна в какой-то своей особенной свежести, юности и неожиданности. Как будто роза расцвела на свалке или в пустыне забил ключ прозрачной воды. И грязная, сумрачная обстановка, включая всех нас, не портила ее. Мы все были фоном, неопрятным, серым, будничным задником сцены, на которой вдруг по прихоти судьбы начинает разворачиваться невероятное представление.

Снова наступило молчание. Я, неожиданно для себя, остановился и вжался в толпу, почувствовав вдруг какую-то общность с этими людьми, столь чужими мне еще несколько секунд назад.

Женщина улыбнулась и, подняв обеими руками копну своих пышных спутанных волос, сказала, ни к кому не обращаясь:

— Итак, молодой человек прав и нужно последовать его примеру?

Звук ее голоса, скорее резкого, чем мелодичного, как будто ударил меня по натянутым нервам, я ощутил тоску и тяжесть где-то в верхней левой половине груди и только потом понял, что она говорит обо мне.

Я, конечно, лишь очень условно мог быть назван молодым человеком — разве что самым молодым посетителем этой странной конторы. Но, видимо, ее голос подействовал не только на мою нервную систему — стоявший рядом со мной мужчина смущенно откашлялся и сказал неуверенно:

— Мы ничего предосудительного не имели в виду, просто подумали, что он-то имеет право...

Не удостоив его ни малейшим вниманием, женщина продолжала:

— Отлично, давайте подумаем над его словами. Зачем мы здесь? Зачем теряем время, терпим убытки, ничего не получая взамен? Давайте разузнаем все подробности у этого молодого человека, этого эталона порядочности — и очистим квартиру! Вас ведь никто не держит!

Теперь заговорил мужчина в джинсовом костюме:

— Мы ведь говорили о нем, а не о себе, в чем же ты нас обвиняешь? Это у него двоюродная сестра...

Но его слова тоже не были удостоены даже взглядом:

— Итак, его любовнице необходимо получить права, потому что он собирается с ней месяц покататься по Европе. Верно, Меир немного проспал — мы с ним вчера сидели до трех, пытаюсь хоть как-то вам всем помочь, и он проспал. Но этому молодому рыцарю не терпится, и вот, гордясь своей моральной чистотой, он решил откланяться. Действительно, какое преступление — задержать на сорок пять минут это воплощение чести и порядочности! А вы-то все — услышали о бабе, которая готова переспать с любым, даже не за поездку в Европу, а просто за недорогой ужин — и как с цепи сорвались! Двоюродная сестра, говоришь? Ну, дай им ее адрес, может, и не понадобится получать для нее права, может, она согласится на меньшее. Вон, Аарон может отдать ей свой холодильник или Иорам — кресло из гарнитура, — если он его получит, конечно...

Я не выдержал:

— С какой стати, — закричал я, — ты так говоришь о женщине, которую и в глаза не видела? Может, ты сама готова продаться за сломанный холодильник?

Женщина стояла против меня с тем же спокойным и ясным лицом. Зато все остальные как-то вдруг отодвинулись. Я уже не сливался с толпой — я был выброшен, отстранен, исторгнут.

В общем-то, конечно, я зря так грубо ответил. Ведь она была права. Да и прочие, видимо, сразу же догадались, кто была моя "двоюродная сестра". Ну, ладно, напрасно я, конечно, пытался маскироваться. Ну да, я хотел поехать с подругой на месяц в Европу, хотел, чтобы у нее были права — по очереди водили бы машину, больше успели бы повидать... Ну, верно, моя подруга — не патентованная девственница, согласен... Но зачем же так грубо, да еще на счет холодильника?

— Ну, что же ты замолчал? — снова обратилась ко мне женщина,

и снова мои нервы задрожали, отвечая прикосновению ее странного голоса. — Ты все еще хочешь заступиться за честь своей кузины? Все еще не понял, почему эти люди не потеряли надежду получить свои гарнитуры и застраховать свои воздушные замки?

— Но ведь верно, что они ждут, надеются, что-то теряют из-за Меира?

Я начал твердо, но под взглядом ее зеленоватых глаз моя уверенность постепенно угасала.

— Ты прав, они надеются. Но разве это не прекрасно — иметь надежду? Ведь когда надежда сбывается, ты теряешь что-то важное, не так ли? И зачастую действительность оказывается куда незначительней и прозрачней, чем самые, казалось бы, трезвые мечты. Вот ты, например, — разве ты ждал от своей кузины чего-нибудь особенного? Нет, ты знал наверняка, что, истратив определенную сумму, ты получишь определенные услуги, просто и ясно. Теперь посмотри на Иорама. Думаешь, ему так уж важен его гарнитур, этому пожилому младенцу? Думаешь, он живет в пустой квартире без мебели? Нет, конечно. Но для него эта недоставленная мебель стала сейчас вопросом жизни и смерти, и это, на теперешний момент, самое сильное его чувство, если не считать, конечно...

Она не договорила, не досказала что-то очень важное — быть может, ключ к пониманию всего происходящего, — повернулась и исчезла в глубине темного коридора.

Как по команде, все повернулись к столу, как стрелка компаса к магнитному полюсу планеты, едва убрали сильный магнит, удерживавший ее в противоположном направлении. И крик возобновился с прежней силой.

Я стоял молча, пытаюсь понять связь событий, так неожиданно и непреклонно разрушивших мои, казалось бы, установившиеся представления о реальности.

Здесь, в глубине этого сонного, умирающего квартала, где средний возраст обитателей перевалил за семьдесят и возбуждение вызывают уже только очередные фамилии в траурной рамке, в этой тесной, грязной квартире кипит, оказывается, жизнь, полная неподдельных страстей. И пусть не столь уж существенны причины, породившие эти страсти, эти мечты, надежды, горечь и даже ненависть, — но глубина страданий того, кто впал в отчаяние из-за неотремонтированной в срок кнопки звонка, ничуть не меньше трагедии оставленного любовника. И все их горести ведь не безысходны — они ждут, надеются, добиваются. Они живут, и можно только за-

видовать кипучему разнообразию их жизни. И — любят. Конечно, ведь все они, без исключения, — рыцари этой Прекрасной Дамы. И изменяют ей — с каким удовольствием они помечтали о моей “двоюродной сестре”!

Здесь есть солидарность. И раскаяние. И презрение. Водоворот жизни, пучина чувств, калейдоскопическая смена настроений!

И все это я готов был променять на жалкую имитацию страсти — на эти мои вяло тлеющие отношения с толстой и неопрятной бабой, голос которой сер и тускл, а в глазах появляется огонь лишь тогда, когда речь идет о деньгах или подарках?

Я посильнее нажал плечом и протиснулся между двумя клиентами в самую гущу этих, ставших мне вдруг близкими людей. Я протиснулся к столу, стукнул кулаком и закричал так, что Меир на секунду прервал свою отповедь очередному искателю справедливости:

— Это возмутительно, ты обманщик!

Мои крики слились с общим воплем, и я почувствовал, что окончательно влился в реальную жизнь, оставив позади прежнюю пародию на существование, все мои притворные страсти и все искусственные проблемы.

#### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”

новая книга

#### **Александр Воронель. “Трепет иудейских забот”**

(издание второе, переработанное и дополненное)

Почти музыкальный строй этой книги воспоминаний и размышлений лучше многих рациональных доводов автора доказывает, что наша судьба есть цельность, развертывающаяся во времени и пространстве, и нам надлежит прислушиваться к музыке своей жизни, чтобы не сфальшивить ненароком. Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Широко расходившаяся в Еврейском Самиздате, частично опубликованная в самиздатском журнале “Евреи в СССР”, в неполном виде изданная несколько лет назад, ставшая библиографической редкостью, эта книга теперь впервые приходит к читателю в своем полном и завершенном виде.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: “Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

ИЗ КНИГИ  
"СТРЕЛА ВЕРЛИБРА"

сквозь  
клетку букв  
я вижу грустный взгляд  
поэзии  
пойманной в ловушку  
и  
дверцу приоткрыв  
на волю выпускаю  
не для тебя  
чугунных прутьев ряд  
ты  
меткому стрелку  
пожертвуешь удачу  
и  
горсть слепящих слов  
за  
ежедневный страх  
с  
губ  
падают слова  
дарует боль прозренья  
и  
белизна листа  
как мост на небеса

3.03.83

\* \* \*

где стены из ненависти  
сплетни висят как картины  
замочных скважин  
блестит любопытство соседей  
сутствие неразлично  
тех кто следит за вами  
факайтесь и обедайте  
наблюдающих вас  
невозможно разрушить  
комнату дом государство  
глядывающих сквозь щелки  
надежно закрытых дверей  
дурак захлебывается  
утру как гостью случайному  
стук петель затяните  
выходите на казнь

в доме  
возле  
при  
при  
и  
под  
будильник  
гал  
и

6.03.82

\* \* \*

дизенгоф  
это еще не все  
что спешишь ты увидеть  
за стеклянными лицами витрин и прохожих  
сидящих за столиками и лениво стряхивающих пепел  
сгорающих на лету мыслей  
и фотограф пронира предлагает купить моментальный

снимок за 50 шекелей  
где дизенгоф самоуверенный глянцевый весельчак  
знает всех кто проходит и каждый кивает другому  
а другой никому  
вот это он  
узнают его люди успевшие зажечь одной спичкой  
божью искру кому повезло  
или потерявшие что-то выпавшие из карусели  
что без них продолжает вертеться  
ожидающие случая чашки кофе и телефонного звонка  
который изменит всю жизнь  
одинокие знаменитые люди вопли пытающиеся услышать  
сами себя среди болтовни и сплетен не удивляются  
что публика одна и та же как в париже таллине  
или в ленинградском бивуаке сайгоне где мелькают  
одинаковые лица и цена везде одинаковая  
за чистый лист бумаги разделяющий одиночество  
от забвения  
продавцы сигарет амулетов картин женских голосов  
на асфальте сидящие в странных одеждах  
под музыку играющих и танцующих вагантов из димоны  
аукцион и хэппенинг каждый вечер  
для всех кто приходит сюда  
как в сафари прячьтесь в машинах  
звери в костюмах все те же звери  
и хотя нет клеток камней и деревьев разделяющих  
нас мы в сафари и пусть улыбаются туристы  
ослепляющей пустоте  
карнавал исчезает и крышка рояля захлопывается  
черные клавиши выступы низких домов  
мимо проходят обнявшись двое влюбленных мужчин  
блеск румян в темноте и алмазов в витринах  
со сцены лицо закрывая уходит дизенгоф  
сыграв свою роль  
бритвой букв на рекламах разрезающий пустой зал

15.10.81.

*Н. Век (р. 1950) – музыкант; в Израиле с 1979 г.; опубликовался в русскоязычной и израильской печати.*

... в одно майское воскресенье 1957 года был арестован кинорежиссер "Ленфильма" Владимир Петрович Н. При обыске работники органов нашли пять тысяч долларов и несколько бриллиантов. Через полгода Н. был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых работ. Фильм Н. "Майские грозы" (название условное) был остановлен. На складе "Ленфильма" остались некоторые материалы к картине, в том числе пятьдесят театральных афиш с напечатанной красным строкой: Коваленко.

\* \* \*

... все то лето после окончания школы Витя Новиков провёл с бабушкой на даче, вставал поздно, лениво перелистывал учебники (готовился к поступлению в медицинский институт) и с нетерпением ожидал сумерек, чтобы идти на танцы в Отраду. "Все лето протанцевал", — с горечью сказала бабушка, когда он в конце концов в институт не поступил. Получил тройку по английскому, и ему не хватило одного балла до проходного. С этими оценками Витя был принят на второй курс медучилища.

В первый же день учебы он познакомился с Яшей.

*Борис Поляков*

**АВТОПОРТРЕТ С ЮЛЕЙ**

(повесть, журнальный вариант)



\* \* \*

В середине января 1958 года заведующий складом "Ленфильма" Евгений Залманович Шрайбер позвонил своему фронтовому другу Алексею Коваленко и сказал:

— Жалко Володю, на восемь лет упекли!

— Конечно, жалко. Весь прокат до сих пор шушукается.

— А тут у меня кое-какие вещи от Володи остались. Скажи честно: ты способен работать? Говорят, у тебя руки трясутся.

— Если дело, то это не помеха. Ты ведь знаешь, что я в любой момент могу бросить.

— Будем надеяться. Понимаешь, Володя работал ленту, и остались афиши со строкой "Коваленко". Как тебе нравится такое совпадение?

— Никакого совпадения, он мне обещал, что в одной из его работ будет красоваться моя фамилия.

— Тогда ты подъезжай, есть идея.

Коваленко работал шофером на базе кинопроката. На следующий день во время своего обычного рейса по кинотеатрам он вернулся к Шрайберу, и они обо всем договорились.

\* \* \*

12 марта Юлия Вениаминовна Гехт (18 лет) и Геннадий Павлович Чанцев (23 года) подали заявление в ЗАГС. Работница ЗАГСа сказала, что очередь на бракосочетание большая, и она может записать их только на май. Молодые переглянулись, и Юлия смущенно сказала:

— Нет, на май не надо, говорят — всю жизнь маяться, уж лучше на начало июня.

И их записали на 2 июня.

\* \* \*

1 апреля Коваленко позвонил Шрайберу:

— Вот тебе шутка судьбы и совсем не первоапрельская: сегодня ночью в кино "Луч" на Восстания рухнул потолок. Представляешь — если бы это было во время сеанса...

— Что, весь потолок?

— Ну, не весь, но написано уже: "Кинотеатр закрыт на ремонт".

— А почему ты мне звонишь?

— Люблю твою еврейскую голову.

— Ладно, если не можешь сказать по телефону, то я до трех на работе, а в четыре можем встретиться.

Коваленко приехал к четырем часам к Шрайберу и принес большой мешок с книжками кинобилетов.

— Вот, — сказал он. — Недельный комплект билетов в кино "Луч", примерно четырнадцать с половиной тысяч. Если положить в среднем по двести билетов на вечер, то хватит на два месяца, а нам столько не нужно...

— Где ты их взял? Ведь это денежный документ!

— Ах, оставьте, Евгений Залманович, какое вам дело до этой уголовщины, — жеманясь, сказал Алексей.

И они весело рассмеялись.

\* \* \*

6 мая водолаз Геннадий Чанцев погиб, ремонтируя кабель на дне Малой Невы недалеко от моста Строителей. По-видимому, льдина с острыми краями, плывшая с большой скоростью ниже уровня воды, перерезала шланг подачи воздуха и сигнальный конец. Когда через двадцать минут другой водолаз спустился на дно, он нашел Чанцева лежащим возле кабеля, к которому он был привязан веревкой (следственная комиссия пришла к выводу, что Чанцев привязался к кабелю из-за сильного течения, мешавшего ему работать).

Еще через три недели Юлия Гехт легла в Куйбышевскую больницу, где знакомый врач сделал ей нелегальный аборт за тысячу рублей.

\* \* \*

2 июня Юлия со своей подругой Лидой сидели в кафе "Север", пили кофе-гляссе и заедали его блинчиками "аппетитными" — отмечали несостоявшуюся Юлину свадьбу. Они почти не разговаривали, и Юлия часто прикладывала платочек к покрасневшим глазам и распухшему носу.

Неожиданно из-за столика напротив поднялся высокий, не очень молодой человек и, сильно прихрамывая и опираясь на палку, подошел к девушкам.

— Извините, я не имею в виду ничего плохого, разрешите при-  
сесть?

Девушки взглянули на него, и Лида, сверкнув глазами, ука-  
зала ему на пустой стул.

Мужчина неловко сел и сразу полез во внутренний карман  
пиджака.

— Вот мой паспорт, — сказал он. — Чтобы не было сомнений в  
моих честных намерениях. Хотите взглянуть? — обратился он  
к Юле.

— Нет, — ответила она. — Не хочу. А что вам нужно?

— Вот именно, нужно. Меня зовут Евгений Залманович, фами-  
лия — Шрайбер. Я работаю в системе "Ленфильма". Простите,  
не знаю ваших имен.

— Меня Лидой зовут.

— А меня — Юля.

— Вот и хорошо. Видите ли, мы с товарищем, его зовут Алек-  
сей Коваленко, составляем концертную бригаду. Нас пока двое.  
Я — администратор, а Алексей — артист, фокусник. Нам нужна  
ассистентка. Вы, Лида, не подошли бы, вы слишком красивы для  
этой роли. А вот Юля нас вполне бы устроила. Тут сложность  
вот в чем. Наша гастрольная поездка продлится месяц или шесть  
недель. А вы ведь, наверно, работаете?

— Работаем, — сказала Юля, — на кондитерской фабрике.

— Так вот, если надумаете, Юля, то придется решить, что делать  
с работой. А как решите, позвоните мне вот по этому телефону.

И он написал на салфетке свой телефон и фамилию. Потом по-  
желал девушкам всего хорошего, неуклюже поднялся и поковы-  
лял к своему столику.

— Не будь дурой, Юлька, во-первых, это интересно, а во-вторых,  
тебе нужно поменять обстановку, — говорила Лида, когда они,  
выйдя из "Севера", ожидали трамвая на углу Невского и Садовой.

— А если это треп?

— Не похоже, очень интеллигентный мужик.

Через два дня Юля позвонила Шрайберу.

\* \* \*

За какие-нибудь две недели Коваленко со Шрайбером научили  
ее "эстрадно" двигаться, подавать нужные предметы, делать скром-  
ный "комплимент", красиво произносить: "Пожалуйте на сцену".

— Юля, — сказал как-то Шрайбер, — а почему ты не спрашиваешь, как будет оплачиваться твоя работа?

— Неудобно.

— Ну и глупо. Так вот: восемьсот рублей за месяц, а питание и ночлег за мой счет. Годится?

Потом Шрайбер сказал:

— Вот тут билетные книжки. Видишь, сверху написано “Кинотеатр Луч”, но мы же не кинотеатр, поэтому еще одна твоя работа: отрезать эту верхнюю часть. Мы будем тебе в этом помогать. И кроме того, видишь, тут билеты по пять рублей, по три и по рублю. А у нас все билеты будут по пять рублей. Ну, и надо будет всюду произвести исправление прямо ручкой. Еще тебе придется исполнять обязанности кассира. Но я думаю, что в кассе мы будем сидеть по очереди. — Он задумался. — А самая большая и главная наша забота — не дать Алексею напиться. Иначе все летит к черту.

29 июня они пустились в путь.

За несколько дней до этого Евгений Залманович зашел провести свою старую знакомую Олечку. Она работала секретаршей в Ленконцерте. Они весело поболтали, причем Олечка сказала, что ты, Женька, как всегда мешаешь мне работать. В какой-то момент, когда Олечка вышла из комнаты, Шрайбер взял со стола несколько чистых бланков “Ленконцерта”.

И началось их нелегкое путешествие по Эстонии. На шрайберовском “Москвиче” они въехали через Нарву, и замелькали птичьи эстонские названия: Кивиыли, Кюттейку, Кирикукюла, Ярваканди, Тыстама...

На дверях клубов они вывешивали объявления, на которых громадными красными буквами было напечатано “Коваленко”, а выше, от руки, гуашью: “Ленконцерт, Гастроли”, посредине: “Фокусы, Гипноз”, и в самом низу: “Цена билета — 5 рублей. Начало в 19 часов”.

Почти нигде они не задерживались больше одного дня.

\* \* \*

В том июле Витя Новиков был влюблен в сокурсницу по имени Галя. Витя с бабушкой, как всегда, снимали дачу в Мельничном Ручье, а Галя вместе с матерью и двумя младшими братьями — во Всеволожской.

Днем Витя и Галя валялись на маленьком пляже возле плотин-

ки через Ручей, а вечерами топтались на танцах все в той же Отраде. Галя смотрела на него своими огромными карими глазами, волосы ее чудесно пахли, а один кривой зуб делал ее улыбку особенно лукавой и нежной. А потом они долго целовались, сидя на скамейке под ее окном. Обычно около часу ночи Витя возвращался домой, и было одно место на его пути, действовавшее ему на нервы: ветхий забор, за которым, едва заслышав Витины шаги, начинала бесноваться огромная овчарка. И как-то эта овчарка была связана в его чувстве с Галей, он не боялся Гали, но что-то внутри давило и создавало ощущение дискомфорта.

\* \* \*

В роковой день 1 августа, после особенно удачного выступления, Алексей сорвался и в компании местных рыбаков напился как свинья. Наутро Юля со Шрайбером нашли его спящим у подножия дюны. Его уже начало засыпать песком.

— Идиот несчастный, пьяница безмозглый, — кричал в неистовстве Шрайбер, — ведь у нас сегодня выступление...

— Я в порядке, я в порядке, я в порядке, — твердил Коваленко и тер засыпанные песком глаза.

Они поехали в соседний поселок, повесили афишу, и все, казалось бы, шло хорошо, но незадолго до выступления Коваленко вышел "проветриться", купил "маленькую", выдул ее позади сельпо и к началу концерта "лыка не вязал". У него не получался ни один фокус. Публика в зале разволновалась и стала громко требовать гипноза. Шрайбер вышел на сцену и сказал, что артист заболел. Публика стала требовать назад деньги, а Шрайберу денег стало жалко, и он замешкался. Каким-то образом они оказались в комнате местного милиционера, где провели ночь и половину следующего дня. Мильтон делал вид, что русского не понимает. Потом вообще началась кутерьма и назавтра все трое сидели в Ленинградской КПЗ. Через день Юлю отпустили домой, так как в результате допросов выяснилось, что в прибылях она не участвовала (даже свои восемьсот рублей она не получила).

Мать тут же потащила Юлю в юридическую консультацию, что на углу Невского и Герцена. Спустя два часа ожидания они попали к адвокату. Юля попросила мать выйти в коридор и, оставшись с адвокатом с глазу на глаз, рассказала ему всю историю. Затем они позвали мать в кабинет, и адвокат сказал:

— Если все обстоит так, как говорит ваша дочь, — и тут он взглянул на Юлю с подозрением, а мать — со злобой, — то все должно кончиться благополучно. Конечно, еще придется поволноваться, побывать на очных ставках и выступить в суде. Главное, говорить правду, ничего не выдумывать. А для создания, так сказать, облика для общественности, я бы посоветовал поступить куда-нибудь учиться. У вас, вы говорите, 9 классов, сейчас посмотрим.

Адвокат снял с полки "Справочник учебных заведений города Ленинграда" и стал его листать.

— Вот, например, что вы скажете о медицинском училище? И ехать вам недалеко, и стипендия на первом курсе сто сорок рублей. Вы справитесь? — и он посмотрел на мать.

Бог знает, почему он дал такой совет.

Но в результате всех этих событий Витя и Юля встретились.

## Глава 2

С шестнадцати лет я стал вести дневник. Большая глупость. Жизнь перестает быть самой собой и превращается в материал для дневника. Как бы то ни было, в пальцах ощущался такой писательский зуд, что я не ложился спать, не исписав одной-двух страниц. Как-то раз я заметил, что, разговаривая, я думаю не о предмете разговора, а о том, какими словами я его вечером напишу. Примерно в то же время я прочел записки одного выдающегося человека, где о дневнике было сказано, что он "пишется как бы для себя, но с тайной мыслью, что его прочтет кто-нибудь другой". Это очень на меня подействовало. Забросить писание я не смог, но перешел к такому лапидарному стилю, что теперь почти не могу восстановить по дневнику свою тогдашнюю жизнь. Но есть и подробные записи.

"14.09.58. Сначала Тонков Василий Николаевич, совершенно отвлекшись от акушерства, примерно полчаса рассказывал о подражании и говорил, что это один из важнейших инструментов овладения жизнью. В три часа провожал Семена Львовича в Москву. Через неделю он будет в своей поганой Воркуте. Там уже зима. Как всегда, расставаться с ним было тяжело и больно. Поехал к Яше, благо близко. У него сидела Ирка Сироткина, потрепались. Уговорил пойти в "Искру" на "Песню первой любви". Яша сказал, что "будут очередные шлюни шладкие, вариант сто восемь-

десять пятый, армянский”, но мы с Ирккой настояли. Яша оказался прав, Ирка рыдала. После кино я заметил, что мысленно передразниваю главного героя. Тоже подражание. Кому-то надо подражать, как Тонков объясняет. И некому. Не Павкам же. Чему подражать? Как родителя в КГБ сдавать? Или как правильно подставить башку под саблю? Я-то знаю, кому я хочу подражать. Нику, старику и морю. Быть сильным, как старик, и еще сильнее и безмолвнее, — как море. Еще есть пример для подражания, очень рекомендуемый, — Экзюпери, но вместе с Принцем и летчиком он такой сахаринный, такой наш, что скучно.

Зовут Юля”.

Именно так, ни с того, ни с сего.

Незадолго до этого как-то во время лекции Яша ткнул меня в бок:

— Ты в актовом зале был?

— Конечно, был.

— Нет, я не вообще, а на этих днях, на Гришкиных репетициях?

— А что?

— Там новая девица. Поет. С первого курса.

— Детьми не интересуюсь.

— Какие дети? Она нашего возраста.

После лекций мы поднялись на пятый этаж. Наш однокурсник Гриша, которого все звали Григ, был руководителем самодеятельности. Он хорошо играл на рояле (“одиннадцать лет мать терзала”) и мог подобрать по слуху любую мелодию, за что все его очень ценили. На сцене стояла эта самая девица и пела дурацкую песню с назойливым припевом “Би-бью-ба”. У нее был очень приятный теплый голос. Петть она, кажется, совсем не умела. Григ аккомпанировал и все время давал ей какие-то советы.

Этот Григ был свойским парнем, но обладал, на мой взгляд, большим недостатком: был слишком красив. Густые черные волосы, черные глаза, опущенные длинными ресницами. Он отменно трепался... И рояль!

Они репетировали каждый день, а потом мы с Яшей и Юля с Григом шли гулять — к Техноложке, по Загородному, на Невский. Начинаясь изумительная ленинградская осень, все было еще зелено. И так приятно было идти рядом с ними и слушать этих двух болтунов и — изредка — голос Юли.

Однажды Григ привел меня к ней домой. Мне у нее понравилось. Небольшая комната, кровать и диван, круглый стол, шкаф, комод,

на нем зеркало, письменный столик у окна, желтый абажур с кистями. Пройти негде, можно только сидеть за столом или на диване. Кот Мурзик всегда спит в углу дивана, голова на подушечке.

Пришла с работы мать, Роза Борисовна.

— Странная фамилия — Новиков, — сказала она мне.

— Тетка говорила, что в их местечке все евреи носили фамилию Новиков, — сказал я. — Зато уж отчество у меня — не ошибься: Шмерлевич.

— Это хорошо, — сказала Роза Борисовна и ушла на кухню.

Потом дверь приоткрылась, заглянул старик.

— Юлешка, где мама? — спросил он.

— На кухне, — ответила Юля.

Дверь закрылась.

Мы с Григом ушли. Вместе ехали на автобусе. Григ сказал:

— Мать — работяга, двух слов связать не умеет. Вкальывает по-черному на комбинате Кирова — нитки делает. А старик — ее любовник.

— Да ему ж лет восемьдесят, — сказал я.

— Ну, не знаю, мне так кажется.

В конце сентября мы всей компанией пошли в театр. В антракте Григ и Юля — рты до ушей — говорят, что подают заявление в ЗАГС. Мы все заахали, разволновались, расшумелись.

На следующий день в комитете комсомола Гоша — наш освобожденный секретарь — провел короткое совещание на тему: "Как помешать браку?" Потому что Юля родит ребенка, Григ должен будет пойти работать, не сможет учиться дальше, а Григ — умница, перспективный, ему в институт надо. И вообще, Юля его не стоит. И еще — у нее какая-то история, чуть не уголовная. Откуда известно? Григ сказал.

Совещались с Гошей двое: Элла, секретарь завуча, и я — человек, очень озабоченный судьбой моих друзей. Три умника выработали дьявольский план: влюбить Юлю в меня. В Новикова.

Я подошел к Яше, он стоял в коридоре возле окна и, как всегда, читал. На этот раз "Остров пингвинов". Я рассказал ему о возникшем плане.

— Бредятина какая-то, — сказал Яша, — и вообще я этого вашего Гошу не перевариваю. Дурак-дураком. Если уж мы содержим освобожденного секретаря, так был бы хоть человек порядочный...



— Как это мы его содержим?

— А так: на нашем курсе десять групп по двадцать человек в каждой, то же на первом и на втором курсе, и все — комсомольцы, каждый платит по двадцать копеек в месяц — вот тебе пятая часть Гошиной зарплаты. Столько же он получает с отделения рентгенщиков, а остальное — от газеты "Смена", на которую нас же и заставляет подписываться.

— Слушай, — сказал я, — почему ты такой умный?

— А потому что за моей мамой ухаживал брат поэта Мокроносова... или композитора? Девушка, — вдруг обратился он к проходившей мимо второкурснице, — вы не знаете случайно, Мокроносов — поэт или композитор?

Девушка покраснела и сказала робко:

— Мокроусов?

Так, за хихиканьем, в конце концов смазалась гнусность задуманного.

Каждый день после занятий я приходил к Юле домой и сидел часами, мешая им быть вдвоем.

6 октября я пришел, как обычно. Юля, заплаканная, стоит у окна. Григ мечется по комнате, гремя стульями. Что случилось? Молчат. Мы с Григом ушли вместе. Григ сказал:

— Она говорит, что весной уже собиралась замуж, а потом сделала аборт.

— Ты ее любишь? — спросил я.

— Нет.

— А как же ты собираешься жениться?

— Все-таки она — из ряда вон.

— Ну и дурак. Вот я тебе скажу. Я люблю ее.

Разговор происходил в автобусе. Сказав это, я выскочил, как раз была остановка, и побежал домой.

И вдруг, на углу улицы Связи и переулка Подбельского, около парикмахерской, я остановился — мир поплыл передо мной, закачался, фонари сначала померкли, потом вспыхнули, будто взорвались.

Я люблю ее! Да, Господи, конечно же, люблю, люблю, я жить без нее не могу, без ее глаз, без ее теплого голоса, прозрачного смеха, без ее лица и волос, без ее рук, без ее походки, без ее дражного старого пальтишка...

Я повернулся, пошел обратно, сел в автобус и снова приехал к ней.

(И вот я спрашиваю себя: как же так? ведь еще два месяца назад я не хотел завлекать Галю, а теперь пустился во все тяжкие и стал с таким рвением завлекать Юлю? И отвечаю себе: Галля при всей своей прелести была пресной, как трава, а в Юле было что-то такое, что останавливало дыхание и кружило голову. Вообще, как подумаешь, все ответы очень просты, если, конечно, говорить правду, а не лгать и тем самым запутывать.)

Юля открыла.

— Что с тобой? — спросила она испуганно.

— С бабушкой поругался, — сказал я первое, что пришло на ум.

— На тебе же лица нет. Проходи скорее...

Мы разговаривали с ней до двух часов ночи. Пили крепкий чай. И я рассказывал ей о своей любви. Она смеялась и плакала. А я говорил, говорил, говорил... Мать ее спала, а мы шептались...

В два часа я пошел домой. На улицах было тихо, редкие фонари горели, и я брел по ночному городу, мимо Кировского театра, по набережной Мойки, сделал круг — до Исакиевской площади — и повернул назад, к дому. Я шел медленно, будто боясь расплескать свое чувство.

Утром я снова поехал к Юле. Успел вовремя: она еще не ушла в училище. Она открыла мне дверь и сказала:

— Подожди здесь.

Через минуту вышла в пальто, протянула мне письмо и сказала:

— Прочти сразу.

И пошла вниз. Я остановился у окна и прочел:

“Витя, не могу уснуть и пишу.

Это — невозможно. Не знаю, кому верить. Григ клялся в любви, а ты говоришь, что он меня не любит. И уверяешь, что любишь меня. Я знаю, что Гришина семья меня ненавидит, наверно, есть за что, он умный, а я — глупая, они считают, что это из-за меня он хочет идти работать, а я ему ни слова не сказала про работу.

Конечно, он меня не любит. Ты сам видел, какой он был, когда я ему рассказала про Генку. Что же мне? Все от всех скрывать? Но так ведь нельзя любить. Я не умею любить и что-то скрывать.

Ты очень хороший и добрый. Ты сказал, что любишь меня только для того, чтобы смягчить удар. Ты не можешь меня любить. Я сама вижу, что я плохая, испорченная.

Прощай! Хочется сказать тебе что-то нежное, коснуться твое-

го лица. Нет, прощай! И не подходи ко мне, пусть мы будем незнакомы, ладно? Училище большое, ты не ищи в нем встречи со мной. Твоя Юля.”

Я догнал ее у поворота. Она была на пять месяцев старше меня, а выглядела такой беззащитной девочкой. Она не посмотрела на меня, шла, опустив голову, и сбоку я мог видеть слезы на ее ресницах. Так мы и шли — молча. Я взял у нее портфель. Наши руки случайно соприкоснулись, и она отдернула свою.

В Пятилетке показывали “Берлинский роман”.

— Пойдем? — спросил я тихо.

Юля остановилась, посмотрела на афишу, кивнула.

В зале, кроме нас, было еще человек пять. Юля сидела, глядя на экран исподлобья. Я не мог оторвать глаз от ее профиля.

Когда фильм кончился, был двенадцатый час. День был светлый и прозрачный. Мы молча дошли до Невского.

Юля спросила:

— Ты почему молчишь?

— Думаю, почему это я не могу тебя любить?

Мы гуляли весь день. Пообедали в какой-то столовой. В час ночи остановились возле автомата. Влезли вместе в будку. Я набрал номер. Подошел отец Грига.

— Извините, пожалуйста, что я так поздно. Мне очень нужен Гриша.

— Сейчас разбужу.

Подошел Григ, сонно сказал:

— Алло?

Юля взяла у меня трубку:

— Это правда, что ты сказал Вите?

— Правда! — рявкнул он.

Я выхватил у Юли трубку и крикнул:

— Так она тебя тоже не любит! Она меня любит!

И нажал на рычаг.

Мы весело засмеялись. И я поцеловал ее. Она меня обняла за шею. Мы снова поцеловались. Я почувствовал усики на ее губе.

— У тебя усики, — сказал я.

— Да? — спросила она. Голос у нее дрожал.

Так мы стояли в телефонной будке — обнявшись, прижавшись друг к другу. Это было счастье.

### Глава 3

— А теперь я так жалею, так жалею, сказать не могу. Как будто душу убила, такая пустота.

— Ты думаешь, что шестинедельный плод имеет душу? — спросил я.

— Да нет же, Витя, я о себе говорю. Просыпаюсь среди ночи и представляю себе, какой у меня был бы мальчик. И плачу, как дура. Недавно ехала в трамвае, а за мной сидела женщина с ребенком, девочкой лет пяти. Вдруг она спрашивает: “Мама, а почему у птичек нету сисей?” Ты улыбаешься. И в трамвае улыбались, а я заплакала, потому что подумала, что теперь никто меня не спросит так смешно... Если бы не сделала аборт, не впуталась бы в эту жуткую историю. А так на все было наплевать, я и не думала ни о чем, а только как бы отдать долг. Тысячу рублей. До сих пор висит. И со мной еще неизвестно что будет.

\* \* \*

— Дорогая дверь! — сказал я.

— Шкаф, — поправила меня Юля, — многоуважаемый.

— Нет, дверь, вот эта вот, коричневая, старая, которую я люблю так же, как люблю весь этот дом, эту обшарпанную лестницу с грязными окнами в темный двор, как этот идиотский лифт, который только поднимает, а вниз — иди своим ходом, и работает он только до полуночи... А вот эту — не люблю, — я ткнул пальцем в соседнюю дверь.

— Почему?

— Потому что позавчера, когда я уходил от тебя, возле этой двери стояла ослепительная красавица и отпирала ее. И в течение целого пролета я был отвлечен от мыслей о тебе.

— Ага, Лидя Белоглазова, — засмеялась Юля. — Моя лучшая подруга. Она комнату у Нарвских получила от фабрики, а сюда приходит к родителям.

— Не имеет роли и не играет значения! Однако вернемся к предмету нашего восхищения. Справа четыре звонка, слева — два. Ручка — латунная, захватанная, одна. Дощечка — бывшая медная, черная, надпись: “Доктор М. А. Ландау”. Смотри, как долго живут вещи. Этот доктор — где он? А дощечка висит.

— Типун тебе на язык! Это же дядя Марк, ты же его видел. — Она повернулась и пошла вниз.

— Прости, Юленька, я не знал! — Я догнал ее. — Так это — дядя Марк?.. Любопытно.

— До революции вся квартира была его. А потом его уплотнили. И мой дед сюда вселился вместе с моей мамой. И всю жизнь они очень дружили. А сейчас мама варит ему обед, убирает в комнате. Получает за это триста рублей в месяц. И кроме того они дружат, ходят вместе в кино, в театр...

\* \* \*

— Мы с Генкой на вечере познакомились, в клубе Пищевиков, наша фабрика устроила — девок клеить, а парней отовсюду приглашали. Генка как раз армию закончил, устроился водолазом. Денег много. И очень ему нравилось под водой работать... Витя, я такая ужасная, просто не знаю, что это со мной. Вот он погиб, такая страшная смерть, всю любовь во мне убила. А я думаю, почему он так плохо со мной поступил, как подножку подставил, так все хорошо было — он, ребеночек, друзья у него, я тебя познакомлю с Гектором, они вместе в школе учились, а Гектор сейчас в строительном институте, и вот — ничего? И еще вдобавок этот Шрайбер. Нет, нет, ужасная я, ты не можешь меня любить, я сама себя не люблю. Не понимаю, как это вышло, что я Генку перестала любить, странно, правда ведь?

\* \* \*

— У нас большая семья, — сказал я, — но фактически мы живем вдвоем с бабушкой. Война всех моих забрала. Есть у меня два дяди — СД и МД.

— Что это? — спросила Юля. — Старший дядя и Младший дядя?

— Ага, можно и так, хотя это их инициалы. Я специально так их зову, потому что это их очень злит. Два дяди — и никакой от них пользы.

— В каком смысле? — Юля посмотрела на меня искоса.

— Нет, как раз деньги-то они нам с бабушкой на жизнь дают. Я говорю о человеческой пользе. Для меня. У МД сын есть, Сева, МД с ним все время занимался. Теперь-то мне безразлично, а раньше я очень завидовал, когда Севка непрерывно "папкал", а мне

не к кому было приставать. Бабушка работала, дед был занят самим собой, да и умер давно. А я убежден, что каждому человеку нужен наставник, какой-то отец. Теперь тебе понятно, почему я так привязан к Семен Львовичу.

\* \* \*

— Дедушка мой был очень своеобразный человек, — сказал я. — С ним все время случались всякие истории. Однажды сто рублей потерял в Александровском саду, обнаружил пропажу, повернул обратно и через несколько шагов эту сторублевку нашел. И представляешь себе, в магазин не пошел, а вернулся домой специально, чтобы рассказать об этом. Или вот такой случай... Они жили тогда в Германии, лет пятьдесят назад, приходит дедушка из магазина и приносит коробку — шесть чашек и шесть блюдец. И заявляет радостно: "Небьющиеся!" Бабушка говорит: "Как это — небьющиеся?" — "А вот так, написано на каждой чашке и на каждом блюде: небьющееся". Развязывает коробку, берет чашку и бросает на пол. Она, конечно, вдребезги. Дедушка очень удивлен. Расколотил об пол весь сервиз. "Но ведь написано же, что небьющееся...". В этом он весь, его очень удивляло несоответствие между написанным и тем, что на самом деле.

\* \* \*

— Дядю Марка весной пятьдесят второго арестовали. Как мама переживала! Он к ней, как к дочери, относится, а мама его любит прямо как отца. Он был тогда главврачом нашей поликлиники, все его так уважали, и вдруг почему-то арестовали. Это потом стало известно, что врачей арестовывают. Пришли среди ночи и до утра обыск делали. А двое соседей понятыми были, они и сейчас в нашей квартире живут. Я тебе обещала рассказать ужасную историю, которая с дядей Марком произошла. Понимаешь, у него...

— А я думал, что год в тюрьме — это и есть ужасная история, — перебил я ее.

Она задумалась, вертя в пальцах лист клена. Мы сидели в Михайловском саду на задах Русского музея, все дорожки были покрыты опавшими листьями.

— Да, — сказала Юля, — это тоже ужасная история. Понимаешь, у дяди Марка есть дочь, ровесница моей мамы, Раиса. Ее мать умерла при родах. Дядя Марк сам дочку вырастил. И вот, представь,

когда дядю Марка арестовали, мама написала ей. А Раиса живет в Дудинке со своим мужем. Он — начальник лагеря, подполковник, а Раиса — инженер по труду. И вот получила она мамино письмо, пошла в горком и заявила, что она от отца отказывается. Это дяде Марку сказал следователь. — Юля засмеялась. — А тут отца ее выпустили. Смешно. Она приезжала в прошлом году. Дядя Марк с ней не разговаривал, она ушла в кагебешную гостиницу. Купила дяде Марку телевизор. Мы с мамой ходим смотреть. Так и уехала. Дядя Марк — очень твердый.

\* \* \*

— Я в школе учился на одни двойки, ну, может, тройки с минусом, во всяком случае, все разы, когда получал пятерки, помню прекрасно. В первом классе читал отрывок из "Слепого музыканта", в четвертом — наизусть басню "Кукушка и петух", а в десятом отвечал про въезд Давыдова и Половцева в Гремячий Лог.

Юля смеялась.

— Странно, выглядишь ты отпетым отличником.

— А я и хотел бы быть отличником. Только проходят это не в школе, а дома. Называется этот предмет: как бы чего с бабушкой не случилось. Можешь себе представить, каково слышать по сто раз в день: вот я умру, тогда ты узнаешь!

— Очень даже могу, моя мать то же самое твердит.

— Вот видишь, ты и так все знаешь... А с восьмого класса, как стала нас Аглая литературе учить, я только ее и любил.

— Кого любил? Литературу или эту Аглаю? — спросила Юля. Я восхитился и сплясал вокруг нее какой-то индейский танец.

— Умница! Как ты догадалась? Аглая — такой человек! Я хочу вас познакомить, пойдешь? Она удивительная. Семен Львович, когда приезжает, всегда у нее бывает.

\* \* \*

— В пятьдесят втором году дядя Марк каким-то образом передал записку для мамы. И в ней он приписал стишок для меня. Единственные стихи, которые я получила в своей жизни: "Я Юлюшке нашей желаю здоровья и кушать котлеты и масло коровье. Чтоб в школе учиться всегда на отлично, должна она весить до-

вольно прилично". Я тогда была ужасно худая. А смешные слова: "кушать", "отлично". У него все понятия какие-то довоенные. Знаешь, Витя, такого человека редко встретишь. Ему очень трудно ходить, а он каждый день, если здоров, к десяти часам приходит в Публичку, до трех читает книги и газеты, он ведь знает несколько языков, в Париже учился, а к четырем приезжает домой обедать. Удивительно упорный...

\* \* \*

— Семен Львович вот только уехал, — сказал я, — жалко, что ты с ним не успела познакомиться. Это старинный друг МД. Более разных людей трудно вообразить. Он каждое лето приезжает из Воркуты, он там после освобождения остался, работает по специальности, горным инженером, а вся семья в Москве. У него "писчий спазм", вот он его и лечит.

— Что это — "писчий спазм"? — спросила Юля.

— А это так: он все делает правой рукой, а стоит взять в руку ручку, как мышцы деревенеют, и он не может рукой шевельнуть. Бросает ручку — спазм проходит.

— Очень странно, никогда не слышала о таком.

— Это началось у него в тридцать третьем году, его арестовали и при обыске забрали записную книжку, где у него были всякие адреса и телефоны. Приводят его к следователю, а тот говорит: "Вот вам бумага, ручка, чернила, пишите подряд все, что вам известно об этих людях, начиная с буквы А". И тут случился у Семен Львовича "писчий спазм". А следователя фамилия была Ривкин, Семен Львович помнит фамилии всех своих следователей, Ривкин этот имел такую привычку: разговаривает тихо, вежливо, вдруг вскакивает и начинает орать благим матом. Очень обезоруживает, говорит Семен Львович. Еще он говорит, что не нужно никогда иметь записных книжек, потому что это — дополнительная информация, а всякое знание — во зло.

— А ты, — сказала Юля, — ведешь дневник.

— С чего это ты взяла?

— Яша сказал.

— Болтун чертов!

— Смотри, какая я! Не прошу почитать. Только ты обо мне ничего не пиши. Обещай, пожалуйста.



## Глава 4

Каждый день вместо того, чтобы идти в училище, я приезжал к Юле, мы доходили до трамвая... и решали, что училище никуда не денется. После этого мы шли куда глаза глядят.

Мы шли через город, под ногами шелестели желтые листья, погода стояла теплая, пальцы Юлиной руки переплетались с моими — и обе руки в кармане моего пальто. Вдруг открывалось пустынное место, мы останавливались и целовались — где-нибудь в Летнем саду на набережной Фонтанки или возле Храма-на-крови под надписью гвоздем "Господи, помоги мне сдать политэкономии!", а над нашими головами парил голубой мозаичный Христос. Еще хорошее место — ни одного человека — в парке Ленина возле Института травматологии, мы гуляли там, выйдя из Зоопарка...

У меня было ощущение, что я снова вернулся в детство, когда весь окружающий мир существовал только потому, что существовал я. Мы не замечали времени, не видели людей (когда не хотели видеть), думали вообще только о себе. Еще хорошее место: на берегу Невы позади Смольного собора! И такая бесконечная нежность была — к Юлиным рукам, глазам, к прохладным ее щекам и к теплой шее под шарфиком. И иногда мы надолго замолкали, и молчание это было таким понятным и таким обоюдным, что не вызывало ни неловкости, ни нетерпения.

Всю ту неделю Роза Борисовна работала в вечернюю смену. Прогуляв целый день по городу, мы приходили к Юле домой и сваливались без сил на диван. Ноги гудели, спина ныла. Мы обнимались и, бывало, лежа в обнимку, засыпали.

А иногда раздавался стук в дверь, заходил дядя Марк, и разговоры начинались снова.

Дядя Марк был высокого роста старик с белыми густыми волосами и с лицом, будто вылепленным из глины очень небрежной рукой. Глаза из-под густых бровей смотрели строго и въедливо.

— Витя, — сказала Юля, — он к тебе расположен, вообще-то он ни с кем из моих знакомых не разговаривает, кроме Гектора и Лиды. Когда Григ приходил, дядя Марк не появлялся.

С Гектором и Лидой я тоже познакомился. Раз утром Юля сказала, что нужно вернуться домой пораньше, Гектор звонил и обещал прийти. Он оказался невысоким, очень широкоплечим,

редкие волосы курчавились на круглой голове. Он смешно смеялся, приседая и хлопая себя по коленям. Пришел он, а следом — дядя Марк. Я видел, что дядя Марк слушал Гектора с удовольствием.

Уходя домой, я сказал Юле:

— Так мне хорошо у тебя. А дома — не спрашивай! Была одна радость, так и ту ты мне запретила.

— Что ты, Витенька, какую радость я запретила? — изумилась она.

— Дневник! Ты же сказала, чтобы я о тебе не писал, а о чем же еще писать?

Это была очень длинная неделя. Я ни на минуту с Юлей не расставался. Когда ее не было рядом, я думал о ней. Ночью мне снились жуткие сны: как будто Юлю у меня забирают, и я вскакивал с воплем “Юля!”, в комнате было темно, бабушка при моих криках начинала ворочаться. А утром, наспех съев бутерброд, уносился. Меня о чем-то спрашивали домашние, что-то их беспокоило, я слышал, но не задумывался, вообще никаких посторонних мыслей и образов не допускал в сознание, только Юля, больше ничего. Юля и я. Дядя Марк. Бабушка. Но больше всего я старался не думать о том, как сочетаются эти два человека, необходимых, любимых, единственных — бабушка и Юля.

## Глава 5

Сумасшедшая та неделя уже подходила к концу, когда однажды вечером, сидя со мной за столом и глядя, как я ем, бабушка вдруг сказала:

— Хочешь послушать поучительную историю?

Видно было, что она очень переживает. Я еще не понимал, в чем дело. Бабушка, разговаривая со мной, любила зайти издалека, называлось это “поучительной историей”.

— Давай, — согласился я.

— Это было давно. В Дармштадте. У дедушки был приятель. Он пригласил нас в гости на вечеринку по случаю свадьбы. Мы тогда свадеб шумных и пьяных не устраивали, было не принято. Посидели, поговорили. Тогда все очень много говорили... А потом эти двое — молодожены — пошли в отцовский кабинет. Все разбрелись по разным комнатам, квартира была огромная... Молодой человек открыл ящик стола, увидел там револьвер, взял его и

наставил на свою юную жену. “Стрелять?” — спрашивает. “Стреляй!”... Ты ждешь, что он ее убил! Ничего подобного. Он шутливо сказал: “Если женщина говорит “да”, значит “нет”. Отвел револьвер в сторону и выстрелил. Раздался ужасающий грохот. Мы вбежали в кабинет: оба они в обмороке...

— Слышал я уже это, — сказал я, — только не понимаю, в чем поучение.

— А не лезь в чужие ящики, неизвестно, что найдешь.

— Хорошее поучение, — сказал я смеясь. — К чему это все?

— Нечего у приятеля девушку отбивать!

Я так и застыл. Прошло не меньше минуты, прежде чем я нашелся, что сказать...

— Не отбил, она его не любит. А кто тебе сказал?

— Не скажу.

— Не скажешь, никогда от меня ничего не узнаешь.

Бабушка подумала.

— Мир тесен, — сказала она, — отец этого Азарова работает в одном отделе с ней.

И бабушка кивнула головой в сторону комнаты, в которой жил МД. “Она” — жена МД, а Азаров — фамилия Грига.

— Я ее не отбил, — сказал я. — Я ее люблю.

Мне было восемнадцать лет, и я был глуп. Я не понял, что “отбил” — вызывает бабушку на поучения, а “люблю” — рождает в ней страх и отчаяние.

— Любишь? — спросила она сразу ослабевшим голосом.

— Люблю.

Я доел, встал и ушел спать, оставив ее наедине со своими мыслями.

У Юли меня ждали другие разговоры и впечатления.

— Значит, тоже “фершалом” хочешь стать? Даже врачом? — спросил меня дядя Марк. — А ну-ка, пойдем со мной.

Он тяжело поднялся, опираясь обеими руками на стол, и пошел в свою комнату. Я за ним.

Комната была большая, с двумя окнами. И все в ней было старое: кровать, кресло у письменного стола, книжные полки, книги. И запах, такой мне знакомый: у нас дома пахло так же — старостью.

Дядя Марк взял с полки книжку, сдунул с нее пыль и сказал:

— Боже мой, сколько книг украли наши доблестные чекисты, а эту оставили, наверно, “Индекс” с собой не носили, вот и

опростоволосились. Как же, сталинский подхалим! — Он протянул мне книжку, это была фейхтвангеровская “Семья Оппенгейм”. — Прочти, если не читал, может, заинтересуешься.

Через несколько дней я принес книжку назад.

— Ну, не передумал, — спросил дядя Марк, — врачом становиться?

Я пожал плечами.

— Не можешь представить себе, как тебя потащат к позорному столбу?.. Московскую группу собирались повесить на Лобном месте, а нас, мелюзгу ленинградскую, киевскую и прочую, просто расстрелять рутинно.

— Издержки культа личности, — сказал я.

Он усмехнулся и постучал пальцем по книжке.

— Какой, к черту, культ личности? Самая настоящая народная власть. Демократия!

— Что ж плохого в демократии? — спросил я.

— Тут большая путаница. Еще Тит Ливий, кажется, заметил, что народ делится на две части: бóльшую и лучшую. Демократия — это власть большинства. Если это власть свободного народа — куда ни шло. Эта власть народу подчиняется. А если это власть народа-раба, то дело плохо, народ перед своей властью раболепствует, опьяняется силой “своей” власти, в конце концов такой народ умирает... А если это еще и народная демократия, то есть народная-народная власть, то вообще туман и чушь...

— Вам противно, — сказал я, — а у нас еще все впереди. Что же делать? Как приспособиться?

— Надо правильно выбрать место, — усмехнулся дядя Марк. — А чтобы не ошибиться, надо понимать, где живешь.

— Легко вам говорить.

— А кто тебе сказал, что жизнь — это непрерывный праздник?

— Ну ладно, — сказал я, — пойду к Юле, а то она там одна.

## Глава 6

Яша наконец дозвонился.

— Вы что, ополоумели? Целую неделю ни тебя, ни Юльки нету. Где вы болтаетесь? Вся твоя дорогая компания встала на дыбы.

— Кто это — моя компания?

— Гоша, Элла, Тина Николаевна, Григ...

— Ага, понял, завтра в училище встретимся.

Но уже было поздно.

Бывшая моя компания, узнав от Грига о моем предательстве, очень всполошилась. Теперь нужно было “спасать” от Юли меня.

Юля приобрела в их галазах какие-то совершенно демонические черты. Нужно было “избавиться” от этой “ужасной, развратной” Юли, которая с легкостью “поменяла одного на другого” и теперь со страшной силой “окручивает” меня.

Завуч Тина Николаевна пришла ко мне домой и сказала бабушке, что я связался с женщиной, что я не посещаю занятий, что я буду отчислен из училища. Добрая душа.

Азаров-старший тоже проявил чуткость. Позвонил бабушке и сказал, что Юля — “страшная женщина”, сначала она “свертила” его мальчика, а теперь принялась за меня.

Гоша тоже звонил бабушке и просил ее передать мне, чтобы я немедленно пришел в комитет комсомола. Этот звонок бабушку очень напугал, она считала комсомол частью партии и из комсомола — прямой дорогой на эшафот.

Галя передала мне записку: “Хочешь поговорить?” Мы с Яшей сидели за последним столом в аудитории, а она — за первым. Я посмотрел в ее сторону, она повернулась к нам, я кивнул.

— Против тебя целый заговор, имей в виду, — сказала она, когда мы на переменке стояли в коридоре у окна, — и знай, что я тут ни при чем, хотя, честно говоря, не понимаю, что ты нашел в ней.

— О чем это ты? — спросил я. — Что значит, ты ни при чем?

— Они позвонили и сказали ей, что ты любишь меня и у нее не должно быть никаких надежд...

В самом деле, Юля в тот день была мрачной, а вечером, дома, плакала, и мне долго пришлось утешать ее, и уговаривать, и объяснять, что Галя была давно, летом, от нечего делать, что я ее не любил, а люблю и буду любить только тебя, поверь...

В этих переживаниях прошла еще неделя. Мы исправно посещали занятия, потом либо гуляли, если было сухо, либо сидели у Юли дома, если шел дождь. Была поздняя осень, рано темнело, и на душе как-то мрачно было.

19 октября Роза Борисовна пришла с работы довольная, что редко бывало — работа очень ее изматывала, — и сказала:

— Путевку дали. Машка Ухина заболела, а ей завтра в Вырицу в дом отдыха ехать. Сто двадцать рублей. На двенадцать дней.

## Глава 7

Утром шел дождь, было холодно. Мне открыл ее сосед Опенкин, майор, хмурое, вечно ворчащее существо в халате и в сапогах. В коридоре я снял пальто, тихо стукнул в Юлину комнату. Дверь была не заперта. В комнате был сумрак из-за сдвинутых штор. Юля спала, повернувшись к стене. Я присел к столу, Мурзик тут же вспрыгнул мне на колени. Я открыл какую-то книгу и вдруг почувствовал, что Юля смотрит на меня. Я повернулся. Она лежала на спине, волосы ее разметались по подушке.

— Привет, — тихо сказал я. — Пойдем в училище? — тихо спросил я, с ужасом содрогаясь внутренне: а вдруг она скажет “да”?

— Нет, — сказала она. — Иди сюда!

Я подошел, наклонился, обнял ее.

— Иди сюда, — повторила она.

Она держала меня за шею и не отпускала. Я ее поцеловал.

— Сейчас, — сказал я.

Я запер дверь, разделся и лег рядом с ней.

— Ты холодный, — сказала она и прижалась ко мне.

Мы целовались. Она смотрела на меня. Ее огромные глаза были раскрыты, и у меня внутри все дрожало, когда я заглядывал в них.

Рубашка скользила по ее телу под моей рукой. И кожа у нее была такая же шелковистая, как рубашка. Но вот рубашка не мешает, я не заметил, как это произошло.

— Я хочу тебя, — шепнул я ей в самое ухо.

— И я, — так же шепотом отозвалась она.

*Он замолчал. И молчал так долго, глядя в окно и улыбаясь как-то растерянно, что я не выдержал и сказал ему, как будят спящего:*

— Витя, а что потом?

*Он огорченно вздохнул.*

— Как у всех. Она отдалась мне. Нет, вру, это я ей отдался, а она меня приняла. Теперь-то я знаю: как у всех. Я тогда — не помню, помню только, что это было так именно прекрасно, как я мечтал. Почему-то быстро, и легко, и весело на душе, и неутолимо.

Она целовала меня в грудь, в подбородок, в губы, обнимала, прижимала к себе, говорила что-то — бессвязное, но такое понятное.

Я был уже там, в новом мире, уже обживался в нем, слышал новые слова, обращенные ко мне.

— Я и не знала, что это так... вот так...

— Тебе хорошо?

— Очень... Иди ко мне...

Совсем другое что-то в глазах, в губах, в поцелуях, в объятиях. Больше, чем просто глаза, и губы, и поцелуи... Нежность невероятная. Все слова — о том, что до этого и после.

Мы снова целовались.

— Ты хороший?

— Да.

— И я.

— Да, ты очень хорошая.

— Родной...

Кончился этот день. Были другие. Дождь. Снег. Много разных дней.

— Ты меня любишь?

— Да. А ты?

— Очень.

— Лучше тебя нет.

— Нет, это ты лучше всех.

В другой раз:

— Мама нет дома.

— Идем быстрее.

Мы лежим.

— Поцелуй меня.

Я целую.

Вечер. Свет потушен. Луна. Юлино лицо — бледно в свете луны. Я лежу на диване, Юля сидит, поджав под себя ноги, рядом со мной. Ее рука на моей груди.

— Нет, Витя, сегодня нельзя.

Я зарываюсь в нее лицом.

День, солнце, на улице мороз, воскресенье.

— Сегодня мы из дому — никуда! — заявляю я.

— В пять часов мама вернется.

— Ну, у нас целых шесть часов!

Юля радостно разбрасывает постель. Подушка летит в мою голову. Юля смеется.

— Какой ты смешной.

Я подхожу, беру ее на руки, кладу осторожно на кровать.

- Давай, я тебя раздену.
- Она покорно наклоняет голову...
- Я люблю тебя, Витя...
- Я люблю тебя, Юля...
- Это — мы.

## Глава 8

— Витя, тебя Тина вызывает, — сказал Яша, — ни пуха.

Я пошел в учебную часть. Дверь была открыта, и я услышал резкий голос Анны Георгиевны, нашей преподавательницы детских болезней:

— Нет, Тина Николаевна, я не согласна. Это их сугубо личное дело..

— Но Новиков и Гехт пропустили целую неделю, — возмущенно сказала секретарша Элла. — Они оба забросили учебу.

— Я понимаю, — сказала Анна Георгиевна, — возможно, они неразумны, но, Тина Николаевна, милая, у них же любовь.

— Если все начнут влюбляться и пропускать лекции, то во что превратится наше училище?

— А какова вообще моральная сторона? — начало было Элла. Но Анна Георгиевна ее прервала:

— Слышу всякие сплетни, меня это не интересует. Тина Николаевна, если будет педсовет, то я выступлю против их исключения.

Я услышал, что Анна Георгиевна идет к двери, и отскочил на середину коридора.

— Новиков! — воскликнула она. — Идите-ка сюда. — Она взяла меня за локоть, подвела к окну, надела очки и внимательно посмотрела мне в лицо. — Ну и ну, не легко это дается...

— Да вот, — начал я.

— Знаю, слышала. А зачем занятия пропускать?

— Так вышло.

— Лучше бы вышло не так. Ладно, идите... А хотите, приходите ко мне вместе со своей девушкой. Я ее не знаю?

— Нет, она — первокурсница.

— Вот и приходите, в воскресенье, часика в два.

И она пошла по коридору, высокая, грузная, ее черные волосы были густо посеребрены. Единственный взрослый человек, который что-то понимал.



Тина Николаевна с Эллой прервали разговор, когда я вошел. Потом Тина Николаевна сказала:

— Мы собрались отчислить обоих, но из уважения к твоей бабушке даем тебе испытательный срок и оставляем в училище, а Гехт — исключаем.

— За что? — очень громко спросил я.

— Не кричи. За пропуски занятий в течение восьми учебных дней. Справки она никакой не представила. Значит, прогул по неуважительной причине.

— Я тоже забираю документы.

Она пристально на меня посмотрела.

— Иди пока, гусар.

В комитете комсомола Гоша, заперев дверь и усадив меня за стол, внушал:

— Ты должен ее оставить. Не перебивай. Подумай сам: ты, как никто другой, должен и можешь учиться, тебе нужно быстрее получить специальность, начинать работать и помогать бабушке.

— Гоша, — сказал я почти нежно, — люди целину осваивают, электростанции строят, Антарктиду открывают, а ты тут за шестьсот рублей в месяц решаешь такие серьезные проблемы: оставить мне комсомолку Гехт или не оставить. Тебе не стыдно?

Гоша помолчал, я думал, обругает меня, но он сказал:

— Я люблю работать с молодежью, ты же знаешь.

— Над молодежью, хотел ты сказать?

— Ты! — завопил он. — Потихе, пока с тобой добром...

Дома — ежедневные скандалы. Бабушка постоянно плакала. И говорила, говорила... Ты злой, ты черствый, ты совершенно не ценишь, что я отдала тебе всю свою жизнь, не понимаешь, что я стара, скоро умру, тогда будешь рвать на себе волосы, но будет поздно, отольются тебе мои слезы, привык жить одними удовольствиями.

В училище никто из бывших друзей с нами не разговаривал, более того, нас не замечали. Яша пытался нас подбодрить. Юля почти плача говорила:

— Не могу я так жить, когда ты из-за меня страдаешь.

— Брось, Юлька, — говорил Яша, — он не страдает, посмотри, это они страдают, что не могут к вам подойти.

Мы вяло улыбались.

Опять кто-то позвонил и сказал Юле, что я уже тысячу раз влюблялся, что я бабник, что мне нельзя верить, что она не идет

ни в какое сравнение с моими бывшими девчонками и к тому же сорвала целый номер в самодеятельности.

И опять Юля плакала, и глядя на нее, я сам готов был разрыдаться. Умолял ее не обращать внимания, а она все плакала. Тогда я ушел.

Утром она ждала меня у входа в училище и сунула мне записку: "Витенька, любимый! Ты вчера так страшно ушел, будто навсегда. Я не могу ссориться с тобой. Без тебя же нет ничего. Но если ты меня не любишь, то лучше скажи".

На перемене я ей сказал:

— Все, больше не обращаем внимания ни на кого. — И чмокнул ее в щеку. — Теперь будем заняты только собой. Обещаешь?

## Глава 9

С моим двоюродным братом Севой мы прожили бок о бок семь лет (в 51-м году он с родителями приехал из Новосибирска, потому что умер дедушка, и у нас могли отобрать вторую комнату), но были далеки друг от друга. Он на три года старше меня, и эти годы стояли между нами непреодолимой стеной. Один только раз он говорил со мной серьезно, и этот разговор я запомнил на всю жизнь.

Было лето 56-го года. Сева читал газету с постановлением о культе личности. Я сказал что-то о том, что невелика заслуга — разоблачать мертвецов, что, мол, это вынужденная мера и что действие равно противодействию. Сева оторвался от газеты и сказал:

— Чушь! Законы физики нельзя переносить на общество. Он опять погрузился в чтение. И, конечно, даже представить себе не мог, как это мимолетное замечание перевернуло все мои представления.

И вот Сева, студент-математик пединститута, в самом конце октября вдруг, встретив меня на кухне, сказал:

— Хочешь билет на вечер нашего факультета?

Я очень удивился, но ответил:

— Мне два нужно.

— Гони десятку!

Он принес мне два билета. 30-го октября мы с Юлей пошли на этот вечер. Долго блуждали в огромном дворе Герценовского института, пока нашли зал. Сначала вечер был как все подобные

вечера: танцы. Потом на сцене перед занавесом появился... Сева. И сказал:

— Переходим к самодеятельности.

Сидеть было не на чем. Все огромной толпой собрались перед сценой.

Пошли какие-то номера: пели, читали дежурные стихи, в общем, мура. Последний номер вызвал общее одобрение. Сева объявил:

— Сцена из спектакля "Пессимистическая комедия".

Занавес раздвинулся. Под командованием девушки крошечного роста в кожанке, перепоясанной ремнем, с кобурой на боку, на сцену притопал взвод из десяти парней.

— Ать, два, ать, два, левой, — выкрикивала — "кожанка". — Взво-од, стой! Ать, два!

Потом она, построив их в два ряда, отошла к краю сцены и тоненьким писклявым голосом, чуть не плача, сказала:

— Ну, кто еще хочет комиссарова тела? Шаг вперед.

И все десять парней с криком и гиканьем кинулись к ней. Занавес закрылся.

После этого была литературная викторина. Вынесли стол, на нем разложили призы: пупсиков, зайчиков и другие игрушки, несколько записных книжек и "гвоздь" — китайскую авторучку. Вопросы были разные, начиная от простейших — как звали лошадь Дон-Кихота? — и до такого сложного, как: кто автор и как называется произведение, один из героев которого Калибан? Этого никто не знал.

И вот задали вопрос и настала моя "звездная минута". Вопрос был такой: "Как звали ослика, на котором путешествовал Тиль Уленшпигель?" И на этот вопрос никто не мог ответить.

— Ну же, товарищи, неужели никто не знает? А приз очень даже хороший, вот эта замечательная авторучка, изготовленная китайскими братьями...

— Хочешь авторучку? — спросил я Юлю.

— А ты знаешь ответ? — удивилась она.

— Знаю.

— Ну, давай, — сказала она.

Я крикнул:

— Осла звали Иеф!

Юля получила ручку, а я впервые в жизни удостоился аплодисментов.

Юля меня спросила, как я запомнил этого осла.

— Понимаешь, "Тиль Уленшпигель" — любимая книга моего старшего брата Бори. Вообще единственная книга, которая от него осталась. Я ее читал три раза. Сначала, когда мне было лет двенадцать. Потом лет в пятнадцать, там есть изумительная глава, Тиль и Неле лежат голые в постели, ради этой главы и читал. И в прошлом году — ради "пепел Клааса стучит в мое сердце".

— Витя, ты мне нравишься, — сказала Юля.

— А я думал, что ты меня любишь.

— Это — само собой.

Студенты, собравшиеся у сцены, дружно хлопали и скандировали "Сла-ва! Сла-ва!" На сцену поднялся небрежно одетый парень с большим носом и близко посаженными глазами.

— Чего читать? — спросил он.

— "Роботы"! Басни! — понеслись крики.

Он стал читать. То ли в самом деле стихи были хорошие, то ли настроение у меня было приподнятое, мне его выступление очень понравилось. Одну его басню сразу запомнил: "Спасаясь от змеи, раз воробей скакал и повстречал червя, спешившего куда-то. Червя он клюнул, а змее сказал: "Вот так мы поступаем с вашим братом!"

Снова начались танцы. Мы с Юлей вскоре ушли.

В комнате дяди Марка горел свет. Юля постучала, мы вошли. Дядя Марк сидел за обеденным столом, перед ним стоял стакан с чаем. Как всегда, дядя Марк читал.

— А, ребятки, гуляки, — сказал он, — вот мама вернется, все расскажу. — Он притворно ворчал, видно было, что он рад нашему приходу.

Мы рассказали ему о вечере, о "комиссаровом теле". Он одобрил китайскую авторучку и сказал, что Калибан — чудовище из "Бури" Шекспира.

— А в училище программу слушали директор, парторг и Гоша, — сказала Юля. — Я хотела прочесть стихотворение, не разрешили.

— Любопытно, — сказал дядя Марк, — что за стихотворение?

— Кипплинга, "Сыну".

— Почему же не разрешили? — спросил я.

— Когда-то читал, но не помню, — сказал дядя Марк. — Ну-ка, прочти, если не лень.

Юля стала читать. Это было сильное, мужественное и умное стихотворение.

— Конечно, — сказал дядя Марк, — я вашу тройку понимаю, ведь каждая добродетель, которую называет Киплинг, котируется по 58-ой статье — в десять минимум лет. Как там? “Можешь быть в толпе собою”? То есть, не разоружился перед партией? Троцкист! “При короле с народом связь хранить”? Скрытый террорист, не предан начальству. “Себе остался верен”? Предал интересы партии и трудового народа. “Земля — твое достояние”? Капиталист, приговариваешься к высшей мере!

Мы с Юлей покатывались со смеху, а он был абсолютно серьезен.

— “Пускайся в дальний бег”? Через какую границу? Измена родине. Двадцать пять лет. В военное время — расстрел.

— Так можно любое стихотворение раздолбать, — сказал я.

— Нет, не любое, — ответил он. — В советском произведении ты такого не найдешь. Советская литература двусмысленностей не допускает. А то, видишь ли, “Уважая мнение любое”, да кто тебе это позволит, не только уважать чужое мнение, а вообще его слушать. Сейчас, правда, слышно, но я никогда не поверю, что глушилки они выключили навсегда.

Он замолчал и задумчиво вертел в пальцах чайную ложку. Потом неожиданно улыбнулся:

— Вот уже сорок лет они, — и дядя Марк ткнул пальцем в сторону, — ведут спор о том, какой должна быть советская литература. У тебя какая отметка по литературе?

— Тройка, — ухмыльнулся я. — Но это я знаю: национальной по форме и социалистической по содержанию.

— А ты говоришь, тройка. Нет, ставлю тебе “отлично”. Только все это очень смешно. Содержание литературы очень узко, всего — сколько? — шесть тем: рождение и смерть, война и мир, любовь и работа. Это не связано ни с социализмом, ни с капитализмом, ни с людоедством. Вечные темы. Но зачем же понадобилось извести гору бумаги и реки чернил, а также засадить сотни людей из-за плевого этого вопроса? А затем, что этот вопрос — только верхушка айсберга. А сам айсберг — каковы форма и содержание советского государства?

Он взял из пачки папиросу и закурил. Мы с Юлей тоже задымили.

— Опыт учит нас, что социалистическое содержание требует для государства полицейской формы, строгого и особого режима.

— Ну сейчас-то Хрущев большинство лагерей закрыл, — сказал я.

— Это не имеет значения: было много маленьких лагерей с жесткой дисциплиной, теперь вся страна — один большой лагерь, но сущность дела от этого не меняется. Если государство наше социалистическое, то оно может держаться только с помощью вохры. Вооруженной охраны.

\* \* \*

Вместе со мной Юля вышла на площадку. Мы поцеловались.

— Мама завтра приезжает, — грустно сказала она.

— Что же делать? — шепнул я, уткнувшись носом в ее волосы возле уха. — Так и не пробыли вместе хотя бы одну ночь.

Юля взяла меня за руку и повела обратно в комнату.

— Лапка, — сказал я, — мне нужно позвонить.

Довольно долго пришлось ждать, пока позвали бабушку, но вот трубка стукнула и бабушкин голос сказал устало и сонно:

— Я слушаю.

— Бабушка, — бодро, но тихо сказал я, — уже двенадцать часов, а я у Кадронена. Это у черта на куличках, ты же знаешь. Авиационная, 11. Трамвай будет два часа идти, а тридцать рублей на такси жалко... Так что ты не волнуйся. Завтра приду после училища. Пока.

Прежде чем я положил трубку на рычаг, я успел услышать, что бабушка что-то сказала. Только через несколько секунд я понял, что она сказала: "Ты лжешь". Но я уже шел к Юле...

Мы лежали утомленные и потные, соприкасаясь локтями и переплетя мизинцы, и Юля сказала:

— Как светло, который же час?

Светящиеся зеленым стрелки будильника показывали начало четвертого. Юля встала, накинута на плечи простыню и подошла к окну. И негромко вскрикнула:

— Смотри, какая прелесть! Снег! Все бело!

Я тоже встал и подошел к ней.

Крыши под нами были покрыты снегом, как будто белый туман висел в воздухе. Удивительно светлая была ночь.

Я прижал Юлю к себе и сказал:

— Давай будем спать. Мне так хочется тихо спать возле тебя, и чтобы твоя голова — на моем плече, и чтобы твои волосы касались моей щеки, а моя рука касалась твоей груди. Мне не нужно

никакой экзотики, ничего необыкновенного. Я всегда мечтаю о самых неприхотливых радостях, я такой молодой, а мне хочется тихой любви и покоя. Это плохо?

— Это хорошо, — сказала она, поворачиваясь ко мне.

Мы легли и спали до утра, а утром пошли в училище, и у меня было такое чувство, как будто я побывал дома, а теперь, как и раньше, буду жить в гостях.

После училища я приехал домой. Бабушка в халате сидела у стола, а рядом с ней стояла худенькая сухонькая старушка и, приложив стетоскоп к бабушкиной груди, выслушивала ее. Увидев меня, обе закивали укоризненно.

— Вот, — сказала бабушка, — сердечный приступ у меня был, спасибо Мария Львовна не отказалась прийти...

— Как же я могу отказаться? — Доктор села выписывать рецепт.

У нее были совершенно белые волосы, аккуратно уложенные крупными волнами, а на груди на цепочке висели маленькие часики, я таких никогда не видел. Она кончила писать, велела бабушке не волноваться, и мы пошли с ней в переднюю.

— Имейте в виду, — сказала Мария Львовна, — у вашей бабушки очень слабое сердце, очень нехорошая аритмия, все это опасно, старайтесь ее не волновать. Она мне сказала, что вы не ночевали дома, я понимаю, это ваше дело, а не мое, но все же должна вас предупредить.

На следующий день приехала Роза Борисовна, и мы встретились радостно, совсем как любящие друг друга родственники.

## Глава 10

Я проснулся в девятом часу. Воскресенье. Идем в гости.

Бабушка шуршала чем-то в своем рабочем столике и негромко что-то бормотала себе под нос.

Когда я встал и надел брюки, она сидела за столом, на коленях у нее лежало ее единственное приличное платье, а перед ней стояла коробка с разноцветными мулине. Платью этому было в обед сто лет, уж точно довоенное. Черное с широким воротником, по которому когда-то шла затейливая вышивка. Но теперь вышивка эта во многих местах разорвалась, и, судя по всему, бабушка решила ее восстановить.

— С чего это? — спросил я.

- Скоро Новый год, поеду к Эсе. Стыдно на люди показаться.
- Проще эту вышивку выпороть.
- Это тебя нужно выпороть, — не упустила бабушка.

Умывальник был у нас на коммунальной кухне. Я помылся и обдумывал, стоит ли ополоснуться до пояса или так обойдется. Подошла Танька Зверева и звонко шлепнула меня по спине.

- Отощал, братец.
- Да все, мать, дела, поесть некогда. А ты все пухнешь?

Танька была на год старше меня. В седьмом классе она заболела инфекционной желтухой и осталась на второй год. И когда ввели совместное обучение, я перешел в бывшую женскую школу и оказался в одном классе с Танькой. Недавно она вышла замуж и теперь была на седьмом месяце беременности.

- Пухну, — сказала она. — Смотри, пузище уже на нос лезет! Ничего такого я не видел. Потолстела и только.

Я вытирался и нашаривал ногой тряпку, валявшуюся под умывальником.

– Погоди, — сказала Танька, — я подотру. Мне велено как можно больше наклоняться. А спички пускай они сами рассыпают и подбирают...

Мы с бабушкой пили "кофе". Отвратительное пойло. Толокно, смешанное с желудями. Бабушка верила, что этот напиток очень полезен.

– Сегодня полночи не спала, все пыталась вспомнить одну строчку. Воспоминания детства не дают покоя, — сказала бабушка, — так ясно вижу папу и маму, и бонну, и Эсю маленькую...

- Строчку вспомнила?
- Все-таки вспомнила, — сказала она с торжеством.
- Ну-ка, прочти!
- Ты в самом деле, хочешь?
- Конечно, хочу, — сказал я.

И бабушка прочла мне длинное четверостишие... по-немецки.

– Прекрасно, — сказал я, — я понял все до последней запятой. Единственное не знаю, кто автор.

Бабушка засмеялась.

- Айне!
- Впервые слышу. Известный поэт?
- Айнрих Айне! — искренне изумилась бабушка. — Как можно было не слышать?
- Ну не слышал! Немецких поэтов знаю: Гете, Гейне, Шиллер.



Бабушка опять засмеялась.

— Ну да, ну да, ты говоришь Гейне, а надо говорить Айне. Это все равно, как вместо Пушкин сказать Фошкин... У меня был учитель древне-еврейского языка, так он так и говорил...

И вдруг замолчала. Ее выцветшие глаза смотрели куда-то сквозь меня.

— Я сегодня в гости иду, — сказал я, — мне нужно пятьдесят рублей.

— Пятьдесят рублей? — сразу вернулась бабушка к действительности. — В гости? К кому? С кем?

— В гости, — твердо сказал я. — К нашей преподавательнице детских болезней. Зовут Анна Георгиевна. Она нас с Яшей пригласила. Хочу принести цветы.

— С чего это тебя в гости приглашают?

— Я хороший человек и Анна Георгиевна хороший человек. Между прочим, участвовала в войне, имеет награды и ранения. И вот один хороший человек пригласил в гости другого хорошего человека. И с Яшей. Против него ты ничего не имеешь?

— А у тебя какие награды?

— Вот сейчас получу от тебя пятьдесят рублей.

И она дала, хотя это были для нас немалые деньги.

Через несколько минут я вышел в коридор и позвонил Яше.

— В случае чего, — сказал я без предисловий, — ты сегодня со мной у Анны Георгиевны.

В 12 часов, как было условлено, мы с Юлей встретились возле гомеопатической аптеки на Невском. Юля поцеловала меня в щеку, взяла под руку, и мы медленно пошли по Невскому в сторону Московского вокзала.

— Цветы можно купить сегодня только у метро, — сказала Юля.

Был очень хороший день, безветренный и солнечный. На Невском полно было красивых девушек. Мы погуляли и к двум часам пришли.

Анна Георгиевна жила на Фонтанке между Невским и улицей Ломоносова в двух комнатах в коммунальной квартире. Нас встретили девочка Катя и мальчик Слава. На шее у Кати был повязан пионерский галстук, а две ее тощие косички смешно торчали в стороны. А Слава был совсем малыш. Он посмотрел на нас и ушел в свой уголок.

— Мы не будем говорить ни о чем трудном и сложном, — ска-

зала Анна Георгиевна, — а будем пить чай. Настоящий, грузинский, привезенный из Тбилиси.

Чай действительно был вкусным. И самодельное печенье. И вообще весь этот день был каким-то светлым и спокойным.

Несмотря даже на то, что во время нашего чаепития вдруг открылась дверь и вошел сумрачный мужчина.

— Ваня, — сказала Анна Георгиевна. Но он буркнул “здрасьте” и прошел в другую комнату.

— Это мой муж, — сказала Анна Георгиевна, — он врач, очень умный и занятый человек. Там, в его комнате, целая полка книг, которые он написал... Но, давайте, я лучше почитаю вам стихи, написанные давным-давно одним юношей. Если бы он не погиб на войне, он стал бы большим поэтом.

И откуда-то из глубин письменного стола она достала тетрадку отпечатанных на машинке стихов и стала читать их подряд.

Я смотрел на Юлю, лицо ее было спокойным и отрешенным...

Боже мой, подумал я, стихи — любимой девушке. Такие чистые, прозрачные, теплые, так много чувства и серьезности.

Я перестал слушать, что читала Анна Георгиевна, потому что чужие эти стихи очень меня расстроили.

Вчера Валерка Кадронен подошел и сказал:

— Ты бы хоть предупреждал.

— А что? — спросил я.

— Галя твоя поймала меня врасплох. “Чего это, — говорит, — Новиков повадился к тебе ночевать?” А я варезку раскрыл. “С чего это ты взяла?” — спрашиваю. Вдруг она как заржет: “Ага, значит это он не у тебя ночует!”

Цепочка ясна: бабушка — жена МД — Азаров-старший — Григ — Тинина шайка. Теперь они Галю втянули. Обложили, как волков, еще до Розы Борисовны доберутся. Последнее убежище потеряем.

— Так мало людей, которые хорошо к нам относятся и понимают, — сказал я, когда мы ехали домой к Юле.

— Что же ты, не понял, что она сама страдает? Этот муж, мягко говоря, бука. И стихи, которые когда-то ей посвящал тот юноша, ведь все это — ужасная драма... А дети — золото.

— Хорошие стихи, — сказал я, — и день хороший...

Весь вечер мы обнявшись просидели перед телевизором в комнате дяди Марка. Он и Роза Борисовна были в это время на каком-то концерте в Пятилетке.

— Какие у тебя планы на ноябрьские? — спросила меня Юля.  
— Да какие планы? Быть с тобой...  
— Слушай, Вить, звонил Гектор, приглашал к ним, у них всегда бывает интересно.

— Куда это?

— Да тут недалеко, "гэ-дэ-эр", часа полтора.

— Та-а-к, — протянул я, — ради обычной пьянки ехать к черту на кулички...

— Никакой пьянки не будет, у Гектора это не принято, а будет доклад.

Я засмеялся.

— А ты не смейся. Доклад одного пятикурсника с философского факультета "Кант и Библия", а потом чай с тортом. И торт привезем мы.

Библию я не читал, Канта, конечно, тоже. С Кантом у меня было связано такое воспоминание: Семен Львович показывает мне фотографию в журнале (в "Советском фото", что ли) на которой снята черная могильная плита. На плите выбито готическим шрифтом, что здесь лежит Иммануил Кант, а через всю плиту идет надпись белой масляной краской, что-то вроде: "Теперь ты понял, что мир материален? Капитан такой-то". Или лейтенант. И Семен Львович говорит:

Во-первых, это заявление касается только половины Канта. Писатель сей, конечно, не знает, что существует космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Во-вторых, от писания на могилах несет такой фашистско-черносотенно-погромной вонью, что рвать хочется. В-третьих, это погромное невежество совершенно не заслуживает публикации...

Наступило 7 ноября, и вечером мы поехали к Гектору в "гэ-дэ-эр" (Гражданка дальше Ручьев), в самый конец Гражданского проспекта. Там в новом доме Гектор и его родители получили две квартиры на одной площадке, и счастливы они были необыкновенно. Раньше они жили втроем в десятиметровой комнате, а когда Гектор женился, жить вместе стало совсем невозможно, но не было у них надежды на перемену жилья. И вдруг расположенный в соседнем доме НИИ пожелал расшириться, и весь дом перешел в его владение.

Ехали мы не полтора часа, как обещала Юля, а два с лишним,

потому что автобусы шли переполненные и большинство из них не останавливалось. И еще торт этот пришлось держать над головой, а потом беречь от падения, когда мы пробирались по сугробам. На Гражданке зима крутила уже в полную силу.

Когда мы, наконец, пришли, настроение у меня было скверное, я жалел, что мы не остались дома, пусть даже с Розой Борисовной, но посидеть в тепле, под желтым абажуром, смотреть на Юлю, слушать ее волнующий голос и ни с кем не делить это счастье...

Нас встретила очаровательная женщина лет двадцати двух, Грета Гектор, и, пока мы топтались в передней, снимая пальто и согреваясь, говорила, что не мы одни опоздали, и Сережа только десять минут назад начал свою лекцию.

Мы вошли в комнату. За столом, большим и добротным, сидело человек восемь парней и девушек, и все они внимательно слушали этого Сережу. Из всех этих людей я был знаком только с Гектором. Мы с Юлей тихонько обошли сидевших и тоже уселись на стулья, стоявшие в углу. Я посмотрел на лектора, и что-то кольнуло меня: я его знал.

А Сережа в это время говорил:

— ... спор о первичности духа или материи затеяли философы позднейших времен. В первой философской книге европейской цивилизации, то есть в Библии, в Ветхом Завете, в Пятикнижии, в главе первой книги Бытие, в стихе 1,2 сказано: "Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою". Над этим стихом стоит задуматься. В результате даже поверхностного анализа получается, что вопрос о первичности не стоит. Дух Божий и материя существовали вместе и одновременно. Результатом взаимодействия Духа и Материи стали: материализованный дух и одухотворенная материя...

... Я смотрел на него и пытался вспомнить, откуда я его знаю. У него было круглое лицо с маленьким подбородком, ничем не примечательный нос, круглые глаза за роговыми очками и очень высокий выпуклый лоб, скорее лысина, обрамленная рыжеватыми вьющимися волосами. Я попробовал "снять" с него очки. Нет. И без очков — не вспоминалось. Тогда я "нарастил" ему шевелюру: вьющиеся волосы, начинающиеся невысоко над бровями. Мелкой рябью подымающиеся ото лба. С такими волосами он был на кого-то похож. Да, такими волнами, похожими на широкую лесенку для маленького-маленького человечка.

У меня вообще память пристрастна ко всяким лестницам. Помню лестницу — мраморную, белую, с трещинами и щербинами, которые находились совсем недалеко от моих глаз, — в Новосибирском Дворце труда, где мы жили в эвакуации.

Хорошо помню лестницу в школе на Исакиевской площади — широкую, торжественную. Нас принимали в пионеры, и этот день разделен в моей памяти на две неравные части. Первая — короткая, радостная, майский день, все в белых рубашках, нам повязывают красные галстуки, “Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!”, “Всегда готовы!”, а потом все побежали. Актовый зал был на втором этаже, вниз вели два пролета. В приливе радости или озорства некоторые любили сесть на перила и скатиться. И первым оказался мальчик из нашего класса Ворошилов. И в друг он закричал. Не громко, а как-то испуганно. Внизу в перила кто-то воткнул половинку лезвия для безопасной бритвы, и он проехал по этому лезвию. И разрезал брюки и ягодицы... На перила потом наكدотили через каждый метр шпильки...

И лестницу в школе на Невском помню. Серую, невзрачную. Школа образцовая, показательная и прочее. Но очень портило мне жизнь то, что в этой самой школе с 39-го до 41-го года учился мой старший брат, и некоторые учителя его помнили и постоянно говорили мне: “Вот твой брат — совсем другое дело”. Я вообще-то скверно учился, достаточно взглянуть в мои “табели успеваемости”, которые ловко ювно сохранила бабушка. Только тройки, одни тройки.

Меня поедом ел Мамонтов. Внешне он являл полную противоположность своему названию. Маленький, худенький, головка с кулачок, а кулачки и локотки остренькие. Но огромная — слоновья, мамонтовая — была у него ненависть к евреям. Мне он проходу не давал. Шел 1953 год. Я стою на улице Гоголя возле газетного стенда и читаю статью: “Шпионы и убийцы разоблачены”. О врачах. Но нет сил читать это, и глаза все время сбиваются влево, на какую-то заметку о концерте мастеров искусств из Польши, на котором присутствовали товарищ Сталин, товарищ Молотов, Маленков, Берия, Ворошилов, Хрущев и другие. Ко мне подходит Мамонтов (он жил в этом доме) и говорит, что скоро всех нас будут чикать. Мимо идут люди, рядом остановка троллейбуса, шумно, морозно, а нас скоро будут чикать...

Я сидел, облокотясь на колени, и смотрел в пол. Со стороны,

наверно, казалось, что я с большим вниманием слушаю эту лекцию. Однако Юля легонько толкнула меня коленкой, я поднял голову, она смотрела на меня вопросительно и прошептала: "Что с тобой?" "Ничего!". — так же тихо ответил я.

— ... разум у человека не мог появиться из ничего. Ясно, что разум является продуктом эволюции. И если мы от человека движемся вспять, то на каком этапе мы увидим его наличие впервые? Очевидно, что этим этапом, этой отправной точкой является сама материя. Поэтому не следует видеть парадокса в заявлении философа: а может быть, и камень мыслит. Это выражено грубо, но верно. Способность к мышлению заложена в материи изначально. Если, конечно, можно говорить о каком-то начале материи... — добавил он, усмехнувшись.

Лестница. Да, лестница. Серая, из гранитной крошки, узкая, я лечу по ней вниз. Ужасно болит копчик, потому что он въехал мне коленкой. И кричит: "Сколько раз говорено, что по лестницам бегать запрещено!" Их класс дежурит по школе. Они ходят по коридорам и стоят на площадках. Десятиклассники. Он — краса и гордость школы. Не первый ученик, но наверняка медалист, председатель учкома. Сергей Стрекалов по прозвищу Пудра, потому что его лицо, упитанное, розовое, окружено белым пушком. И круглые злые глазки за круглыми старушечьими очками. И вот я лечу с лестницы, невыносимо болит копчик, а Пудра наклоняется надо мной, лежащим у стены, и говорит: "Если, сволочь, пожалуешься, буду бить смертным боем. Жиденок!" Через несколько дней останавливает меня в пустом коридоре и говорит: "Ну, жидовская харя, знаешь, где у тебя печень?" И со всего размаху бьет меня по боку...

Я резко встал и пошел к двери. Все присутствующие посмотрели на меня, и Стрекалов оторвался от своих бумаг.

— Я — покурить, — бросил я и ушел на кухню.

Здесь Грета и еще какая-то девушка готовили салаты. Я закурил. Девушки, бегло взглянув на меня, продолжали свой разговор.

— Шура считает, что Сережа — самый небанально мыслящий человек из всех, кого он встречал, — говорила Грета.

— Да, я тоже слышала, что он мыслит очень неординарно, — согласилась подруга.

И я видел, что, не желая слушать стрекаловское бубнение, я навлек на себя тайное неудовольствие этих милых девушек.

Вскоре в комнате задвигали стульями, послышался громкий разговор, дверь на кухню открылась, вошел Гектор, а за ним Юля.

— Ты чего? — спросила она меня. — Тебе было неинтересно?

— Страшно интересно! — как-то зло ответил я. — Может быть, домой пойдем?

— Да вы что, ребята! — воскликнул Шура. — Витя, я ни в коем случае вас не отпущу. — И засуетился: — Давайте, девочки, что тут можно нести на стол?

Все уже сидели за столом. Уселись и мы. И я оказался напротив Стрекалова. Он в это время говорил с большой горечью в голосе:

— Советская философская мысль находится в тупике. У нее нет никаких перспектив. Главная ее болезнь — догматизм. Главный ее недостаток — несамостоятельность. Она паразитирует на достижениях западной философии, она критикует и не создает собственных ценностей. Она оторвана от философских корней, дерево российской философии было срублено под корень в двадцать втором году, когда крупнейшие наши мыслители были высланы за границу. Русская философия имеет богатую историю и традицию. Это — религиозная философия. Советская философия, как вы знаете, атеистичная, и поэтому никакой связи и преемственности не существует. Мы висим в воздухе, и у нас нет никаких перспектив.

Все слушали его, разинув рты. Даже забыли разливать вино. И я решился прервать его:

— Но вы и ваши единомышленники... — начал я.

— Я говорю об официальной философии, — обрезал он меня и посмотрел на меня очень внимательно. — Я заметил, что вам был не слишком интересен мой доклад.

Все взгляды уперлись в меня.

— Чего же мы не разливаем? — бодро спросил я. — Да, меня не слишком интересует ваш доклад, — передразнил я Стрекалова.

— Ну, это ваше дело, — сказал он и отвернулся от меня.

И вдруг мне сделалось жарко и страшно.

“А если это не он?” — пронеслось у меня в мозгу.

— Что ты будешь пить? — спросил я у Юли.

Ее голос донесся как будто издалека:

— Вот это, с оленями.

Я взял бутылку болгарской “Сливовицы” и налил Юле и себе. Рука у меня дрожала. “А если это он?” Я поставил бутылку и, чуть ли не заискивая, обратился к Стрекалову:

— Видите ли, я живу в коммунальной квартире, — и я обвел взглядом маленькую скромную комнатку, в которой мы сидели, — и у нас есть соседка, которая учится на философском факультете. Своими постоянными рассказами, а мы с ней вечно по вечерам болтаем на кухне, она очень меня заинтересовала всякими философскими проблемами, и все время я слышу от нее о каком-то студенте со старшего курса. Светка просто бредит им. — Я огляделся, все за столом смотрели на меня с оживлением. — Стрекалов, Стрекалов, только и слышу. Вы случайно его не знаете?

Я опять огляделся. Все улыбались. Уже по их лицам я понял, что попал в точку, но и сам Стрекалов заявил, слегка покраснев и явно радуясь своей известности и тому, что какая-то Светка (которую я сочинил полминуты назад) чуть ли не влюблена в него:

— Это я — Стрекалов!

Я откинулся на стуле и помолился мысленно такими словами: "Семен Львович... ваши рассказы... как они допрашивали... не всякое знание во зло..."

Улыбки еще не сошли с лиц, когда я сказал:

— Ты — Стрекалов, значит?

— А что вы против меня имеете?

— Раньше ты говорил мне "ты", в те времена, когда все звали тебя Пудрой, а ты меня — жиденком. И избивал меня по углам... — Я сам не заметил, что поднялся и кричу. — Все так же жидоедствуешь?!

Стрекалов побелел, и хорошо стало видно, за что он получил свое прозвище. Он молчал.

А я стоял, и все прыгало у меня перед глазами.

И снова я огляделся. Теперь все смотрели на него. А он все еще молчал. Потом он начал шевелить губами. Мне показалось, что он собирается в меня плюнуть, и я уже представил себе, как я оббегаю стол, хватаю Стрекалова за шиворот, выволакиваю в коридор и там бью его, бью, бью...

— Попробуй только, — сказал в это время Шура Гектор, глядя на Стрекалова в упор.

А Грета вышла в коридор и вернулась, неся стрекаловское пальто.

Стрекалов посмотрел вокруг себя невидящими от злости глазами, встал, взял свое пальто, со стола папку, и вышел в коридор.



— Интеллигент херов! — крикнул я ему вдогонку и сел.

Грета захлопнула за Стрекаловым дверь и вернулась в комнату.

— Какое-то странное у вас ругательство, — сказала она, — интеллигент! Можно подумать, что сами вы — пьяный мужлан.

— Я это сказал в кавычках. Интеллигент без кавычек не может быть антисемитом, а антисемит не может быть интеллигентом.

— А реферат этот был очень любопытным. Хотя и сегодня в его тоне слышалось это традиционное презрение гуманитария к нам, технарям, — сказал сидевший слева от меня парень. Он поднялся, протянул мне руку и представился: — Лисовский.

Мы пожали друг другу руки. Он сел. Наступило молчание. Юля осторожно просунула руку под мой локоть.

— Что, испортил песню, дурак? — спросил я.

— Да нет, отчего же, — сказала Грета. Она взяла свою рюмку, обошла вокруг стола и мне: — Давайте, Витя, выпьем на брудершафт.

Мы переплели руки, выпили, и она звонко чмокнула меня в губы. И все засмеялись и заговорили разом.

... Гектор вышел с нами в коридорчик, когда мы одевались, и сказал мне, подавая Юле пальто:

— Ты из молодых, даранний. Значит, по-твоему, Гоголь и Достоевский — не интеллигенты?

А я тоже успел уже подумать об этом и ответил:

— Они, конечно, были не пьяницами-мужланами, а людьми умственного труда, но они не были интеллигентами в том высоком смысле слова, который я чувствую, хотя не могу его определить...

— Ну-ну, — Гектор похлопал меня по плечу. И вдруг слегка присел, хлопнул себя по коленям и начал так смешно и залиристо смеяться, что мы с Юлей тут же смехом заразились: — Пудра, Пу-дра, — пытался он выговорить, — это же надо, какое смешное прозвище!

Потом он смеяться перестал и сказал:

— Правильно сделал. Они нас боятся, когда мы их не боимся...

Бабушка не спала, когда я пришел, а было уже около трех часов ночи.

## Глава 12

Я получил письмо от Семена Львовича. Оно, как всегда, было напечатано на машинке, а в конце стояли инициалы, выведенные напряженно-дрожащей рукой.

“Воркута, 1 ноября 1958 г.

“... Арон Фарфурник застучал дочку  
с голодранцем — студентом Эпштейном,  
Они целовались!..”

Саша Черный, “Любовь — не картошка”.

Кульминационным моментом этой душераздирающей эпопеи является разговор Фарфурника с Эпштейном, когда он спрашивает этого голодранца:

“... Скажите, галошу одну

Вы могли б ей купить

На ваши несчастные средства?..”

Все это, дорогой Витя, припомнилось мне, когда я получил сообщение, что ты собираешься наложить на себя узы Гименя. Вполне допускаю, что опасность сильно преувеличена, как говорится, нет дыма без огня.

Так как я считаю себя твоим искренним другом, то мой долг — откровенно высказать тебе мое отношение к этой проблеме. Коротче всего оно сформулировано в меткой поговорке: “Жена — не балалайка, поиграйши — на стенку не повесишь”. Я не знаю избранницу твоего сердца и не знаю, насколько она пригодна для роли жены, но зато я хорошо знаю тебя и хорошо знаю, как мало ты пригоден для роли мужа. И мне не хочется верить, что ты можешь дойти до такой степени моральной безответственности, чтобы взяться всерьез за выполнение этой роли.

Выписка из ЗАГСа — это не билетик на занятую любовную игру, понимаешь? В прошлом году я тебе уже писал, что ты должен заpastись выдержкой до окончания учебы, получить определенные знания и диплом, и тогда уже начать свое плавание по волнам житейского моря. Неужели у тебя настолько слабый и никчемный характер, что ты не справишься с этой задачей? Не могу этому поверить.

Твои матримониальные планы, на мой взгляд, вытекают из того же состояния, о котором я писал в прошлом письме, когда человек “с жиру бесится”. С этой точки зрения женитьба, пожалуй, сыграла бы даже положительную роль, ибо при твоих ресур-

сах, явно недостаточных для покупки одной галоши, ты бы быстро понял, что “не до жиру, быть бы живу”. Но мне не хотелось бы, чтобы выколачивание из тебя “жиру” проходило таким тяжелым путем.

Короче говоря, поздравительной телеграммы от меня не жди. И хотя ты на меня, вероятно, сердисься, все же пришли ответ. Только чтобы я мог сказать словами Марины Мнишек: “Я слышу речь не мальчика, но мужа...” Пора, пора, Витенька! Уж больно затянулось твое детство. Однако учти, что когда Марина говорила “мужа”, она толковала этот термин отнюдь не в ЗАГСовском смысле.

Пожалуйста, скорее напиши мне, что думаешь ты обо всех этих делах.

Твой СЛ”.

Я сидел за письменным моим столиком. Письмо лежало передо мной. Бабушка была в комнате у МД, они там ужинали. Говорили, наверно, обо мне, других тем в то время не было. Я смотрел на свое отражение в окне, там был поздний ноябрьский вечер.

Бабушка вошла в комнату и зажгла верхний свет.

— Ну, что пишет Семен Львович? — спросила она.

— Глупости всякие. Зачем ты ему написала, что вообще происходит? С ума вы все посходили, что ли? — закричал я.

— Это ты с ума сошел. Целый месяц не учишься, а шляешься со своей шлюхой и, конечно, спишь с ней.

Мой гнев тут же улетучился. Я сказал:

— Со сплюхой!

— Что? — спросила бабушка.

— Шляюсь со шлюхой, а сплю со сплюхой.

Мне было очень смешно, а бабушка собралась плакать.

— Идиот! — сказала она.

Я обнял ее за плечи.

— Вот ты говоришь, что я, конечно, сплю с ней. А почему ты так думаешь?

Она села на кровать и смотрела на меня как-то очень издалека.

— В последнее время появилась в тебе какая-то самодовольная наглость. Да, наглость самодовольства, как будто ты владеешь неким секретом, который больше никому не доступен. Это — верный признак.

— Ну, ты даешь, просто Фрейд Иванович, да и только, — сказал я, показывая всем своим видом, что она ошибается, а на самом

деле я был очень огорчен. Вовсе мне не хотелось, чтобы мои переживания так ясно читались на моем лице.

Бабушка легла спать, а я стал писать ответ.

“Семен Львович, дорогой, я все время думаю над этими вещами, а тут как раз ваше письмо.

А, может быть, действительно, я должен уйти из училища и пойти работать? Почему? Потому что в моем понимании врач — человек необыкновенной силы воли, честный, сильный и вполне ответственный за свои поступки. Из вашего письма я вижу, что вы сомневаетесь — под силу ли это мне. Я тоже сомневаюсь.

Но это все глупости, я не о том. Я познакомился с девушкой. До меня она встречалась с одним парнем из нашего училища и ушла от него ко мне. Он все училище настроил против нас, моим рассказам самое худшее, что знал про нее. Бабушка называет ее “девкой” и “шлюхой”, а МД забрал у меня паспорт — “не хотим, чтобы ты женился и привел в дом какую-то девку”.

Только они не понимают, что я люблю ее...”

Дальше было две страницы о том, что я ее люблю: ничего не требуя, чисто, светло, как еще никогда раньше, я ее люблю, она меня любит... Было даже романское слово “бессомненно”. У меня не хватало слов, вернее, слов было больше чем достаточно, но все не те. Так выходило, будто я не ему объяснял, как я люблю Юлю, а себя уговаривал.

Стоп, — сказал я себе, — зачем я все это пишу?

Я достал свой дневник, нашел и перечитал такую запись:

“15. 08. 58.

Сегодня навестил Семена Львовича на 15-й линии. Сидели в скверике и ожесточенно спорили о Ленине. Вокруг кишели больные, поэтому мы говорили очень тихо.

Семен Львович устал от этого шепота:

— Перестань спорить!

— В споре рождается истина.

— Ничего не рождается. Истина недостижима, тем более в споре. Можно только постараться и приблизительно объяснить свою точку зрения. Максимум, хоть сколько-то сблизить позиции. Все споры — слова, слова, слова. Всегда одни и те же, бесцветные и пустые. И побеждает тот, кто громче кричит. И тот, у кого большая убежденность. Вот я тебя всегда переспорю, потому что ты ни в чем не уверен точно, а у меня голос громкий и большой авто-

ритет. Верно ведь, я пользуюсь у тебя авторитетом? А к истине это не имеет никакого отношения”.

Так что же я мог ему доказать своим письмом? Все равно свой крик он слышит лучше, чем мой. Не говоря уж о том, что я сам видел, письмо не получилось, какой-то монстр, творение Франкенштейна, которое меня самого убивало.

Письмо я не отправил. Назавтра я зашел на Почтамт и послал открытку: “Спасибо за письмо, весь заряд – вхолостую. Напишу, когда буду посвободнее”.

### Глава 13

То, что висело над головой, давило невидимой тяжестью, то, о чем я старался не думать, то, о чем Юля думала непрестанно, – оно надвинулось на наши незащищенные головы.

В субботу Юля училась до двенадцати, а я – до двух. После занятий я поехал к ней.

Юля стояла у окна, смотрела на крышу флигеля во дворе, глаза ее были полны слез.

– Что случилось? – забеспокоился я. – Почему ты плачешь, Юлик?

Она показала на стол. Я не заметил раньше: на столе лежала повестка.

Повестка приказывала Ю. В. Гехт явиться в понедельник к 15 часам в Управление милиции на Дворцовую площадь в комнату 211 к следователю Мякинину в качестве свидетельницы.

– Ничего, нас на Мякинине не проведешь, – попытался я состричь.

Но Юля не улыбнулась. Она смотрела на меня испуганными глазами и, запустив пальцы в волосы, ладонями сжимала виски.

– Витя, я ужасно боюсь, никогда в жизни так не боялась.

– Ничего, Юленька, все будет в порядке, вот увидишь. Ты же знаешь, что тебя должны были вызвать. Это ж адвокат сказал, и так было понятно. И написано ведь, что тебя вызывают как свидетельницу. Сказал же адвокат, что будет очная ставка.

– Да, но о чем они будут меня расспрашивать? Как мне доказать, что я ни в чем не виновна?

– Но ты же не виновна. Ты должна говорить правду. Если хоть что-нибудь придумаешь, потом запутаешься и только ухудшишь свое положение.

Кое-как мне удалось уговорить ее, что ничего страшного не будет. Но сам я ни в чем не был уверен. Все, что я знал о нашей законности, было резко отрицательным. Все эти несправедливые суды, о которых так много узналось, казались единственно возможными. Ни в какую справедливость не верилось. И все же так хотелось надеяться...

А Юля постепенно развевалась, заговорила более веселым голосом, повестку прислонила к зеркалу, убрала со стола чашки, оставшиеся после завтрака, и заявила:

— Сейчас буду тебя кормить! У нас сегодня каша!

— Каша? — спросил я. Это звучало так по-домашнему, по-семейному, так меня тронуло почему-то. — Какая каша?

— Рисовая с изюмом!

— Нет, дорогая, рисовую да еще с изюмом я есть не буду. Буду есть бутерброд с докторской, запивать чаем. И если ты хочешь, расскажу, почему рисовую кашу я не ем вот уже... тринадцать лет.

Что угодно говорить, подумал я, но только не давать ей думать о повестке.

Мы ели, и я говорил:

— Вообще-то я очень мало помню из своего детства. Помню, как мама лежала больная, нет, маму не помню. Стоял диван, а на диване лежала больная женщина, нельзя было шуметь, и мне говорили, что это моя мама. Потом диван опустел, и никаких своих чувств по этому поводу я не помню. А вот и про кашу. Представь себе осенний день, такой зябкий свет из окна. Я сижу за столом, передо мной черная сковородка с белой рисовой кашей. Каша сладкая и с изюмом. С каким трудом, наверно, этот изюм достали — октябрь сорок пятого года. И вот мне так не хочется, так противно есть эту кашу. А дедушка меня уговаривает. У него был такой голос — не передать: такой теплый и глухой. Я вскакиваю и начинаю бегать вокруг стола. Дедушка — за мной. И так весело, и так не хочется каши...

Юля смотрела на меня большими глазами. Я погладил ее по руке и продолжал:

— И вдруг открывается дверь и входит бабушка. Я увидел, что у нее лицо просто страшное. Теперь я бы сказал, что оно было белее снега. И сама она была далеко-далеко от нас с дедушкой. На ней была меховая пелеринка. Бабушка не сняла ее, а прошла в спальню и упала на кровать, не сказав нам ни слова, даже не

заметив. Тут я сел за стол и быстро-быстро эту кашу съел. С тех пор я ее не ем никогда.

— Ох, Новиков! Вечно что-нибудь такое расскажешь. Нет того, чтобы дать спокойно поесть. Я теперь тоже больше не буду есть рисовую кашу.

— А ты-то почему?

— В память об этом дне, когда ты мне рассказал эту историю. Мне бы хотелось как-нибудь отметить каждый день, прожитый с тобой... А что случилось тогда?

— Бабушку вызывали в военкомат. И не дали награды моего брата, потому что она не мать.

Мы помолчали. Потом Юля сказала грустно:

— Главное, в понедельник, послезавтра, мамин день рождения. Хороший подарочек. Пятьдесят три года стукнет. Выпьет и будет кричать и плакать. Ох, дожить бы.

— Ну вот, опять ты... Все будет хорошо, я же тебе сказал.

— Ты-то сказал, а вот что Мякинин скажет? — И она опять заплакала. И вдруг, вспомнив, зарыдала в голос: — Главное, мать требует, чтобы я завтра с ней пошла, ее бабы хотят пьянствовать. Так уж надо, чтобы и я там была?

Вечером мы пошли в кино. В воскресенье два раза говорили по телефону.

Наступил понедельник.

После первой лекции я пошел посмотреть, пришла ли Юля. Ее не было. Я спустился вниз в вестибюль и позвонил ей.

— Я не могу, — сказала она жалобным голосом, — вся дрожу от страха и все время хочу плакать.

— Хочешь, будем дрожать вместе?

— Хочу. Но как же ты пропустишь занятия?

— Ах, лапа, я уже столько пропустил... Я приеду через полчаса.

— Давай встретимся в Покровском садике. Купим цветы. Сегодня надо же маму поздравить.

Когда я приехал, Юля ждала меня. Мы купили букет гвоздик. И быстро пошли к ней домой.

— Я ужасно боюсь. Я никогда в жизни так не боялась. Даже когда была в КПЗ. Там все было неожиданно. А здесь целые месяцы ожидания. Ой, как я боюсь, — повторяла она, как заведенная.

У меня не было слов, чтобы успокоить ее. Я крепко обнял ее и сказал:

— У нас еще целых три часа, мы можем много успеть...

Она отстранилась от меня, посмотрела на меня каким-то больным взглядом и сказала:

— Да, конечно, обязательно, я только об этом и думала. Только об этом. Сегодня. Все утро.

Она откинула покрывало с постели.

— Ты раздевайся, а я пойду... сменю воду в аквариуме, — сказала она, улыбаясь.

В этот день какое-то неистовство охватило нас. Мы целовались, как сумасшедшие. Глаза, и губы, и руки, и подбородок, и шея, и ямка над ключицей, и ямка под ключицей, и ямка между ключицами, и грудь, и другая грудь, и между грудями, и живот, и пупок, и лоно, и бедра...

И вдруг она заплакала. Я страшно испугался:

— Юленька, что, что случилось? Тебе больно? Тебе плохо?

— Я люблю тебя.

— И поэтому плачешь?

— Ты, ты, только ты, всегда, ладно?

— Золотая моя, родная моя... — бормотал я. И такая сладкая волна накатывала, и я опять целовал ее, и даже не различал, где она, где ее щеки, а где моя рука, и даже увидел вдруг, что целую собственную руку, и очень удивился, и успел подумать, что эта нежность не только к Юле, но и к себе самому... Очень, очень хотелось любить бесконечно...

Мы лежали, прижавшись друг к другу, Юлина голова — на моем плече, курили и стряхивали пепел в пепельницу, стоявшую у меня на груди. Юля поглядывала на будильник, стоявший рядом на столике, и отворачивалась, обнимала меня за шею и целовала, а кожа ее пахла парным молоком, и вот наступил момент, когда нужно было вставать и идти.

(окончание следует)



**МОЛЧАНЬЕ ВЕКА**

(трагедия)

*Лицедействуют:*

**ПРОЛОГ**

**ВЕК**

**ОНА**

**ГЕРОЙ**

**ПРОЛОГ:** О паденьи ничтожных,  
О величии рослых,  
Про до боли знакомую ложь  
новорожденных взрослых  
Герой с Прологом, Век и Она  
Трагедию вам представят:  
Кому пьеса холодна —  
Кого рыдать заставит.  
Не следуйте тщетным усильям молвы  
И тут же все сами увидите вы.

*(Отступает в правую кулису, Век изображает левую).*

**ГЕРОЙ** (обращается к Ней) :

О страсть к сомнению,  
О смерти страх  
И о, Молчанье Века!

*(Его речь требуемого впечатления не достигает)*

О соль земли,  
О мира прах,  
О имя человека!

*(Те же дела)*

Жил я в полном единении с постоянной борьбою

*(Она поднимает на Героя глаза)*

В мечтах о чистом общежитии с судьбою любовью

*(На нем задерживается взглядом Она)*

И вот, наконец, эта нечаянная встреча с тобою!

*(С мнимого возвышения Она спускается, Героя за руку берет).*

**ОНА:** Пока несли не заверша вы,  
Не знала я, что вы такой

**ГЕРОЙ** (исповедуясь) :  
Лохматый, серенький, шершавый  
И даже вовсе никакой...

*(Она его обнимает, со всех сторон окружает)*

**ОНА:** Тебя как меткая невеста  
Не дам мишенью сделать пулю

**ГЕРОЙ** (все о своем) :  
Полнейшее пустое место...

**ОНА:** Мое, мое пустое место...

*(объятья)*

**ГЕРОЙ:** Ничто и Абсолютный Нуль!

**ОНА:** Хочу прейти предел желанный:  
Застынь во мне, о лед гуманный!

*(примрзает к Герою)*

**ГЕРОЙ:** О Боже, какое убожество!  
Холодное скотоложество!

**ОНА** (совсем счастливая, Героя не слыша) :  
Словами сил нет плечь раздельно  
Могу лишь нечленораздельно!

**ГЕРОЙ:** О мудрость века нашего сего,  
Ты, кажется, добилась своего.

*(делает попытки освободиться)*

Я гордый есмь носитель  
 Таинственного "Я",  
 А ты как похититель  
 Вцепилась что в меня?  
**ОНА:** Честна как дочь природы  
 С которою дружу  
 Чтоб чем живут народы  
 Отдал — затем держу.  
**ГЕРОЙ:** Пусти — не для потомства  
 Но чистый интерес  
 Случайного знакомства  
 В наш век имеет вес.  
**ОНА:** Для самых ярких мыслей  
 Ужель не хватит сна?  
 Кузнец на коромысле,  
 А бабочке — весна.  
**ГЕРОЙ:** Послушай, даже если так,  
 Какое основанье  
 Дает тебе такой пустяк  
 На это доставанье?  
 Ты всенародно — про детей,  
 Но мы — просты как дети —  
 Уж сами скачем без затей  
 Уз не сплетая в сети.  
 А дети — те послав отцов  
 И мамок за отцами  
 Овец волками пастухов  
 Пасут под огурцами.  
 И только ты наперекор  
 И против интеллекта  
 Напротив яблочка в упор  
 Уводишь в род — субъекта!  
**ОНА:** Я, в сущности, сама своя  
 И вне твоих объятий,  
 Вот позову "второе я" —  
 Тебе на третья! — кстати.  
 Лишь тем-то мне и дорог ты  
 Порхать вверх-вниз с перила,  
 Чем в пчелах чуют мед цветы  
 А не чтоб я парила.

Мой пафос — полный произвол:  
Потомство с легкой болью  
Произведу — ты ж, вольный вол  
Довольный жалкой ролью, —  
Дыши в траву, храпи в дрова,  
Перебирай ногами,  
Мозгами шевели едва-  
Едва кивай рогами!

*(борьба за свободу личности)*

**ГЕРОЙ:** Куда б такое одолеть?  
**ОНА:** Как бы еще не пожалеть!

*(он на воле)*

**ГЕРОЙ:** Союз наш был — теперь прощай —  
Признаться, безрассуден:  
Так весь и стыну трепеща  
Как на морозе студень.

**ОНА:** Жаль, но не по моей вине  
Час уний наш беспечный —  
Как на вскипающей волне  
Пузырь недолговечный...

**ГЕРОЙ:** О небылом — что толковать?

**ОНА:** Что ж, начинаем забывать...

**ГЕРОЙ (забывая) :** Я проснулся после катанья на лодке.

**ОНА (так же) :** Открыла глаза, а ноги забиты в колодки.

**ГЕРОЙ:** Ловил я, как сейчас припоминаю, рыбу...

**ОНА:** Висеть бы мне в петле, но я пошла на дыбу.

**ГЕРОЙ:** Как хорошо: я вновь один.

Но тщетно драит Аладин  
Как будто лампу Диоген:

*(драит ее как лампу)*

“Ищу я человека”  
Днем с фонарем,  
Мы все умрем

Увы, Молчанье Века!  
**ОНА:** Не умирают, не рождаюсь,  
 (Веку) Век, подтверди, не утруждаясь!  
**ВЕК:** Как вынести сухой бедлам?  
 Как вставить слово в глупый гам?  
 О, не меня кляните,  
 Но только вашу глухоту  
 И хрипоту и слепоту  
 Вините и хулите!  
**ОНА:** Все ведь чин-чином  
**ГЕРОЙ:** Все же к причинам  
 Вы снизойдите  
**ВЕК:** Какая-такая причина особая?  
**ГЕРОЙ:** Ну как же, смотрите:  
 (цитирует) "По образу и по подобию,  
 Перед высокой особою..."  
**ВЕК (подхватывая):** ... особою  
 Что не позволит вам...  
**ГЕРОЙ:** О злой мой рок! Неужто НАМ?

*(озирается, в Ее сторону не глядеть старается)*

**ВЕК:** Вам!  
**ОНА:** Нам?  
**ВЕК:** Дам!  
**ОНА:** Дал?  
**ГЕРОЙ:** За хвост хватать... (хватает)  
**ВЕК:** Ать!  
**ОНА:** Два!  
**ГЕРОЙ (иронически):** Держитесь, дама!  
**ОНА (тянет):** Какой растянутый...  
**ВЕК:** Финал!  
**ПРОЛОГ:** Сатирическая драма!

**Занавес**

*Трагедия будет опубликована в первом выпуске "Иерусалимских тетрадей" ("Тетрадь Игрены"). Цена 7 долларов. Заказывать у Малера (P. O. B. 6608, JERUSALEM, 91066, ISRAEL).*

**ГОЛОСА САМЫХ ДОСТОЙНЫХ  
ДОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ  
СЛОУНСУ!!!**

**ТЫСЯЧА ГИГРЕНОВ ТОМУ, КТО  
НАЗОВЕТ БОЛЕЕ ДОСТОЙНОГО,  
ЧЕМ КИКЛЭЙН!**

**ТРИ ГОДА НАЗАД ТЫ РАБОТАЛ  
ПЯТЬ ЧАСОВ В ДЕНЬ И ИМЕЛ  
100 ГИГРЕНОВ В НЕДЕЛЮ. СЕГОД-  
НЯ ТЫ РАБОТАЕШЬ ЧЕТЫРЕ И  
ИМЕЕШЬ 110! ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ  
ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ГОЛОСУЙ ЗА ПРЕЗИ-  
ДЕНТА МЭДСЭНА!!!**

**Я НЕ ЛЮБЛЮ РЕКЛАМЫ. Я НЕ  
ПРИЗЫВАЮ ГОЛОСОВАТЬ ЗА МЕ-  
НЯ. Я ПРОСТО ВЕРЮ В МОЙ НАРОД!  
(ОЛЭН)**

Не успел верхний край ворот скрыться в узкой щели пола, как ревущие толпы зрителей ринулись в зал. Хлопанье откидных сидений, визги, крики. Сэйлэнд ловко работая локтями, отвоёвывал себе место в третьем ряду, развалился в кресле и, не обращая внимания на стоящий вокруг гвалт, занялся своими делами: из наспинного кармана извлек два окуляра, тщательно протер их рукавом и укрепил на переносице. Оглядевшись по сторонам, он обнаружил справа от себя миловидную соседку. На ее сверкающем белизной, тщательно отлакированном, формы фантастического цветка темени переплетались черные, как смоль, пряди волос.

*Геннадий Вальдберг*

**ЭЙ! МОТА-А-А-А...**

*(научно-фантастический рассказ)*

— Как тебя зовут?

— Сэйлэнд.

— Джэйджи, — представилась соседка, слегка сощурилась и без того крохотные фиолетовые глазки.

На сцене уже маячила фигурка ведущего.

— Уважаемые зрители! Сегодня мы станем свидетелями решающей встречи претендентов на участие в финале Большого Конкурса! Золотая статуэтка Президента Альфейса ждет победителя!..

...Сразу обрадую вас: победитель прошлогоднего Конкурса, наш любимый Клойд, вновь участвует в Конкурсе, и президент Мэдсэн поставил на него 20 000!

По залу прокатился визг, кто-то скандировал. Ведущий кричал из последних сил, надеясь, что его все-таки услышат:

— ...другие претенденты!.. — Вопли и визги сменились монотонным гулом, сквозь него прорывались отдельные слова. — ...Джирол, Смитджери, Колвайс, Бритли... — Гул усилился. — ...А также Сэйлэнд и Доутмайн...

Джэйджи схватила Сэйлэнду за рукав:

— Хочешь померяться с Клойдом?

— Почему бы нет?!

Занавес, не спеша, вдавился в пол: на сцене стоял Клойд со своей группой. Они исполняли Гимн Мацуонии. Когда Гимн кончился зал снова заревел.

— Итак, — прокричал ведущий, — для начала Клойд и его группа исполнят лучшую вещь прошлого Конкурса! "Мэдстэри"!!!

Зазвучали вступительные аккорды, ударник извлек несколько звуков из тарелки и тома. Клойд повернулся лицом к группе. Лидер поправил гитару, попробовал шнур, уходящий в пол, и ногтем указательного пальца начал подергивать струны на басовом грифе, затем средним пальцем на втором грифе повел соло. Мистрай ударил по клавишам органа, заработали две другие гитары. Клойд поднес к губам микрофон:

Мэд — стэ — ри

Мэд — стэ — ри...

его низкий с хрипотцой голос хватал за живое, —

...о дэунт, дэунт,

дэунт, дэу — дэ — дэунт.

Доунт, доунт,

доунт, доу — до — доунт.

Ы-ы...

Зал взревел.

Джэйджи закатилась таким пронзительным визгом, что у Сэйлэнда заломило в ушах.

Лидер вел соло. Двухгрифовая гитара с системой четырехкратной реверберации и непревзойденными сейсфоновыми искажателями творила чудеса под его длинными пальцами...

Сэйлэнду посчастливилось слушать Клойда около года назад. Каким-то образом он попал на банкет, устроенный по случаю дня рождения Мистрая, их органиста. Банкет устраивал сам президент Мэдсэн, поэтому собралось самое что ни есть избранное общество. Гости много ели и пили, но Сэйлэнд ничего в рот не брал — ждал с нетерпением, когда Клойд с музыкантами начнут.

С тех пор, как Мэдсэн стал Президентом, группа Клойда совсем не выступала. Правда они записали две пластинки, одна из которых так и называлась "Мэдстэри", а вторая — "Брось в мое окно!" Во второй пластинке Клойд попытался соригинальничать. Подобрал партию голоса для трех песен, не столько руководствуясь законами гармонии, сколько смыслом, он захотел привнести в свои произведения сюжет и содержание. Но публика не приняла его авангардистских поделок. Пластинки пришлось распродать за полцены.

Джэйджи взвизгнула.

Клойд на сцене входил в раж. Наступил кульминационный момент. Музыканты все вместе закричали и начали делать концовку. Зал бурно поддерживал их. Ударник нанес последний удар.

— Недурно, — буркнул Сэйлэнд.

— Великолепно! — возразила Джэйджи.

Ведущий вновь появился на сцене. Наступила тишина.

— Теперь приступим, Мэлайди!

Из-за кулис вышла тоненькая девушка с изящно раскрашенными глазницами. Наголо выбритая и отлакированная голова отражала свет юпитеров, а несколько золотых прядей, переплетенных, словно бантик, поблескивали ярко-красными капельками клея... Сэйлэнд даже не сразу узнал в ней свою вчерашнюю знакомую. Выходит, вчера она была в парике?..

— Мэлайди вытащит из барабана бумажку с именем претендента...



Мэлайди грациозно прошла к барабану.

— Пожалуйста, Лэрин.

Лэрин развернул бумажку:

— Первым выступает!.. — по рядам прокатилось гудение. — Смитджери!!!

— К черту Смитджери! — закричал кто-то из задних рядов. Его поддержали визгами.

Но группа Смитджери располагалась на сцене: подключались гитары, орган, расставлялись барабаны...

Сэйлэнд опять погрузился в воспоминания.

“Что же они могут? — думал он тогда. — “Мэдстэри” уже исчерпала себя. На Конкурсе должно прозвучать что-то новое”. Когда группа Клойда соизволила, наконец, исполнить пару вещей для высокопоставленного общества, Сэйлэнд напряг внимание.

Вступил лидер, загремел ударник, заиграли еще две гитары. Клойд пару раз демонстративно прошелся перед группой и, когда вступление окончилось, запел...

“Поет он по-прежнему недурно, — отметил Сэйлэнд. — Особенно эти понижения и повышения на октаву. — Он повернул ручку филатора, освобождая голос от прочих музыкальных и немusикальных звуков, уже успевших заполнить зал. — А больше? Пожалуй, что ничего... Солирующая гитара? Недурно, но нас этим не удивишь, Смилд может не хуже. В Горсайской лаборатории ему сделали чудные пальчики, ими можно обхватить и пять таких грифов! А что умеют эти двое?.. Итак, великолепный орган, отличный ударник, хороший лидер и две посредственные гитары. Вот только сам Клойд... Можно ли спеть лучше?”

Вновь громко завизжала Джэйджи.

Сэйлэнд посмотрел на табло, где в зависимости от громкости визга публики вспыхивали баллы.

— 87. Маловато.

На сцене Мэлайди достала новый свиток.

Сэйлэнд напрягся.

Лэрин объявил:

— Следующая группа — Доутмайн!

Зал недовольно загудел.

“И что я волнуюсь! — успокоил себя Сэйлэнд. — Предпоследняя

бумажка будет “Клойд”, последняя — “Сэйлэнд”. Мэлайди не подведет. 8000 сделают свое дело”.

Доутмайн жутко взревел, группа взревела вслед за ним, вступила гитара...

На репетиции Сэйлэнд рассказывал коллегам об увиденном и услышанном на банкете.

Смилд слушал, улыбаясь; он сидел на краешке стола, обняв, как возлюбленную, свою гитару, которую только накануне доставили из Горсая. Сэйлэнд специально посылал Смилда на полтора месяца в Горсай, где на его глазах и был создан этот уникальный инструмент. Удовольствие обошлось недешево — 5000 гигренов. Система реверберации была копией Клойдовской — чтобы выкрасть секрет, пришлось тоже изрядно заплатить, что же касается искажателей, то это была Смилдовская находка. Сэйлэнд пришел в восторг, когда услышал их в деле. По сумме параметров они превосходили даже Клойдовское чудо. К тому же каждая струна могла, помимо основного звука, издавать параллельный, который отходил от главного на секунду, терцию, кварту, вплоть до октавы... И, разумеется, гитара имела два грифа: басовый и солирующий.

Вторая группа покинула сцену. На табло горело “79”.

Лэрин опять кого-то объявил, снова что-то запели, заиграли.

— Ты совсем не слушаешь! — возмутилась Джэйджи.

— Чего я здесь не слышал! — отмахнулся Сэйлэнд.

Лишь с органом дело не ладилось. Тот, на котором играл Джиф, был совсем не плох... но у Клойда...

Что касается двух вторых гитар, Сэйлэнд готовил сюрприз: он достал еще одну двухгрифовую. Сначала ее хотели тоже заказать в Горсае, но вышло проще — Сэйлэнд нашел готового музыканта вместе с гитарой. Им оказался Реймис, лидер когда-то очень популярной группы президента Сэтори. Как ни странно, старик все еще жил, вернее, прозябал в одном из подвалов Тилроя. Поначалу Сэйлэнд пытался купить у него инструмент, но старик наотрез отказался. Тогда Сэйлэнд притащил его вместе с гитарой на репетицию. Реймис разрешил Ритчу поиграть на своей гитаре, долго и внимательно слушал, а потом показал свое умение. Сэй-

лэнд набросился на него, предложил кучу гигренов. Реймис тут же был зачислен в ансамбль.

Нет, сегодня все должно быть отлично.

В зале опять завизжали.

Сэйлэнд посмотрел на табло: "69".

На сцену вышла новая группа.

Об ударнике Сэйлэнд никогда не задумывался. Клайна он нашел очень давно — с него, пожалуй, все и началось. Играл Клайн хорошо, а главное — стабильно. Как и Клойдовский ударник, он превосходно пользовался тремя и четырьмя палочками, пятью владел плохо, но этого от него никто и не требовал. Зато он умел лучше всех подпевать Сэйлэнду, а если надо — мог выдать соло, которому позавидовали бы солисты многих групп.

Третья гитара была действительно третьей. Фист знал массу боев, и легко подлаживался под любой ритм. Об этом позаботился сам Сэйлэнд: когда Фисту было 26 и он, за изрядную сумму, дал согласие выступать в ансамбле, Сэйлэнд отправил его все в тот же Горсай для специальной хирургической обработки. Фист умел немногое, но то, что умел — действительно умел.

Новые визги оторвали Сэйлэнда от воспоминаний. На табло — 72 балла.

— Поет... Бритли!..

Джэйджи толкнула Сэйлэнда:

— Ты так спокойно сидишь, будто и не собираешься выступать.

Он схватил ее за плечо:

— Будешь голосовать за меня?

— А Клойд? — удивилась Джэйджи.

— Мы сыграем лучше! — он отпустил ее и начал пробираться между рядами.

— Как Клойд? — встретил его Смилд.

— Нормально. Но "Мэдстэри" исполнил хуже, чем три года назад. А вы почему не слушаете?

— Настрой боимся потерять, — объяснил Джиф.

— Глупости, — Сэйлэнд включил динамик. Там еще громыхал Бритли.

– Да, – перебил Смилд. – Звонил Олэн. Сказал: если выиграем, ставит по пятнадцать на брата.

Из динамика донесся рев, потом Лэрин объявил: “Бритли – 93 балла!”

– Ого! – пробурчал Фист.

– А сейчас!.. перед вами выступит!.. победитель прошлого Конкурса!.. – на мгновение рев заглушил голос ведущего, – ...но не сдающий своих позиций!.. непобедимый... Клойд!!! – голос Лэрина опять пропал в шуме.

Гремучие басы резко, с ходу, сменились высоким соло. Одновременно включились другие инструменты. Клойд взял невероятно низкую ноту и медленно пополз вверх. Он прошел по семи октавам, сделал отход назад и замер где-то на средних частотах. Орган подхватил его в этом месте и повторил только что сделанное своими средствами. Когда и он закончил партию, наступила непродолжительная пауза, после которой все заиграли в новом ритме. Клойд запел.

– Великолепное вступление.

– Е-рун-да-а! – словно освобождаясь от переизбытка кислорода в легких, выдохнул Сэйлэнд. – Старина Клойд не дотянул, теперь слово за нами! Надо собираться! – из наспинного кармана он достал дисфоновую коробочку, бережно поднял крышку и извлек оттуда предмет красного цвета в форме язычка. – Вот он наш шанс! – и запихал язычок в рот.

За кулисами, кроме Лэрина и Мэлайди, никого не было. Клайн принялся стягивать чехлы со своей установки. Мэлайди подошла к Сэйлэнду и крепко сжала его руку:

– Ты должен победить!

– Ну, надеюсь... – рассеянно отозвался он.

– Это я принесла тебе эту победу! Самый почетный тост в “Сэлсайфе” сегодня мой!

Ее слова разозлили Сэйлэнда, но он промолчал. Злиться сейчас не время.

– Мы разве не идем в “Сэлсайф” сегодня вечером? – спросила Мэлайди.

– Не знаю... потом... мне некогда!

В этот момент Клойд закончил выступление. Перехлестнувшие через край эмоции зрителей, казалось, достигли апогея.

– Почему нет, Сэйлэнд?

Но Сэйлэнд уже не слушал:

– Пошли, пошли!

– Почему, Сэйлэнд? – Мэлайди схватила его за рукав.

– Ну тебя! Потом!

Он выбежал на сцену. Клойд еще тряс головой, а коллеги его уже выдергивали шнуры, по частям выносили ударную установку. Вспыхнуло табло, и все взоры обратились к нему.

– 103!

– Много! – непроизвольно вырвалось у Сэйлэнда.

Клойд покидал сцену последним, смерив Сэйлэнда недобрый взглядом.

Кивком головы Сэйлэнд дал команду “приготовиться”, Смилд поставил гитару в исходную позицию и нервно подмигнул; Клайн приподнял палочки; органист согнулся над инструментом, пальцы его уже лежали на первом аккорде; Реймис и Фист смотрели на Сэйлэнда.

Зал, монотонно гудя, взирал на приготовления.

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

начал высоко-высоко Сэйлэнд. Ансамбль разразился разноголосым эхо.

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

низко пропел он. Группа опять повторила.

Мэ – тэ – ри – джэ...

принялся четко, поднимаясь от низов к верхам, чеканить Сэйлэнд.

Э-э-э-э-э-э-э-э, мадэливер...

ансамбль повторил эту строчку,

Э-э-э-э-э-э-э-э, мадэливер  
гам’ю м’уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

здесь Клайн выдал несколько резких ударов по тарелке и тому...

Тоунт – тоу – тоу  
то – то – тоунт,  
Моунт – моу – моу  
мо – мо – моунт,  
Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

и Сэйлэнд разразился страшнейшим ревом, причем рев этот постепенно понижался по звукоряду. В этот момент соло на себя взял Клайн, повторяя в той же последовательности его ходы.

Публике понравилось. Раздались негромкие повизгивания.

Голос Сэйлэнда тем временем добрался до таких басов, что в зале завибрировало. Клайн невозмутимо вел соло и, когда допел куплет до конца, вместе с Сэйлэндом в терцию заревел:

Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

Неожиданно на первый план вырвался Смилд со своей супергитарой. Все сразу же замолчали, остались только ударник и Смилд. Звуки от основной линии все время куда-то убегали, то выше, то ниже, то на квинту, то на октаву...

Сначала зал притих, но когда Смилд разошелся и зрители почувствовали, что гитара его творит что-то невероятное, они завизжали.

Смилд закончил соло, и все вместе опять закричали:

Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

Теперь весь ансамбль, кроме Сэйлэнда, на свой лад повторял то, что мгновение назад выбросил в мир Смилд. Сэйлэнд, весь внимание, затуманенными глазами смотрел на микрофон...

Куплет доиграли до конца, группа опять закричала, и после мгновенной паузы на передний план выплыл Сэйлэнд — он запел в два голоса:

Мэ — тэ — ри — джэ...

причем побочный голос находился уже где-то на грани ультразвука.

Ряды притихли, и только когда Сэйлэнд закончил свой невероятный квадрат, зрители взревели, давая полную свободу разыгравшимся чувствам.

А Смилд с Реймисом вновь принялись развивать тему. Фист рубил аккорды в таком бешеном темпе, что пальцы его бесцветно размазались по деке. Громкость звука все возрастала — вой зала оказался не в силах с ней конкурировать, и, как бы сознавая свою беспомощность, зрители утихли.

Смилд с Реймисом расходились все больше. Когда же подошло место, где весь ансамбль должен был вскрикнуть, после мгновенной паузы это сделал орган со Смилдовской супергитарой. Вырван-

ные из них звуки были столь похожи на крик группы, что зал снова разбушевался.

Смилд с Реймисом начали обыгрывать второй куплет, доиграли его до конца и без всяких неожиданностей прокричали припев. Последовала полагающаяся пауза и... Сэйлэнд с Клайном запели что-то совсем не из той оперы, только второй голос Сэйлэнда продолжал по-прежнему чеканить основную тему. Когда и этот куплет был допет, все три голоса, отделенные друг от друга соответственно на большую и малую терции, завопили:

Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

Зал неистовствовал. А Сэйлэнд с Клайном повторили еще раз только что сделанное, но под более жесткий бой барабана, и вновь, уже всей группой, заорали:

Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

Крик их потонул в реве зала. Многие из зрителей повскакивали со своих мест. Кто-то кричал:

— К черту Клойда!

Сэйлэнд тяжело дышал. Руки судорожно сжимали и разжимали микрофон. Он повернулся к коллегам, но те не смотрели на него — глаза всех были устремлены на табло. Сейчас решится их судьба... Сэйлэнд тоже посмотрел...

— ...114!!!

Сэйлэнда передернуло. Он рванул вверх в неистовом прыжке, и из горла вырвалось что-то отдаленно напоминающее "Эй! Мота-а-а-а-а!" И он вновь повернулся назад: Смилд, раскинув руки, что-то хрипя, катался по полу; рядом валялся старина Реймис и целовал свою гитару; Клайн, сохраняя спокойную улыбку, что было сил колотил четыремя палочками по большому барабану; Фист не двигался, а только смотрел и смотрел в одну точку, где огромными желтыми цифрами горело: 114!

— Одно дело сделано, — Смилд спрятал гитару в футляр и, заложив руки за спину, уставился на Сэйлэнда, словно ожидая дальнейших распоряжений. Сэйлэнд медлил; он уселся на край стола, напротив зеркала, и принялся изучать себя.

— Если выиграем Конкурс, заберу свои гигрены и брошу все это ко всем чертям!

— Почему, Смилд?

— Потому что мне все надоело! Я музыкант, а не паяц!

Сэйлэнд сощурил глаза в улыбку:

— Музыкант! А мы кто, по-твоему?

Смилд зло оглядел комнату и столкнулся с улыбкой Сэйлэнда в зеркале.

— Когда-то мы тоже были музыкантами...

— Покойный Альфейс говорил, что музыка — единственное, чему не жаль посвятить жизнь! — обращаясь непонятно к кому, хрипло и глубокомысленно, где-то в углу комнаты проговорил Реймис.

— А ты бы молчал! — огрызнулся Смилд.

Но Реймис продолжал:

— Все смертно на этой планете: Мацуония, машины, гигиены...  
А вот музыка — нет!

— Заткнись! — заревел Смилд.

— Вы помните, как играл Шестипалый Ллойс? — не унимался Реймис. — Он знать не знал всех этих компьютеров, теорем Пасковера и поганых формул натуральной гармонии... но у него была душа, он чувствовал... ч у в с т в о в а л ! И заставлял нас, слушателей, верить...

— Иди ты к черту! — Смилд замахнулся, но Джиф поймал его руку.

— Не трогай старика! — угрюмо проговорил он. — Все равно он не поймет...

— Идиоты! — не выдержал Клайн. — Вы ж за гигиены работаете! Вас же никто не заставлял!

— Ллойс — это легенда, — остановил перепалку Сэйлэнд. — Когда-нибудь точно такую же сложат и про нас.

Он приготовился отвернуться, но тут раздался за дверью треск.

— Можно?

— А-а, Мэлайди! — заулыбался Клайн. — Заходи.

Но она не обратила на него внимания.

— Сэйлэнд, ты счастлив?

— Разумеется.

— Видишь, я сделала, что обещала.

Он первый раз посмотрел на нее: она была без парика, клей на макушке блестел...

— Еще бы!

— Ты думаешь, я за гигиены?!



— А то нет! — вдруг вспыхнул Сэйлэнд. — Или Клойд уже не годится?

— Что ты говоришь? При чем здесь Клойд?!

— Скажи это лучше Клайну, — оборвал Сэйлэнд. — Он поверит.

— Точно, поверю, — засмеялся Клайн.

— Сэйлэнд! — вскрикнула Мэлайди. — Мы идем в “Сэлсайф” сегодня вечером?

— Я иду, — стараясь выглядеть невозмутимым, ответил Сэйлэнд.

— Значит, не со мной?

— Нет.

Она решительно шагнула к двери, выхватила из кармана малиновый талон, судорожно скомкала его — и хрустящая тяжелая бумажка ударила в лицо Сэйлэнда.

— Не нужны мне твои гигрены, — уже спокойно сказала Мэлайди. — Не нужны.

И вышла.

Не успел Сэйлэнд переступить порог “Сэлсайфа”, как лица всех посетителей обратились к нему. Он остановился возле сцены, огляделся по сторонам и, выбрав подходящий столик, уселся; табличка с надписью “Стол заказан” полетела на пол. Джэйджи устроилась напротив. Как из-под земли вырос официант.

— Что будете заказывать?

— Что угодно, только побыстрей.

Официант исчез.

— Тебе нравится? — хмуро спросил Сэйлэнд.

— Конечно. Я здесь никогда не была, — улыбнулась Джэйджи.

— Гости “Сэлсайфа”! — донеслось со сцены. Там стояла девушка высокого роста; балахон, будто набранный из рыбьих чешуек, отливал золотом и, начинаясь чуть выше бюста, закрывал ее тело до пят. — Сейчас небезызвестная вам группа Лйвеллы исполнит несколько вещей, написанных специально к сегодняшнему празднику.

В зале одобрительно завизжали.

— Сэйлэнд, откуда ты взялся? — неожиданно спросила Джэйджи.

— Как — откуда?

— Как вы сочинили “Эй! Мота-а-а...”? Это, наверное, очень трудно?

— Совсем нет, — кисло усмехнулся Сэйлэнд. — Это делает портативный компьютер.

— Не понимаю.

Появился официант с полным подносом.

— Тут нечего понимать. Все так делают. Вот представь: собираемся мы все вместе, каждый по очереди садится за машину и играет, старается из последних сил, отдает все, на что способен... Садится второй, третий, четвертый. Компьютер фиксирует параметры каждого, дает оценку и сочиняет вещь. Естественно, вещь эта — оптимальный вариант наших совместных возможностей.

— Значит, “Эй! Мота-а-а...” — лучшее, что вы можете?

— Конечно, — из-за спины Сэйлэнда вынырнул Клайн и, не спрашивая разрешения, уселся за стол. — Более того, через два дня финал. Интересно, что за вещицу мы сочиним?..

— Не юродствуй! — оборвал Сэйлэнд. — Если мы не выиграем в этом году — не выиграем никогда!

— Ты же пел сегодня двумя голосами, — сказала Джэйджи. Сэйлэнд обратил к ней вдруг зло засверкавшие глаза.

— Тебя это удивило? А завтра кто-нибудь споет пятью, и никого это не удивит! Здесь есть предел. Математически можно высчитать. Сегодня это усовершенствование, а завтра — никому ненужное излишество.

— Что ты этим хочешь сказать? — теперь уже заинтересовался Клайн.

— Всего лишь то, что музыки нашей скоро не станет!

— Как это? — удивилась Джэйджи.

— Просто! Всякая машина, работающая по одному принципу, рано или поздно исчерпывает себя, сколько ни совершенствуй ее схему!

— Ты уже не веришь в нашу победу? — ухмыляясь, спросил Клайн.

— Верю. Но для этого надо уговорить Олэна купить Клойдовский орган.

— А вот и я! — донеслось из-за спины, и все трое повернулись на голос.

В сопровождении Смилда, Фиста и Джифа к столу подошел Олэн.

— Олэн!

— Что, Сэйлэнд?

— Ты можешь купить Клойдовский орган?

— Как?

— Просто — прийти к Клойдку и купить!

— Не понимаю.

— Без органа мы проиграем!

— Как же его купить? — заволновался Олэн. — Ведь он не продаст.

— Много заплатишь — продаст!

— Сколько же?

— Не знаю. Сколько попросит.

— Ты думай...

— Я думаю! Если хочешь, чтобы мы выиграли — купи орган!

— Ну ладно, — Олэн, не дожидаясь, выплюнул на пол кусок глэнма. — Я постараюсь. — Но тут же вновь уставился на Сэйлэнда. — Оставшиеся два дня перед финалом вам предстоит провести во Дворце, в экранированном кабинете, так что видеться мы будем только по телевизору...

— Жаль, — не дал ему договорить Сэйлэнд; но Олэн только улыбнулся и все-таки продолжил:

— Но через два дня... Вы должны выиграть! Я верю в вас!..

— И в орган, — опять вставил Сэйлэнд.

На этот раз улыбка у Олэна не получилась.

— Конечно... Я постараюсь... — побормотал он и побрел прочь.

Вздых облегчения прокатился над столом, когда он исчез. Кто-то крикнул официанта, появились подносы с глэнмом. Фист с Клайном разлили бутылку энна на двоих и, недолго думая, откупорили вторую.

— Зря ты с ним так, — подал голос Джиф.

— Как — так? — чуть улыбаясь, переспросил Сэйлэнд.

— Зря подкальываешь...

Сэйлэнд усмехнулся.

— Я имею на это право. Я теперь значу для него куда больше, чем его жалкое самолюбие! Правильно я говорю, Джэйджи? — он обхватил ее плечи, и та, словно спросонок, заулыбалась. — Вам ли рассказывать про настоящего гражданина Мацуони?! Он жаждет удовольствий! А кто, как не мы, ему их доставляет? Думаешь, кто-нибудь из них вспомнит про Олэна, когда будет опускать свой бюллетень на выборах? Они будут голосовать за нас. А Олэн — просто игрок, похлеще нас с вами. Он подкупил немного гигренов и теперь думает, что ему все можно! Мне плевать на него! У меня есть, что продавать, — он выхватил из кармана дисфоновую коробочку с красным язычком и бросил на стол. — А он — только покупатель!

— Правильно! — в каком-то исступлении вдруг закричал Клайн. Маленькие глазки его зашныряли из стороны в сторону, и Сэйлэнд только удивился, как быстро на его коллегу подействовал энн.

Тем временем Джэйджи открыла коробочку, извлекла красный язычок и с нескрываемым любопытством принялась разглядывать его.

Музыка на сцене стихла, там опять появилась ведущая в чешуйчатом балахоне, и по залу покатился ее низкий бархатистый голос:

— Дорогие гости! Сегодня в стенах “Сэлсайфа” присутствует победитель полуфинала Большого Конкурса Сэйлэнд.

Посетители завизжали, и ведущая, не выпуская из рук микрофона, уставилась на Сэйлэнда, приглашая на сцену.

— Какого черта! — разозлился Сэйлэнд, однако поднялся из-за стола.

— Сэйлэнд! — донеслось из-за спины. — Покажи им, кто мы такие!

Это Клайну взбрело в голову забраться на стол, и теперь, отбиваясь от Фиста и Смилда, ухвативших его за полы накидки, он пытался декламировать:

— Граждане Мацуони! — под одобрительное улюлюканье кричал он на весь огромный холл “Сэлсайфа”. — Вы высоко оценили наше искусство, и я уверяю вас — вы чертовски правильно сделали! Что такое музыка? Вы думаете, это такая штука, из которой можно делать гигрены? Черта с два! Стал бы я вас веселить за гигрены!

— Замолчи! — прорвался сквозь рев голос Смилда.

— И если вы ничего не смыслите в нашей музыке — не имеет значения! Потому что музыка — это не гигрены и не искусство! Это — свобода! Любите же музыку, если хотите, чтобы я был свободен! Смотрите, как я свободен!..

Фист со Смилдом буквально повисли на нем. Клайн не сопротивлялся, а только расшвыривал ногами все, что лежало на столе. Двое подбежавших официантов на лету ловили коробки с глэнмом и пытались уговорить Клайна успокоиться. Джэйджи с дисфоновой коробочкой куда-то исчезла. Неприятное предчувствие кольнуло Сэйлэнда, но он прогнал беспокойство. Из всех желаний четко выкристаллизовалось одно: покоя, любой ценой, — и он вопросительно посмотрел на Митчи.

— Ты доволен? — услышал он ее голос.

— Чем?

— Все так любят тебя.

— А-а, эти... — не сразу сообразил Сэйлэнд, и отмахнулся от зала. — И ты тоже?

— Да, Сэйлэнд.

— А наверху есть свободные номера?

— Конечно, Сэйлэнд.

— Хочешь, чтобы я пришел?

Митчи уже держала микрофон перед губами, готовясь что-то объявить, и только утвердительно кивнула.

— Я приду, — бросил Сэйлэнд и повернулся к залу.

231, 232, 233, 234... 234, 234, 234! — Джиф снял пальцы с органа.

— Молодец, — буркнул Сэйлэнд, отключил компьютер и посмотрел на компаньонов. — Общая сумма баллов возросла на восемнадцать единиц.

Руки его засуетились, одна метнулась в наспинный карман, но ничего не найдя, с силой плюхнулась на крышку компьютера.

— Пока эта гадина не придет, я не могу петь! — не скрывая овладевшую им злобу, процедил Сэйлэнд. — Если она не явится через десять минут, я отверну ей голову!

— Можно?

Все повернулись к двери: там стояла Джэйджи. Войдя, она протянула Сэйлэнду дисфоновую коробочку.

— Ты не обиделся? — щуря фиолетовые глазки, спросила Джэйджи. — Я просто не хотела тебе мешать.

— Убирайся к черту! — вдруг взорвался Сэйлэнд. Глаза его налились кровью, он надвинулся на Джэйджи, так что она отпрянула к стене.

— Ты что? — попыталась улыбнуться она, но Сэйлэнд схватил ее за ворот балахончика, несколько раз встряхнул и выволок за дверь.

— К черту! — еще раз проревел он уже в коридоре.

Когда он вновь появился в комнате, коллеги смотрели на него с настороженным вниманием.

— Итак, — с усилием выравнивая голос, заговорил он, — все, что было в наших силах, мы сделали. Теперь дело за компьютером. Сейчас я нажму эту кнопку, и он родит для нас очередной шедевр. Пусть вас не пугает, что творение это будет в некотором роде напоминать "Эй! Мота-а-а..."

— А мы и не боимся, — вставил Клайн.

— Чего ж бояться, — поддержал Джиф. — Если б меня спросили, чем отличается вещица Бритли от вещицы Доутмайна, которые они исполняли вчера — вот такого вопроса я бы и вправду испугался...

— Ничего страшного, — перебил Клайн. — Ты бы мог с полной уверенностью сказать, что Бритли кричал громче.

— Сейчас не до шуток, — вмешался Смилд. — В том, что наши песни порой невозможно отличить одну от другой, виноват слишком медленный прогресс техники. Если бы мы набрали сейчас не на 18, а на 118 баллов больше, чем два дня назад, то, уверяю вас, вещь, которую сочинила бы эта машина, — он похлопал компьютер, — не имела бы ничего общего с "Эй! Мота-а-а...".

— А еще лучше было бы вовсе плюнуть на эти баллы! — добавил Реймис.

После его слов наступило молчание, которое ни у кого не возникло желания нарушать. Сэйлэнд подошел к компьютеру и надавил клавишу на передней панели. Все натянули шлемы Селя и углубились в прослушивание.

На двенадцатом часу репетиций Сэйлэнд, заложив руки за спину, нервно расхаживал между уставшими коллегами и говорил:

— Прежде чем отойти ко сну, послушайте меня. Завтра мы должны сыграть так, как запрограммировала нас эта машина! Никаких фантазий, никаких импровизаций! Только по программе! Личным обаянием, гримасами, экстазом здесь не возьмешь. Главному Компьютеру, что будет раздавать баллы, глубоко безразличны наши индивидуальности и таланты, даже если они у нас есть...

Сэйлэнд не договорил, — вспыхнул экран и оттуда засияла физиономия Олэна:

— Салют, музыканты! Как самочувствие?

— Отлично.

— Ну и прекрасно. Теперь вашим соперником будет Нэдлэн.

— А как он?

Олэн посмотрел куда-то за экран, потом опять на Сэйлэнда и развел руками:

— Вы же знаете. Я не имею права ничего говорить. Но вы не волнуйтесь. Ничего особенного... Я думаю, если выиграем, можно вам заплатить тысячу по тридцать! Как, устраивает?

— Вполне, — отозвался Фист.

— Вот видите, мне для вас ничего не жалко. Сэйлэнд будет

Президентом Музыкальной Ассоциации, и для остальных я, кажется, подыскал неплохую работенку. Сможете спокойно играть, выпускать пластинки, готовиться к следующему Конкурсу... Но для этого вы должны завтра сыграть как боги! — Глаза Олэна вновь скользнули за экран, потом вернулись к смотрящим на него музыкантам. — Спокойной ночи!

Экран погас.

**ТЫСЯЧА ГИГРЕНОВ ТОМУ, КТО НАЗОВЕТ БОЛЕЕ ДОСТОЙНОГО, ЧЕМ КИКЛЭЙН!!!**

**НЭДЛЕН — НЕ ПРОИГРАЕТ!!!**

**Я НЕ ЛЮБЛЮ РЕКЛАМЫ. Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ГОЛОСОВАТЬ ЗА МЕНЯ. Я ПРОСТО ВЕРЮ В МОЙ НАРОД. ОЛЭН.**

Лэрин декламировал умело, и хотя собравшиеся были не новичками, они с интересом слушали его:

— Много лет назад Великий Президент Альфейс первым сделал крупную ставку на нашем Конкурсе. Конечно, тот Конкурс мало походил на нынешний. Не было этого шикарного зала, не было таких талантливых музыкантов, не было этой замечательной, по сей день не имеющей себе равных машины, — широко разведя руки, он показал на Компьютер. — Она была создана по приказу Великого Президента, который первым понял, в чем по-настоящему нуждаются граждане его страны. На протяжении года Чрезвычайная Комиссия отбирала все лучшее, что накопила наша цивилизация в области музыкального творчества. Предпочтение было отдано истинно нашим, мацуонским мелодиям и ритмам. Все остальное, чуждое, наносное, выдаваемое за искусство всяким сбродом и деклассированными элементами, было отброшено. Таким образом отобранная и очищенная информация была введена в машину, и машина, до последней мелочи учитывая не только тенденции, но и возможности с каждым днем совершенствуемой музыкальной техники, сочинила вещь! Это тот эталон музыки, к которому мы можем, да и должны стремиться! И вот сегодня в двадцать третий раз разыгрывается Главный Приз Конкурса — Золотая Статуэтка Президента Альфейса! Но не забывайте — эталон там! — Лэрин ткнул пальцем в индикатор Компьютера. — Того, что там запрятано, еще никто и никогда не слышал! Но-о-о! — Лэрин опять обратился к залу. — По существующему положению, условия таковы. Если кто-нибудь когда-нибудь сможет вот на этой самой сцене исполнить что-либо такое, что превзойдет по сложности, красоте и гениальности тот шедевр, что запрятан в чреве ма-

шины, то Компьютер во всеуслышание исполнит свой эталон! — И минуту помолчав, чтобы слушатели успели переварить всю патетику последних фраз, продолжал. — Так что надейтесь! Может, это случится именно сегодня! — Зал разбушевался, но Лэрин уже не останавливался. — На сегодняшний, последний день соревнований мы имеем двух претендентов. Нэдлэн! На него сделано тридцать ставок. Самая крупная — 28.000! Поставил эту сумму Киклэйн — один из кандидатов на пост Президента на предстоящих выборах! — И переждав бурю восторгов, перешел к следующему. — Сэйлэнд! Двадцать семь ставок. Самая крупная — 26.000!

Начавшиеся было недовольные выкрики вдруг прервал резкий голос из глубины зала. В проходе между рядами стоял пухленький старичок:

— Ставлю на Сэйлэнда тридцать тысяч!

Мгновенная пауза, в которой прозвучали эти слова, тут же сменилась ревом восторга.

— Вы слышали?! — закричал со сцены Лэрин. — Вы слышали?! На Сэйлэнда ставят 30.000! Сам Олэн ставит 30.000! Такого еще не было на Большом Конкурсе! Оценим по достоинству этот благородный жест самого достойного кандидата на пост Президента!!!

Лэрин кричал что-то еще, совсем уж невнятное, но голос его затерялся в воплях восторга. Лишь когда уставшие зрители попритихли, Лэрин вновь воздел руки к небу:

— Я — включаю — Компьютер!

“Нэдлэн” — вспыхнуло на экране.

— Мы вторые...

— Сейчас это не имеет значения.

Сэйлэнд уселся на стол, напротив зеркала, и уставился на молчащий динамик.

— Все отключено?

— Да, — поддакнул Клайн.

Наступила тишина, мучительная и бесконечная, нарушить которую не решался никто... Потом экран вспыхнул вновь: “Сэйлэнд”...

— Пошли! — скомандовал Сэйлэнд, и его голос прозвучал сильно и уверенно. Музыканты молча поднимались.

Сэйлэнд вышел в коридор последним. Его группа стояла у стены, испытующим взглядом провожая Нэдлена с его ребятами. Нэдлэн сейчас походил на изжеванный глэм: капельки пота под нижней губой, глаза над синими мешками совсем утонули в глу-



боких глазницах. Он даже не поднял лица, чтобы глянуть на Сэйлэнда, молча прошел к своей экранированной комнате и сразу же закрыл за собой дверь.

— Пошли! — опять скомандовал Сэйлэнд.

С гитарами и органом музыканты бегом бросились на сцену. Зал взревел. Пробегая последним, Сэйлэнд наткнулся на Мэлайди. Он хотел крикнуть: “Мы победим!” — но звук застрял в горле. Мэлайди что-то крикнула, но Сэйлэнд уже ничего не слышал; он только выхватил из кармана малиновый чек, который она бросила ему в лицо три дня назад, и протянул ей. Мэлайди не тронулась с места. Сэйлэнд аккуратно разгладил чек и положил его на пол. На сцене Лэрин вытащил из Компьютера второй талон, поднял его, и хотя все прекрасно знали, что он сейчас скажет, выкрик: “Сэйлэнд!” был встречен новым всплеском эмоций.

Сэйлэнд повернулся к коллегам: все были готовы и ждали команды.

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

высоко-высоко начал Сэйлэнд. Ансамбль разразился разноголосым эхо.

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

низко пропел он. Группа опять повторила.

Ма-тэ-ри-джэ...

начал четко, поднимаясь от низов к верхам, чеканить Сэйлэнд.

Э-э-э-э-э, мадэливер...

ансамбль повторил эту строчку.

Э-э-э-э-э, мадэливер  
гам'ю м'уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

Клайн выдал несколько четких ударов по тарелке и тому.

Тоунт-тоу-тоу  
то-то-тоунт,  
Моунт-моу-моу  
мо-мо-моунт...  
Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

во всю мощь легких взревел Сэйлэнд. Голос его свободно пропутешествовал по всему звукоряду, добрался до границ ультразвука, а

затем упал в глубокие басы. В нужный момент соло перехватил Клайн, и красивым аккордом на три голоса они закончили вступление.

Зал, минуту назад бушевавший, погрузился в недобрую тишину. Смилд окончил соло, и все опять закричали:

Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

Зал молчал. Из рядов в проход выбежал пухленький старичок в коричневой накидке, бросился к сцене, уцепился руками за край ramпы и закричал:

— Что вы играете?!

Только сейчас Сэйлэнд разглядел сморщенное лицо Олэна.

Сэйлэнд вновь бросил взгляд в зал — там безмолвствовали. Олэн бил кулаками в деревянный настил, но его не было слышно — мощные звуки заглушали все.

Сэйлэнд вновь подключился к ансамблю, расторгнутыми на малую терцию голосами проплыл по всему звукоряду и в мгновенной паузе услышал нарастающее гудение зала.

— Что вы играете?! — опять долетел голос Олэна.

Сэйлэнд отвернулся. Смилд в недоумении посматривал то на Сэйлэнда, то на Реймиса. Сэйлэнд прислушался: Реймис и м п р о - в и з и р о в а л . Правая рука его, прыгая по струнам, словно раздвоилась: Реймис четко вел спрограммированную тему, и одновременно какая-то другая часть его существа выделявала что-то лишнее, доселе неслышанное. Это было сверх программы, не для Компьютера. Из-за спины, нарастая с каждой секундой, доносился гул зала. Сэйлэнд махнул Смилду: "Не обращай внимания!" — и опять повернулся в Олэну: тот стоял, обхватив голову руками, и не шевелился.

Сэйлэнд с Клайном в три голоса начали делать концовку.

Зал гудел.

Олэн, качаясь, отошел от ramпы и поплелся в глубь прохода.

Из-за спины Сэйлэнда летели какие-то невероятные аккорды, и он, не переставая петь, повернулся туда. Реймис вытворял на гитаре что-то нечленораздельное. Смилд подыгрывал, Клайн перешел на жесткий бой, и они все вместе закричали концовку:

Эй! Мота-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

Сэйлэнд взмахнул руками, швырнул в толпу микрофон и бросился вон со сцены. За кулисами никого не было. Даже Лэрин ку-

да-то исчез. Из зала доносился непрерывный гул. За распахнутой дверью комнаты его поджидал Олэн.

— Что вы играли?! — встретил его Олэн.

В конце коридора появились музыканты — они несли на руках Реймиса.

— Что с ним? — крикнул Сэйлэнд.

— Потерял сознание...

Лицо Реймиса было бледным, словно из него вдруг ушла вся кровь, но в руках он все еще держал гитару — судорожно обхватившие гриф пальцы успели посинеть.

— Реймис, — прошептал Сэйлэнд, и водянистые с мутными зрачками глаза гитариста скользнули в его сторону. От них повеяло таким холодом, что Сэйлэнд отвернулся.

— Что вы играли?! — ничего не слыша, продолжал реветь Олэн. — Какого черта вы играете одно и то же!!!

Все замерли.

— Что-о-о-о?! — переспросил Смилд.

— Он! — закричал Олэн, указывая пальцем на Сэйлэнда. — Он продал “Эй! Мота-а-а...” Нэдлэну!

— Ты дурак, Олэн, — спокойно проговорил Сэйлэнд.

— Продай! Продай! — еще громче закричал Олэн. — Нэдлэн играл вашу “Эй! Мота-а-а-а...”!

— Ты дурак, Олэн, — повторил Сэйлэнд.

— Постой! — воскликнул Смилд. — Как это могло случиться?

— Как? — вдруг взорвался Сэйлэнд. — А ты не у меня, ты у Компьютера спроси! Ты лучше узнай, почему наши группы отличаются друг от друга лишь тем, что солист одной орет громче другого.

— Нэдлэн тоже пел в два голоса?

— Да! — взвизгнул Олэн. — Он и это продал!

— Не продал! Его украли! — в дверях стояла Мэлайди.

— Кто украл?

— Наверное, Джэйджи! Какая разница? У вас украли “два голоса”, а не “Эй! Мота-а-а...”.

В наступившей тишине стало слышно, как тяжело дышит Реймис, которого уложили прямо на столе.

— Как самочувствие, Реймис? — спохватился Сэйлэнд.

Старик открыл глаза:

— Это аккорд Шестипалого Ллойса, — еле слышно прошептал он. Глаза его поднялись на Сэйлэнда и вдруг остекленели.

Мурашки побежали по спине Сэйлэнда, он окинул взглядом коллег, но им было не до Реймиса; все смотрели на экран.

Стоя на краю сцены, Лэрин успокаивал публику.

— Сейчас, — кричал он, — Компьютер назовет победителя!

В наступившей тишине компьютер что-то проверещал, но вместо того, чтобы, как обычно, зажечь на панели имя победителя, неожиданно принялся изливать в зал какие-то звуки...

Сэйлэнд прислушался.

Мэ-тэ-ри-джэ...

чеканил Компьютер.

Олэн выкатившимися из орбит глазами уставился на Сэйлэнда. Остальные тоже начали поворачиваться к нему...

Лицо Сэйлэнда просветлело: злоба и счастье светились в нем одновременно.

— Это конец! — таинственным шепотом проговорил он. — Конец. Ничего лучшего вам никогда не услышать!

Все молчали.

— Либо в Мацуони никогда больше не будет музыки, либо это будет другая, настоящая музыка, которую вам не понять и не оценить!

— Кто же выиграл? — жалобно спросил Олэн.

— Я! — стукнул себя кулаком в грудь Сэйлэнд. — Я! Я! Я-а-а!

— А что же он играет? — протянул Олэн руку в сторону телеэкрана.

Компьютер на сцене заканчивал "Эй! Мота-а-а...". Сэйлэнд на секунду прислушался: вдруг еще раз прозвучат Реймисовские импровизации — но тщетно, машина играла традиционно.

Сопровождаемый растерянными взглядами, Сэйлэнд вышел в коридор. Сзади слышались чьи-то шаги. Он развернулся. Перед ним стояла Мэлайди.

— Чего тебе надо? — закричал он ей в лицо.

Она схватила его за руку:

— Постой! Ты не имеешь права сейчас уходить! Не имеешь! Я все стерплю. Все. Даже если ты опять станешь издеваться надо мной. Я поняла... Еще тогда, когда помогала тебе выиграть первый Конкурс. Я никогда и ничего не делала для тебя за гигиены!

Мэлайди вытащила малиновый чек и медленно, не переставая говорить, стала рвать его на кусочки.

— Ты — убийца, Сэйлэнд. Ты это знаешь не хуже меня. Ты убил

музыку. Сейчас они там беснуются. Они еще не понимают, что случилось. Но ты-то, Сэйлэнд?! Неужели это все, чего ты доби-  
вался?

Кровь отливала от лица Сэйлэнда.

— Но ведь Реймис умер, — еле слышно ответил он. — А они, — он указал на дверь, — не умеют играть по-другому... И я — тоже.

— Но ведь можно попробовать?

Сэйлэнд покачал головой, но взгляд его теперь не мог оторваться от Мэлайди: ее глаза загорались каким-то новым таинственным блеском.

Из конца коридора донесся грохот раскрываемых дверей, радостные вопли:

— Мы выиграли! Сорок тысяч! — грянул пронзительный голос Олэна.

— Мацуония не может без музыки, — тихо проговорила Мэлайди.

— Я соберу новый ансамбль, — также тихо ответил Сэйлэнд.

*В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "22"*

*ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГОСПОДИНУ РАФАИЛУ НУДЕЛЬМАНУ*

*Многоуважаемый господин редактор!*

*В номере 32 Вашего журнала в разделе "Публикации" помещено мое предисловие к стихотворению Переца Маркиша "Михозлсу — неугасимый светильник".*

*В этом предисловии я вспоминаю эпизод из истории моего многолетнего знакомства с Михозлсом. Но в том виде, в котором я обнаружила этот эпизод в журнале, я не узнала свой собственный текст. Напечатано: "Мы плыли в Сочи. Михозлс был подавлен, почти мрачен: незадолго до этого он похоронил свою жену, актрису Женю Левитас. На похоронах мы с Маркишем были потрясены почти нечеловеческим горем Михозлса. Михозлс готовил тогда "Короля Лира", и горе короля накладывало отпечаток на горе актера".*

*При таком изложении получается, что у гроба жены Михозлс актерствовал и думал о роли. Я же имела в виду нечто совершенно другое, как поймет всякий читая то, что действительно написано в моем собственном тексте: "...Мы плыли в Сочи. Михозлс был подавлен, почти мрачен: незадолго до этого он похоронил свою жену актрису Женю Левитас. Мы с Маркишем были на похоронах и были потрясены почти нечеловеческим горем Михозлса над гробом Жени. Кроме того, я знала, что Михозлс готовит к постановке "Короля Лира", "вживается" в трагедийную роль своего героя — несчастного короля. Это, как мне казалось, также накладывало отпечаток на актера".*

*Очень прошу Вас опубликовать мое письмо и передать мои извинения читателям Вашего журнала за досадное недоразумение, происшедшее не по моей вине. Пользуюсь случаем, чтобы заодно указать на опечатку, вкравшуюся в текст последнего абзаца на странице 212: вместо "18 января 1948 года" должно быть 13-го, так как именно в этот день в Москве стало известно о смерти Михозлса.*

*С уважением*

*12 декабря 1983 г.*

*Эстер Маркиш*

## УРОКИ ИСТОРИИ

*В память об ушедшем французском мыслителе мы публикуем отрывок из его большой работы конца семидесятых годов. Быть может, самое поразительное в ней — острая актуальность, сохранившаяся несмотря на прошедшие годы.*

*Раймон Арон*

### **В ЗАЩИТУ НАШЕЙ ДЕКАДЕНТСКОЙ ЕВРОПЫ**

После нескольких десятилетий небывалого подъема Западная Европа сегодня переживает кризис — экономический, политический, духовный. Оптимизм поколеблен, и многие с тревогой смотрят в будущее. Растет растерянность, и левая слепота снова на взлете. Достаточно взглянуть, какая разная поддержка была оказана во время последних выборов Миттерану и Жискару д'Эстену. Огромное число интеллектуалов, писателей, артистов выступили на стороне лидера левой оппозиции, но мало кто решился открыто поддержать "человека справа". Я был потрясен; меня словно отбросило на сорок лет назад; старые воспоминания ожили в моей памяти. Я жил тогда в Берлине, — парижский студент последнего курса, — и мои берлинские друзья спрашивали меня, какой смысл противостоять национал-социализму — этой "волне будущего", которая тем временем увлекала немецкую молодежь и миллионы растерянных людей к еще скрытому трагическому концу. А сегодня мои друзья доверительно шепчут мне: "Социал-коммунисты все равно победят, не завтра — так послезавтра, а раз так, то чем скорее, тем лучше". Со всех сторон слышатся предположения: либо левое правительство окажется способным править страной, не порывая с западной

традицией, не подавляя основных свобод, и тогда компартия станет составной частью нации; либо левая коалиция провалится, как Народный Фронт в 1936-м году, и тогда правые вернуться к власти, располагая большей свободой маневров и большой способностью к переменам.

Я не собираюсь, разумеется, сравнивать лидеров французских левых партий с Гитлером или Сталиным. Скажу больше: мне кажется, что даже Брежнев нельзя сравнивать со Сталиным. Но дело в том, что эти различия, скорее, усиливают грозящую нам опасность. Некоторые говорят: стоит ли беспокоиться, если марксизм-ленинизм давно растерял всю свою привлекательность, если западные компартии изо всех сил демонстрируют свое "новое лицо" и свою "независимость"? Разве вы не чувствуете, что не за горами воссоединение Европы, объединение континента, некогда раздробленного великими ялтинскими "мясниками"?

Действительно, стоит представить себе: в Италии "исторический компромисс", во Франции — социалисты и коммунисты у власти; но что тогда остается от равновесия между двумя Европами, жизненно необходимого для мирового баланса сил? Я не отрицаю, что компартии Запада хотели бы отдалиться от СССР, но искренне или нет провозглашают они свой "национальный путь к социализму", они по-прежнему принадлежат к той же семье, что и советские большевики. Они исповедуют ту же доктрину; они не отказались от принципов "демократического централизма"; их концепция будущего по-прежнему совпадает с советской концепцией, хотя они и утверждают, что будут избегать тоталитарных излишеств. Скрывают еврокоммунисты свои истинные цели или нет — это, в конце концов, менее важно, чем последствия их методов и идей, возможные или неизбежные последствия.

Иными словами, Западная Европа сегодня испытывает комбинированную угрозу — со стороны военной мощи Советского Союза, армии которого, как сказал де Голль в 1949 году, все еще стоят в двух днях пути от сердца Франции, со стороны компартий Италии и Франции и, наконец, от потери европейцами веры в самих себя.

Кто скажет, что это — потеря веры или просто увлечение самокритикой? Следует ли восхищаться способностью европейцев осуждать самих себя и демонстрировать миру свои социальные и культурные недостатки, чудовищно раздувая их при этом и забывая, что несовершенство от природы свойственно всем людям и всем общественным институтам? Правда ведь состоит в том, что послед-

ние тридцать лет именно Запад — Соединенные Штаты и Европа — лидировали в области производительности труда, технологических новшеств, научного прогресса и человеческих свобод. Марксистско-ленинская пропаганда пытается преуменьшить эти достижения, отождествляя капитализм с империализмом, — как будто Запад достиг своего процветания эксплуатацией Третьего мира, а не своим собственным трудом, его эффективностью. Не отрицая роли колониальных империй в судьбах Европы последних столетий, следует все же напомнить, что Третий мир обращается сегодня за помощью именно к евро-американскому центру мировой экономики; именно Запад, и только он, располагает сегодня средствами, которые необходимы, чтобы мало-помалу сократить разрыв между богатыми и бедными странами. Представители Третьего мира получают некое удовлетворение, понося американский или европейский “империализм”. Но когда латино-американский интеллигент бежит из своей страны после очередного военного переворота, где он ищет убежище — в Москве?

Так не обязывает ли все это нас сказать кое-что и в оправдание либеральной Европы, нашей старой и “декадентской”, “упадочной” Европы? Собственно говоря, какая из двух Европ сегодня находится в упадке?

Модная фразеология, все эти “моральные” оценки, единодушные которых продиктовано интеллектуальным конформизмом, господствующим сегодня на планете, безоговорочно осуждает “колониализм” и превозносит “освобождение народов”. Но разве не европейцы должны записать на свой счет заслугу добровольной ликвидации своих империй? Если не считать французов, воевавших в Алжире и Вьетнаме в тщетной надежде противостоять неостановимому историческому движению, все прочие европейцы, и в особенности англичане, отказались от своей “имперской” роли с куда большим изяществом, чем любые другие завоеватели в истории. А вот Советский Союз, напротив, воспользовался своей военной победой для того, чтобы расширить территории и навязать свой строй и власть сотням миллионов европейцев.

Если бы исторические споры решались в открытой полемике, трибуналом морали и права, защитникам Европы было бы нетрудно доказать свою правоту. Увы, имеет место совсем иной процесс, которым управляет идеология и который не отягощен универсальными соображениями совести и морали.

Советский Союз сохранил свою империю, которая сегодня про-



стирается от Веймара до Владивостока. Французы и англичане свои империи утратили. Хотели они их сохранить или нет, от этого дело не меняется: ушли бы они добровольно или упорно сопротивляясь, — разве это не было бы расценено как “упадок” в любом случае? Ведь и так памфлетисты во всех концах света продолжают сегодня поносить “западный империализм” — и это в то время, как сами европейские империи все более подергиваются пленкой исторического забвения.

Но позвольте мне взглянуть на некоторые тревожные факты. Несмотря на богатство, несмотря на свою культуру и свободу, — а может быть, именно из-за них — Европа не верит больше в свою способность защитить себя. Она упрасивает Соединенные Штаты гарантировать ей политическое равновесие и безопасность присутствием американских войск — символа трансатлантических средств ядерного устрашения, противостоящих советским дивизиям, вот уже пятьдесят лет располагающимся в центре Европы.

Итак, по крайней мере, в одном отношении “декаданс” Западной Европы несомненен. Термин “декаданс”, или “упадок”, лишь описывает реальное соотношение сил. Экономический упадок Британии начался в последней трети прошлого века — не тогда, когда промышленное производство США превзошло британское, а когда Германия возглавила новые отрасли промышленности. Упадок Франции, начавшийся тогда же, был неизбежным результатом ее отставания в приросте населения. И точно так же вся Западная Европа в канун войны 1914 года праздновала свое превосходство, чреватое ее упадком. Демократические режимы, гордые своим либерализмом, не способны долго сохранять качества, необходимые для имперских центров, — противоречие между ценностями, провозглашаемыми “дома”, и практикой господства в колониях подрывает и сами ценности, и мощь, обеспечивающую господство. Даже без двух мировых войн Европа не избежала бы упадка, хотя без них он не был бы столь быстрым и драматичным. Но события 1939—1945 годов предопределили такой упадок, когда Европа утратила даже то военно-политическое значение, на которое могла бы претендовать по своим экономическим возможностям, если не просто по размерам.

Стоит, однако, предположить, что будущее принадлежит “производителям” (как сказали бы последователи Сен-Симона), а не “воителям”, — и прогнозы и оценки сразу изменятся. Что толку в тысячах танков, ежегодно выходящих с советских заводов и ис-

пользуемых для восстановления социалистической ортодоксии в Праге (для этой цели так много не надо) или для раздувания малых войн на Ближнем Востоке и в Африке? Война в наше время дорого обойдется победителю — если его вообще удастся обнаружить среди радиоактивных развалин. Много ли корысти в такой победе? Советский Союз наживается на западной науке и технологии, и ему доступнее получать их из Европы, чем из Соединенных Штатов; даже дремучие кремлевские правители должны смутно догадываться, что их режим душит все новое и что они нуждаются в живительном творчестве “декадентской” Европы. Это она, Европа, продает Союзу станки и фабрики, в обмен покупая сырье, — что так типично для отношений между развитыми и недоразвитыми странами. И это возвращает нас к более оптимистическому взгляду на вещи: минуло время военных империй, и в будущем прежде всего успехи в науке и производительности определяют положение и отдельных индивидуумов, и целых народов. А на этих ступенях Советский Союз тащится далеко вниз. Если человечество в целом движется к универсальной эпохе технологии, то ведет его не Советский Союз — напротив, имитируя и одалживая, он с трудом поспевает за ведущими.

Но — и здесь нас снова охватывает беспокойство — разве наука и технология и вправду полностью определяют судьбу государства? Разве главная гражданская добродетель (в маккиавелиевском смысле) не состоит все еще в способности к коллективным действиям и в исторической жизненности, и разве не эти качества, в конечном счете, определяют судьбу государств, их возвышение и упадок?

Увы, эта способность в упадке, а тем временем марксизм в его ленинистской и вульгаризованной версии продолжает распространяться по Западной Европе, преподается и внедряется в школах и университетах Франции, Италии, везде. Правда, нынче марксизм-ленинизм редко отваживается появляться в своем классически нетерпимом обличье; марксизм, как писал Мерле-Понти, становится “западным”: в Париже и в Риме интеллектуалы “левого крыла” составляют радикальные манифесты о “свободах”, — а диссиденты, бывшие гулаговцы, еще не остывшие после Востока, шепчут с болью: “Разве у них нет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать?”

Я не отрицаю, что еще и сегодня некоторые положения марксовой критики экономики и общества Западной Европы выглядят

убедительно; но те же доводы и в тех же самых словах приложимы решительно ко всему; вовсе не нужно заимствовать их у современника раннего капитализма, — разве что демонстрируя свой “левый конформизм”. И разве эта любопытная одержимость марксизмом не отражает прежде всего историческую ущербность интеллектуалов, этих глашатаев падения своих собственных режимов?

Общество в опасности! Оно готово стать своей собственной жертвой — оно больше не может противостоять вызову событий, исходя из собственных принципов. Вслед за периодом послевоенного процветания наступили времена новых проблем: застоя, то есть сочетания экономической депрессии с повсеместной инфляцией; веймарского синдрома, когда демократия видит перед собой лишь два варианта самоубийства: отдать власть тем, кто ее разрушит, или самой ниспровергнуть свои же принципы законности; и кризиса цивилизации, отмеченного гневными филиппиками “левых” против “репрессий” — и это в обществе, являющемся прежде всего обществом позволяющим!

Марксисты, — а в более общем смысле все “прогрессисты” — отвергают возможность расхождения между благими намерениями и ходом истории. Левые интеллектуалы сегодня снова приняли мессианские пророчества Маркса и его идеологические аргументы, лишь отграничив себя от советского эксперимента и клянясь всем на свете, что их марксизм не имеет ничего общего с марксизмом, презираемым Солженицыным; они “марксизируют” университеты и журналы и увлекают молодежь к разрушению либерально-капиталистического строя — в наивном убеждении, что их революция не завершится тем же советским деспотизмом.

Я не разделяю их уверенности. Я не знаю, каким будет будущее. Своим пером я стараюсь сделать все возможное, чтобы оно как можно больше походило на наши надежды. Я не думаю, что будущее когда-либо устранил все противоречия или воплотит все наши мечты. Жившие во времена Гитлера или Сталина знают, что всегда возможно худшее; сохранять веру — означает думать, что это не всегда неизбежно.

## РУССКИЙ ВОПРОС

Так ответил Андропов корреспонденту "Армянского радио" на вопрос о том, чего ждать от его правления. Но обозреватели не верят "Армянскому радио" и ждут от правления Андропова благих перемен. В этих обстоятельствах имеет смысл прислушаться к тому, что говорят о будущем СССР новый генсек и его соратники.

Когда умер Сталин, обвинения, исходящие от новых руководителей, обнаруживших (как будто раньше не знали) вопиющие недостатки в полученном ими наследстве и страшные преступления в партийном и государственном прошлом и настоящим, были адресованы Сталину.

Когда был отправлен в отставку Хрущев, его преемники обратили свои обличительные монологи против него.

Юрий Андропов и Константин Черненко в своих программных речах (на июньском, 1983 года, пленуме ЦК КПСС), никого прямо не именуя ответственным за неполадки в доставшейся им от предыдущего генсека машине, на самом деле обвинили в этих неполадках не только что умершего Брежнева, а свергнутого в 1964 году Хрущева.

Принятая при Хрущеве, в 1961 году, на XXII съезде КПСС, партийная программа постулировала построение к 1981 году в СССР материально-технической

*Дора Штурман*

**КАГЕБЫЛО КАГЕБУДЕТ**

базы коммунизма. Это понятие было в Хрущевской программе детализовано и снабжено в каждом пункте четкими количественными показателями. Речь не шла о построении ПОЛНОГО коммунизма: согласно классической теории, последний предполагает отсутствие ("отмирание") государственности. Хрущев не думал, что это будет достигнуто в капиталистическом и недружественно-социалистическом окружении. Но он считал возможным уже в этих обстоятельствах построить экономические предпосылки земного рая: создать невиданное коммунистическое изобилие. Он, по-видимому, не мог понять: почему самый передовой строй — социализм, с такими великолепными производственными возможностями (национализация, плановость, научность), не может добиться достатка, существенно превышающего экономический уровень, которого в условиях тех же международных антагонизмов достигли богатые страны Запада? Ленин тоже не мог этого понять. Он без конца повторял в 1921—1923-м годах, что, имея в руках все хозяйственные резервы, все научные силы, партия и рабочий класс только из-за неумения управлять, из-за некомпетентности и традиционной русской обломовщины терпят поражение в соревновании со свободным предпринимательством. Ленин умер на заре социалистического эксперимента и к пониманию истинных возможностей и невозможностей национализированной и монополично управляемой экономики не приблизился. Хрущев унаследовал его веру, его иллюзии, когда за спиной уже был почти сорокалетний опыт существования централизованной плановой экономики. Но этот опыт не сделал его проницательней.

Сталин строил свою экономическую политику, сельскохозяйственную и промышленную, в основном, на принуждении. Это принуждение, как и террор, ему сопутствовавший, казались Хрущеву излишними, объективно не обусловленными, predeterminedными в значительной мере лишь характером Сталина. Хрущев решил дать народу хорошее отношение со стороны власти в обмен на хороший труд. Он решил побудить интеллигенцию в обстановке куда большей свободы, чем при Сталине, научно задействовать, наконец, все преимущества социалистической системы. Подозрение, что даже относительная "оттепель" молниеносно подведет советских ученых к выводам об отсутствии у социалистической экономики большинства ожидаемых от нее преимуществ, было Хрущеву абсолютно чуждо. Пожалуй, он был последний кремлевский "вождь", кото-

рый в конце 1950-х — начале 1960-х гг. еще верил в практически безграничные экономические возможности советского строя.

В течение своего восемнадцатилетнего правления Брежнев так и не посягнул открыто на хрущевскую двадцатилетнюю программу достижения коммунистического сверхдостатка. При нем ее стали только замалчивать. В русской эмигрантской прессе сообщали, что в 1981 году в г. Балашове два человека извлекли из земли закопанный ими в 1961 г. герметический контейнер с газетой, содержащей текст этой программы, и при некотором стечении народа зачитали ее основные пункты, пытаясь сопоставить то, что планировалось на 1981-й год, с тем, что было достигнуто. Они были судимы закрытым судом и получили по несколько лет лагерей по 190-й статье УК РСФСР за “распространение измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй”.

Положение, при котором чтение вслух партийной программы стало равноценным издевательствам над партией и этой ее программой, необходимо, казалось бы, как-то исправить. Но Брежнев на это так и не решился. Более того, уже в конце его правления, в мае 1982 года — на фоне все той же программы достижения (к 1981 году!) коммунистического изобилия — была принята нищенская “Продовольственная программа”, обещавшая к 1990-му (!) году всего лишь досыта накормить народ. Впрочем, не совсем и досыта: нормы потребления, запланированные этой программой ко времени ее завершения, по некоторым продуктам (мясо, овощи, фрукты, яйца) были ниже даже официально принятых в СССР так называемых научно обоснованных норм.

После смерти Брежнева ЦК, по-видимому, пришел к соглашению, что обладающую такой уличающей силой программу необходимо заменить новой. Об этом и заговорили на июньском пленуме ЦК КПСС и Андропов, и Черненко.

За тотальный провал партийной программы 1961 года был, и вполне справедливо, осужден не Брежнев, а этот утопический документ. Немного словно упоминая об отменяемой ныне программе, Андропов мимоходом заметил, что “некоторые ее положения — это надо прямо сказать — не в полной мере выдержали проверку временем, так как в них были элементы отрыва от реальности, забегающая вперед, неоправданной детализации”.

Новая программа партии, судя по материалам пленума, будет обладать одним решающим качеством: в ней не предвидится никакой вдохновляюще-грандиозной, конечной для данного этапа зада-

чи. Это программа обеднения целей во всем, что касается внутренней деятельности партии. Грандиозность сохраняется лишь во внешних целях, о чем чуть ниже.

“Программа партии в современных условиях должна быть прежде всего программой планомерного и всестороннего совершенствования развитого социализма, а значит, и дальнейшего продвижения к коммунизму”, — говорит новый генсек, и это выделено курсивом. Больше о коммунизме он не упоминает, зато, как и Черненко, неоднократно подчеркивает, что этап “совершенствования развитого социализма” будет длительным.

Насколько же длительным?

Как на всех совещаниях такого рода, на июньском пленуме было принято постановление, а в этом постановлении прозвучали разительные слова: “Коллективная мысль КПСС обогатила научный коммунизм учением о развитом социализме. Партия определила, что советское общество находится *в начале* этого исторически длительного этапа”.

(Курсив Д.Ш.)

Удивительное признание! Это “*в начале*”, которое не решились от своего имени произнести ни генсек, ни идеологический глава партии, освобождает не только нынешнее поколение цепких кремлевских старцев, но и тех, кто наследует им в ближайшем столетии, от необходимости строить в предвидимом будущем “материальную базу коммунизма”. В этом смысле Черненко выразился с достаточной определенностью, когда раскритиковал бытовавшее “в определенный период... ..облегченное представление о путях и сроках перехода к высшей фазе коммунизма”. И далее: “торопя, так сказать, *нашу мечту* иные теоретики, пропагандисты как бы сглаживали неровности пути, по которому мы идем...” (Курсив Д.Ш.)

Так то, что было двадцать два года “научной” программой КПСС, вдруг превратилось в нечто эфемерно расплывчатое — в “нашу мечту”. А с мечты какой спрос?

Социализм нынешнего советского образца достроен в главных своих чертах в середине 1930-х годов, после уничтожения независимого крестьянства и завершения первых этапов индустриализации. С тех пор, как Сталин объявил его построенным, прошло без малого столетие. И это только начало?! Практически на создании хотя бы только экономических обстоятельств коммунизма в одной стране ставится крест. КПСС возвращается к отвергнутой было ею точке зрения классического марксизма (Троцкий мог бы торжествовать). Разумеется, об этом не сказано оголенно-деклараци-

тивно, но из всего произнесенного на пленуме ясно, что завоевывать мир будет “зрелый социализм”, а не коммунизм. В обоих выступлениях и в постановлении делается несомненный акцент на “интенсивности и остроте противоборства двух полярно противоположных мировоззрений, двух курсов — социализма и империализма” (Андропов). Пафос речи Андропова и доклада Черненко в значительной мере сопряжен с распространением идеологии, а значит и практики “развитого социализма” на весь мир. “Идет борьба за умы и сердца миллиардов людей на планете”, — говорит Андропов, и он не шутит и не преувеличивает. Молчит он о том, что борьба ведется как правило односторонняя — лишь коммунистами, которые ею, в отличие от объекта своих атак, не пренебрегают ни на мгновение. Следуя партийной традиции, Андропов и Черненко многократно изображают СССР идеологически и политически атакуемой стороной и говорят о “контрпропаганде”, а не о пропаганде. Но тем не менее тезис о том, что “развитой социализм” ведет и должен вести непримиримый бой за миллиарды умов на планете — за все человечество, подчеркивается и варьируется в материалах пленума многократно.

Когда впервые говорит о принимаемом под свое начало объекте, малом или гигантском, человек, только-только пришедший к власти, он, естественно, бывает раскрепощен тем, что не чувствует себя персонально ответственным за вчерашнее и нынешнее состояние этого объекта. Кроме того, говоря *много*, очень трудно не проговориться о нежелательной правде.

Андропов замечает:

“В сфере экономической ключевая задача — *кардинальное повышение производительности труда* (курсив в газете). Мы должны: стремиться достичь в этом плане высшего мирового уровня. Ведь недаром Ленин считал это в последнем счете самым важным, самым главным для победы нового общественного строя (ПСС, т.39, стр.21)”.

И далее речь идет о первостепенной необходимости

“преодолеть отставание таких областей, как сельское хозяйство, транспорт, сфера услуг”, “автоматизация производства, ... применение компьютеров и роботов, внедрение гибкой технологии, ...использование новейших атомных реакторов, ...развитие биотехнологии, ...безотходных и энергосберегающих технологий. Все это приведет к подлинной революции в нашем народном хозяйстве.

К сожалению, товарищи, как раз с внедрением в практику достижений



науки и техники у нас, как вы знаете, дело обстоит еще плохо”, — заключает докладчик.

Казалось бы, все это — хронические, затертые штампы партийных программных речей (даже области отставания неоднократно перечислялись те же самые еще в 1960-х годах), но попробуем вдуматься в то, что здесь сказано. Как нечто *новое и ключевое* в 1983 году ставится задача, поставленная Лениным в 1919-м году и за шестьдесят четыре года не выполненная!

Однако, Ленин, Сталин, Хрущев говорили о необходимости догнать и перегнать по производительности труда мировой уровень — Андропов говорит как о “ключевой задаче” о необходимости “стремиться достичь мирового уровня”! Только “стремиться” и всего лишь “достичь”.

Лишается всякого смысла исконная трактовка социализма как строя *по определению* более продуктивного, чем капитализм. Во всех отраслях, процветающих на капиталистическом Западе и перечисленных Андроповым исходя из западной практики, СССР отстает. При этом, согласно хорошо обоснованным данным западной печати, до 30% технологических новшеств СССР добывает посредством научно-промышленного шпионажа на том же Западе и в Японии.

Андроповское “стремление достичь” легализует производственно-экономическую (научно-техническую в том числе) второсортность социализма.

В “истребительно-трудовые” (Солженицын) лагеря Запад поверил только тогда, когда о них рассказал Хрущев и поведала подцензурная советская литература. Может быть, после проговора Андропова в умах социалистов и просоциалистов возникнет, наконец, сакраментальный вопрос: если СССР почти семьдесят лет не может догнать по ключевым показателям Запад, то является ли социализм желательным выходом из противоречий и затруднений Запада и остального мира?

Не надо на это возражать, что советский “развитой социализм” — это псевдосоциализм. Все социалисты — теоретики и практики — от полупервобытных (нынешних) африканских деспотов до просвещенных американских экономических литераторов типа Дж. Гэлбрейта, осуществляют или толкуют социализм как *национализацию, всеобъемлющую плановость и решительное наступление на свободный рынок*. Эти же три принципа, доведенные до их логического (или аналогичного) предела, лежат в основе советского строя.

Андропову никак не откажешь в осторожности по части веры в потенции "развитого социализма". О Продовольственной программе он говорит:

"Особенно необходимо наладить бесперебойное снабжение высококачественными продуктами питания, причем так, чтобы достигнуть *максимально возможной самообеспеченности* в этом отношении" (Курсив Д.Ш.).

Заметьте: не полной самообеспеченности; а максимально возможной свободы от импорта. Даже по выполнении Продовольственной программы импорт продовольственных товаров (возросший за последние десять лет в сорок раз) останется в какой-то мере уделом богатейшей в природном отношении державы мира.

"Сокращение и упрощение управленческого аппарата" тоже формулируется Андроповым как проблема, которую "остро ставил еще Ленин". И тоже не возникает вопроса, почему за шестьдесят лет, истекших после отхода Ленина по болезни от дел, и эта сформулированная им задача нисколько не утратила своей злободневности.

Социализм с его литературных истоков привлекает к себе человечество тем, что объявляет себя продуктом научного знания, а не только стремления к справедливости. Марксизм же с особенной категоричностью объявляет себя итогом "развития социализма от утопии к науке" (Энгельс). Научный подход к построению чего бы то ни было предполагает знание принципов функционирования того, что хочешь построить, уже в проекте. Мне случалось текстологически доказывать в своих работах\*, что представления Маркса и Энгельса об этих принципах были на удивление наивными и неотклонимо критиковались уже их современниками. Ленин многократно и темпераментно констатировал факт понимания большевиками (им — в том числе) только самых общих принципов нового строя. Он яростно требовал от советских ученых своего времени конкретизации и детализации этих принципов, но умер, таковых не дождавшись. И вот через шестьдесят лет очередной генсек ленинской партии произносит слова парадоксальнейшие для власти, претендующей на научную обоснованность своей политики:

"... если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуж-

---

\* Д. Штурман, "Наш новый мир" (Изд. "Лексикон", Иерусалим, 1981).

дены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок”.

Метод проб и ошибок достаточно рационален, если пробы свободны, то есть производятся в достаточно широком диапазоне, а ошибки констатируются вовремя и честно, с полной свободой их обсуждения.

В своей первой “тронной” речи (на ноябрьском, 1982 г., пленуме ЦК КПСС) Андропов сказал, что у него нет готовых рецептов для повышения продуктивности социалистической экономики и что следует изучить и использовать лучший внутренний и мировой опыт. Эти его слова вызвали всплеск оптимизма в советологии: Андропов — прагматик, он в курсе дел и пойдет на спасительные экономические перемены; ведь он признал отсутствие у него готовых рецептов оптимизации социализма и заговорил не только о внутреннем, но и мировом опыте. Возникли иллюзии, что новый генсек позволит ученым положить на свой стол их неурезанные представления об истинной продуктивности экономической системы социализма и о действительно эффективных способах ее оптимизации.

Те, у кого возникли надежды, что он это сделает, могли бы припомнить, сколько неофициальных групп и лиц, занимающихся независимыми исследованиями социализма и советского строя, были репрессированы учреждением, которым командовал тогда Андропов. Причем не избегли этой участи даже ортодоксально марксистские группы. Не так давно на Украине получил семь лет каторги и пять лет ссылки Юрий Бадзьо — за работу о советской системе, изъятую у него при обыске, еще не законченную и никем посторонним не читанную.

Тем не менее оптимисты не переводятся. В “Русской Мысли” №3478 от 18 августа 1983 года под рубрикой “Об экономическом положении в СССР” напечатана небольшая статья “Серьезное исследование или очередная пропагандистская уловка?” В статье, в частности, говорится:

“Недавно в руки иностранным журналистам в Москве попался любопытный документ: научное исследование о состоянии советской экономики и о возможных путях ее дальнейшего развития. По всей вероятности, оно было проведено группой ученых и специалистов по требованию высшего советского руководства.

Основной вывод исследования заключается в том, что централизованная система управления народным хозяйством изжила себя и в настоящее время

только тормозит развитие экономики, так как не может обеспечить полного и эффективного использования умственных и трудовых ресурсов страны. Судя по статье корреспондента "Вашингтон Пост" в Москве Даско Додера, этот 30-страничный документ в апреле текущего года рассматривался на закрытом семинаре, организованном Академией наук СССР, экономической секцией ЦК КПСС и Госпланом.

Естественно, известие о существовании научного труда со столь далеко идущими выводами не могло не вызвать очередных толков о намерении Андропова перестроить экономику страны. К тому же это совпало с недавним сообщением в советской прессе о новом экономическом "эксперименте", заключающемся в предоставлении ограниченной "автономии" ряду предприятий тяжелой, транспортной, пищевой и легкой промышленности как всесоюзного, так и республиканского уровня."

Неужели речь в этом документе идет о действительно принципиальных изменениях?

В той же статье сказано:

Если судить по приведенным цитатам, то анализ и выводы авторов исследования вполне разумны, *хотя они и не ставят под сомнение экономическую обоснованность принципа, на котором зиждется экономика СССР: "общественную" собственность на средства производства*". (Курсив Д.Ш.)

Определение "общественную", закономерно взятое здесь в привычки, означает государственную, ибо другой собственности, если не считать немногочисленных "кустарей", задавленных налогами, и нищих псевдоартелей, в СССР официально не существует. (О нелегальной "второй экономике" и ее сложной роли в хозяйстве Советского Союза мы здесь говорить не будем.) Если этот принцип остается незыблемым, то любые дозволенные поиски альтернативы нынешнему положению не перестают представлять собой поиски наилучшего решения в рамках заведомо наихудшего варианта общественных и производственных взаимоотношений.

Многократно за последние тридцать лет предпринимавшееся "предоставление ограниченной автономии" ряду предприятий всегда означало в конечном счете лишь увеличение беспорядка. Конкурентного рынка, в существенной мере еще управляющего деятельностью западных фирм и ферм, в СССР нет. Когда мощный западный концерн хочет увеличить автономность своих филиалов, он отключает часть связей с ними от себя и они подключаются прямо к рынку. Если рынка не существует, то отключенные от государственного регулятора связи какое-то время лоболтаются в воздухе, увеличивая беспорядок, а затем подключаются к тому же

(единственно по-настоящему полномочному в системе) государственному регулятору.

Чтобы этого не случилось, систему следует менять принципиально. Андропов же, призывая науку устранить, наконец, эмпиризм социалистической экономики, тут же требует от ученых выполнения двух условий: опираться на прочный марксистско-ленинский теоретический фундамент и отвечать "принципам и условиям развитого социализма". Иными словами, все должно оставаться неизменным, несмотря на то, что "прочный марксистско-ленинский теоретический фундамент" за шестьдесят девять лет предыстории советского строя (1848—1917) и за шестьдесят шесть лет его истории (1917—1983) так и не помог выработать основы достаточно эффективной социалистической экономики. А не помог потому, что на самом деле никакого "марксистско-ленинского теоретического фундамента", способного обеспечить эффективность советской экономики, не существует. Есть неукоснительный догматизм, навязывающий этой экономике определенную структуру. Последняя позволяет своему диктаторскому управляющему устройству произвольно расходовать львиную долю национального продукта на цели, почитаемые им наиболее важными (сохранение постоянства системы, своего места в ней и своих нешуточных привилегий; идеологическая, военная и диверсионно-деструктивная экспансия, вооружение и т.д.). Так как система огромна и от природы богата, то и доля эта весьма велика. Но поскольку система в целом, по сравнению с иначе организованными структурами сходной величины и природной обеспеченности, малоэффективна, то во всем, кроме выделенных властью (как первостепенно для нее важных) областей, она терпит хронический дефицит. Последний неуклонно растет и все настойчивей угрожает нежелательными воздействиями как патронируемым властью областям, так и стабильности системы.

Эти угрозы побуждают руководство к очередной (такое было уже в начале 1920-х гг. при Ленине, и в начале 1960-х гг. при Хрущеве, и в середине 1960-х гг. после его отставки) настойчивой апелляции к ученым: ведь марксизм — наука! Дайте же, черт вас побери, наконец, научные рекомендации к задействованию этой научно организованной машины на полную мощность!

Отсюда начальственный окрик из уст Черненко: "...помощь партии со стороны научных учреждений могла бы быть более основательной".

И знаменательное (чем — об этом несколько ниже) обращение к прошлому:

“Приведу конкретный пример. Многого мы ожидали от созданных еще в 60-х годах Института социологических исследований и Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. Но до сих пор так и не дождалось обстоятельных конкретных исследований социальных явлений и актуальных экономических проблем”.

У того, кто и в 1960-х гг. был в курсе взаимоотношений легальной экономической науки и власти, возникает настойчивое чувство холостого кружения как науки, так и курирующего ее ЦК по замкнутой траектории, с постоянным возвращением на круги своя — к чему-то уже испытанному и не состоявшемуся. Вернемся и мы на мгновение к тому витку этого безвыходного круговращения, о котором вспоминает Черненко, — к эпохе СОФЭ.

В 1968 году академик Федоренко Н. П., директор Центрального Экономико-математического института АН СССР (ЦЭМИ) и председатель нескольких комитетов союзного значения, связанных с математическими методами экономического управления, выступил в специальной и популярной печати с пропагандой СОФЭ (системы оптимального функционирования экономики), разрабатываемой его институтом. По словам академика Федоренко:

“экономическая наука обретает в социалистических условиях колоссальное значение”, т.к. социалистическое общество “*есть продукт науки, воплощение идеалов революционеров, овладевших теорией научного социализма*”.

Констатируя первостепенную роль науки в появлении на свет социализма, академик пишет:

“Правда, еще нельзя сказать, что в экономике теория намного опережает практику, как это имеет место, например, в физике или математике, как это должно быть в любой науке, достигшей зрелости”.

“В течение длительного времени экономическая наука, оперируя общими формулировками, не давала практике *четких предпосылок* для выработки количественных методов изучения процессов, протекающих в социалистической экономике” . (Курс. Д.Ш.)

Как видим, академик Федоренко говорил о марксистской экономической науке в 1968 году то же, что говорят о ней Андропов и Черненко в 1983 году.

Итак, плод “сознательной” деятельности “революционеров”, овладевших теорией научного (?) социализма, который вкушает ныне более миллиарда человек и который в Кремле хотят навязать остальным миллиардам, произведен на свет, оказывается, не достигшей зрелости наукой, которая не давала до конца 1960-х гг. своим

подопечным даже **предпосылок для изучения** тех процессов, на **коих основана новая экономика.**

Однако автор СОФЭ утешает читателей:

“Научные исследования, выполненные в данной области в последние 2-3 года, позволяют сформулировать и обосновать *исходные предпосылки* комплексного механизма функционирования социалистической экономики, наметить важнейшие направления разработки системы оптимального планирования и управления народным хозяйством страны”.

Итак, Маркс и Энгельс призывали разрушить до основания старый мир и стереть с лица земли присущие ему формы хозяйствования во имя “научной” (уже в их интерпретации “научной”) организации экономики, “исходные предпосылки функционирования” которой начали вырисовываться лишь через сто двадцать лет — в исследованиях академика Федоренкс и вверенного ему института...

Может быть, академик Федоренкс сгущает краски (из невинного желания повысить цену СОФЭ)? Нисколько. Все что писал в том же году с научной строгости социалистического экономического управления член-корреспондент АН СССР Н. Моисеев.

“Нужна систематическая, в союзном масштабе, координация исследовательской деятельности. И прежде всего, следовало бы: развернуть теоретическое изучение *самых принципов управления. Мы паразитально невежественны в этой области!* Когда стоит вопрос об управлении космическим кораблем, мы знаем, какая система обратных связей необходима, каково допустимое искажение информации и т.д. Говоря же о системе управления заводом или отраслью, мы ни на один вопрос из подобных вопросов ответить не можем. Хорошо это или плохо — пересматривать план один раз в год? Какими должны быть допустимые сроки переработки информации и т.д. и т.п.? Здесь можно только гадать. *У нас даже нет критериев оценки системы управления.* Вот почему необходим в первую очередь теоретический анализ с использованием ЭВМ и моделированием на ЭВМ.”

А в октябре 1968 года академик В. И. Трапезников в докладе на Всесоюзном совещании по автоматике и телемеханике в Тбилиси сказал:

“Мы неплохо владеем методами и средствами управления технологическими объектами, но в области управления широкими комплексами, организационными системами, условно иногда называемыми большими системами, мы, по существу, *лишь начинаем работу*”.

Что же, примем как факт, что в СССР, в конце концов, все же началась по-настоящему серьезная научная работа над принципами функционирования советской социалистической системы и ее опти-

мизацией в 1968 году, то есть через сто двадцать лет после опубликования Коммунистического манифеста и на пятьдесят первом году существования советской власти. Лучше поздно, чем никогда.

Почему же сегодня, спустя еще 15 лет, новый генсек и его главный идеолог констатируют, что эта работа так и не принесла существенных результатов?

Потому что работа велась официально, в "казенных домах" советской науки, а последняя в ее поисках, выводах и решениях поставлена в жесткие рамки. Научные исследования, научный поиск могут иметь и отрицательные результаты, которые, если они верны, обладают такой же научной ценностью, как и положительные. А советской науке во всем том, что касается потенциалов социализма в их сравнении с потенциалами конкурентной экономики, заказаны, запрещены под страхом суровой уголовной ответственности, отрицательные результаты. Сказать, что у социализма (с точки зрения народной экономики, а не целей партократической власти) преимуществ по сравнению с капитализмом нет, — нельзя: немедленно последует кара, как минимум исключающая любую возможность продолжать научную деятельность в этой области. Так было всегда. Ленин писал человеку, пытавшемуся в 1922 году выделить перед ним **общие принципиальные пороки советской машины управления**:

"...я вас обвиняю еще и в пессимизме насчет советской власти" (Соч., изд. 3, т. 29, стр. 415, док. 207).

А Черненко говорит через шестьдесят лет:

"Разумеется, новые факты могут вести к необходимости *дополнить, уточнить сложившиеся взгляды. Но есть истины, не подлежащие пересмотру, проблемы, решенные давно и однозначно...*" (Курсив Д.Ш.)

То, что эти "решения" ничего не решают в поставленных перед наукой задачах оптимизации социалистической экономики, не играет ровно никакой роли: из рамок этих однозначных и никуда негодных *с точки зрения народных интересов* решений выйти нельзя. Их разрешается лишь "уточнять" и "дополнять". Подите займитесь научным поиском в таких условиях!..

В упомянутом выше докладе 1968 года академик Трапезников говорит об анализе советской системы управления с точки зрения общих принципов функционирования так называемых "больших" или "сложных" систем. По этому пути рванулись в 1960-х годах советские ученые, причем не только и не столько гуманитарии, сколько естественники и технари. По-видимому, все-таки попытки анализа советского строя с общих системологических позиций



нет-нет да и возникают в легальной подсоветской науке и теперь. И Черненко предостерегающе на них откликается:

“Ведь давно известно, сколь малопродуктивны попытки механического перенесения понятий и методов естественных и технических наук на область общественных явлений, упрощенное толкование взаимоотношений природы и общества, что, по сути дела, мешает укреплению плодотворного сотрудничества этих наук с обществоведением”.

Таким образом закрывается одно из наиболее продуктивных направлений системологической мысли, строго доказывающее, что социалистическая экономика насильственно организована не подобающим для систем ее класса образом и что поэтому оптимизировать ее при “не подлежащих пересмотру” ее принципах невозможно\*.

---

\* Несколько слов о том, как зашла в тупик разработка СОФЭ — комплексного проекта оптимизации социалистической экономики, занимавшего в конце 1960-х годов ЦЭМИ АН СССР — институт, получивший на июньском пленуме ЦК резкий выговор от Черненко.

Для того, чтобы не выйти за рамки дозволенного, система оптимального функционирования экономики (СОФЭ) должна была оставаться централизованной, подчиняясь единому народнохозяйственному плану. Единый план обязательно должен строиться, исходя из единого же критерия блага — критерия оптимальности. Социалистическая, в том числе и марксистская классика предполагала, что этот критерий будет учитывать и отражать благо “как общества в целом, так и его каждого члена в отдельности”. Этому принципу пыталась следовать и СОФЭ. Но оказалось, что расчетным путем, без свободного рынка, на котором каждый реализует свои критерии, а общий складывается статистически, такой показатель выработать нельзя. Инициаторы СОФЭ признали это печатно. В своей книге “Кибернетические проблемы управления экономикой” (Изд. “Наука”, Москва, 1974) Н. Я. Петраков, заместитель Н. П. Федоренко в ЦЭМИ, рисует такую картину:

На высшем уровне системы “экономика” вырабатывается глобальный критерий оптимальности, который является обязательным для всех прочих уровней (предприятия, объединения, отрасли). Этот критерий спускается сверху вниз, так что на каждом уровне локальный критерий оптимальности задается вышестоящей инстанцией. Автор делает вывод, что “...критерий оптимальности экономической системы может быть введен лишь на основе анализа *всей совокупности общественных отношений, социально-экономической формации в целом*”. (Курсив Д.Ш.)

Затем, после вполне благонамеренных рассуждений об участии в выработке такого критерия всего советского общества, Н. Я. Петраков заключает:

“Все сказанное выше дает основания предполагать, что при определении аксиоматики оптимального планирования и управления постулат о наличии народно-хозяйственного критерия оптимальности должен быть дополнен постулатом *об априорной неопределенности этого критерия*”. (Курсив Д.Ш.)

Поскольку никаких принципиальных изменений в структуре производственно-экономических отношений не предвидится, то решительные улучшения ожидаются от массированного воздействия на идеологию, нравственность и дисциплину граждан.

В выступлении Черненко развернута тотальная программа подчинения граждан всех возрастов и категорий государственным и партийным требованиям. Она начинается с ориентации большинства школьников на учебу в ПТУ, а не в 9-10 классах, с наказа молодежи "трудиться там, где это требуется обществу сегодня", а не где хочется. Далее она перебирает все слои трудящихся и завершается призывом ко всему обществу не оставлять без внимания самые малейшие проявления чуждой идеологии и немедленно на них реагировать. К числу генераторов этой враждебной идеологии отнесены не только западные радиостанции, но и "некоторые писатели", "допускающие отступления от исторической правды, например, в оценке коллективизации", протаскивающие в печать "богоискательские мотивы, изображающие всяких неудачников", щеголяющие "нестандартным" толкованием их судеб и советской истории, "идеализирующие патриархальщину" и в итоге искажающие советскую действительность, отрицательно влияющие на читателей\*.

Как и в добрые сталинские времена, идеологический подход рас-

---

Причина этой неопределимости заключена в невозможности за реальный промежуток времени исследовать каждый раз при составлении и коррекции плана "всю совокупность общественных отношений" сверхсложной, динамичной, непрерывно, во всех своих частностях дрейфующей и струящейся "социально-экономической формации в целом". А без хорошо обоснованного глобального критерия оптимальности план будет произвольным. Остается либо настаивать на изменении системы, на включении в нее неподдельной конкурентно-рыночной самоорганизации, либо работать, служа лишь корыстным и произвольным критериям вершителей судеб советской науки.

После этого беспощадного вывода Н. Я. Петракова, дальше которого легально идти некуда, что же осталось Центральному экономико-математическому институту АН СССР, кроме отмеченных в докладе Черненко "замыкания в собственных "диссертационных" и "групповых интересах" и "мелькотемья"? Самиздат, Тамиздат или эмиграция? Они становятся все недоступнее, а тяга к ним — все опаснее.

\* Некоторые реплики главного идеолога партии свидетельствуют о наступлении на национальное направление в русской литературе. Это далеко не безобидное наступление. Напомним, что одного из наиболее ярких писателей-почвенников, В. Распутин, не так давно жестоко избивали на улице "неизвестные в штатском", а другой из писателей национального направления, Л. Бородин, получил десятилетний каторжный срок.

пространяется даже на эстрадную музыку. Черненко недоброжелательно упоминает "музыкальные ансамбли с программами сомнительного свойства", наносящие молодежи "идейный и эстетический ущерб".

На двух газетных листах перечисляются идеологические, пропагандистские и воспитательные задачи времени. Одновременно настойчиво предлагается срочно изыскать "меры экономического, организационного и правового порядка для самой энергичной борьбы с пьянством, хулиганством и тунеядством, спекуляцией и хищением государственной собственности, взяточничеством и стяжательством", для скачкообразного повышения трудовой и бытовой дисциплины граждан. Так формулируются насущные задачи "развитого социализма".

Примечательно, что Черненко отказывается видеть в перечисленных выше пороках "одни лишь "пережитки прошлого" в сознании и поведении людей. Причины многих "болячек", — говорит он, — следует искать и в сегодняшней практике". Но в чем именно — он не уточняет.

В основе марксистского исторического материализма лежит, как известно, убеждение, что бытие определяет сознание, то есть идеология определяется факторами базисными, в первую очередь — производительно-экономическими. Будь Черненко последовательным марксистом, он прежде всего задался бы вопросом: почему США при сравнимых природных ресурсах опережают СССР без той навязшей в зубах у агитаторов и агитируемых идеологической пропаганды, без того опостылевшего ведущим и ведомым коммунистического воспитания, которые в СССР не прекращаются ни на минуту вот уже шестьдесят шесть лет?

Этого угрожающего вопроса кремлевские старцы перед собой не ставят. Вместо этого они молчаливо корректируют своих вероучителей, ставя "надстройку" впереди "базиса" — идеологию впереди производственно-экономических отношений. И это понятно, при явной системной нерациональности "базиса", который они тем не менее изменять не хотят, им не на что надеяться, кроме идеологии и принуждения. Беспомощность первого упования — на идеологию — самоочевидна. А что сулит эскалация принуждения?

В некоторых границах она уже происходит, хотя вряд ли дойдет до масштабов, сравнимых со сталинскими, тотального его нагнетения не будет. Сегодня нельзя не учитывать: во-первых, изменившегося состояния общества — смерти в нем каких бы то ни было, даже

микроскопических, иллюзий, помогавших когда-то Сталину проводить тотальное принуждение; во-вторых, дороговизны и, в конечном счете, все-таки малоэффективности такого принуждения, особенно при нынешних технологических обстоятельствах; в-третьих, тотальное принуждение всегда принимает характер цепной реакции, опасной для верхних (находящихся непосредственно при диктаторе и под ним) и средних звеньев системы не менее, чем для масс. Террор останется выборочным. Но оптимистам по части грядущих андроповских "реформ" не мешало бы видеть, что этот выборочный террор не слабеет. Обыски-погромы в квартирах у неугодных новые лагерные сроки диссидентам, заканчивающим отбывание прежних, почти полное прекращение выезда из Союза, ужесточение преследований верующих — вплоть до сожжения заживо напалмом (См. "Русскую мысль" №3481 от 8.9.1983 г. на стр. 2, в рубрике "Из Советского Союза сообщают"); закон о трудовых коллективах, новые указы и местные постановления, делающие переход с работы на работу фактически невозможным (См. там же), массовая эксплуатация дарового детского труда. Не становится более умеренной и сдержанной и внешняя политика; напротив, продолжающаяся агрессия в Афганистане, непрекращающееся нагнетание напряженности на Ближнем Востоке и в Центральной Америке, наконец, варварское уничтожение южнокорейского авиалайнера с 269 пассажирами и членами экипажа — все это, пожалуй, достаточно ясно иллюстрирует курс на расширение экспансии, террора и запугивания.

Но эта, все расширяющаяся внешнеполитическая экспансия будет стоить режиму все большего внутреннего напряжения. По мере деградации собственной экономики каждый новый внешний успех будет обходиться дороже прежнего.

Однако запас резервов, а значит, и прочности, у системы велик. Режим будет жить и распространяться по планете, держась на внутренних паллиативах разного свойства и на всасывании из внешнего мира всего того, без чего он не мог бы долго сохранять неизменным свои тенденции и свою структуру. Вот если бы он был надежно заблокирован извне от инъекций хлеба, кредитов, техники и технологии!..

Но о столь фантастическом повороте событий вряд ли имеет смысл говорить.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Амос Оз

### В ЯРОСТНОМ СВЕТЕ ЛАЗУРИ

*Я ехал к Амосу Озу в Хульду, что примерно в 50 км от Иерусалима, поздним вечером по пустынной дороге. Было полнолуние, диск луны заливал светом дорогу и окрестные поля, словно осветительные снаряды были подвешены в ночном небе.*

*Это была наша вторая встреча; первая, как часто бывает в Израиле, произошла совсем случайно. Мы говорили тогда о политике и к согласию не пришли. Но Оз обещал, что в следующий раз ответит на мои вопросы об израильской культуре, и вот я ехал в Хульду по ночной дороге, залитой светом огромной, неправдоподобной луны.*

*Когда мы уселись у Оза в гостиной, я сказал хозяину, что только что снова испытал одиночество путника на бескрайних русских просторах.*

*Оз улыбнулся — и заговорил о своих русских корнях, русских связях, о великой русской литературе. Отсюда мысль его перешла к судьбам израильской культуры. Мы говорили до четырех утра.*

*Отрывки из этого — чего: монолога? интервью? беседы? — я предлагаю теперь вниманию читателей.*

Виктор Радужский

### Об Израиле

... Наша страна — чуть ли не единственное место в мире, где практически ни один человек не живет в том доме, в котором родился. И лишь немногие собираются умереть в том доме, в котором живут. У нас почти нет ощущения принадлежности к **нашему** месту, **нашему** региону, нет ощущения обжитого пространства. Это лагерь беженцев. О, конечно же, не палаточный лагерь, не бараки из жести, как это было в пятидесятые годы, но даже когда это итальянский мрамор, и датское дерево, и дом твой смотрит на все четыре стороны света — это все еще лагерь беженцев. И

нет никакой возможности "скачком" перейти в иное состояние. Тоталитарные страны железной рукой "переводят" свое население из одного состояния в другое, подавляя, отбрасывая, не замечая тех душевных состояний своих подданных, которые они предпочитают "не замечать". Силой водворяют порядок, чистоту, дисциплину, "цивилизованную жизнь". Цена всего этого, разумеется, страшная! У нас формы общественной жизни созданы, по сути, анархистами, которые не хотели организоваться. У них был анархистский идеал: организация только в том случае, если нет иного выбора. Так возникло общество, которое, с одной стороны, основано на крайнем индивидуализме, а с другой — на таком своеобразном "коллективизме": каждый хочет знать, что творится у соседа, но только так, чтобы сосед в его дела не вмешивался. Таковы обстоятельства, и выход из этой ситуации с помощью силы невозможен. Чтобы изменить что-либо, понадобится долгое время.

Особенно плохо дело в больших городах. Верно, многие скажут о себе, что они — иерусалимцы или тель-авивцы, но лишь немногие обладают настоящим чувством "местного патриотизма". Просто они живут в Иерусалиме или Тель-Авиве, там у них работа, завтра лучшая работа появится в другом месте, и они с легкостью оставят и Тель-Авив, и Иерусалим. Конечно, есть небольшое ядро, которое, по сути, и составляет "Иерусалим" и "Тель-Авив". Это особенно чувствуется в литературе. Я бы сказал, что в литературе понятия "Тель-Авив" и "Иерусалим" для меня столь же значимы и различны, как, скажем, для русского читателя понятия "Москва" и "Ленинград". Но это в литературе, это значимо для писателей, но не для большинства людей.

Все, о чем я говорю, выливается в непрерывный поединок человека с самим собой. Вдруг, словно забившись в истерику, мы начинаем наводить чистоту, порядок. Мы называем это "операцией", как на войне, присваивая своим "операциям" кодовые названия: "Операция Доноры!" — "Операция Долой дорожные катастрофы!" — "Операция За чистоту в микрорайоне!" В рамках этих "операций" мы улучшаем наши отношения с соседями, говорим им "доброе утро", становимся пунктуальными, вовремя приходим на условленные встречи. Короче, "операция" — постоянный атрибут нашей жизни. И это демонстрирует, насколько не органично развитие нашего общества: единым махом "бросили" в одно место сотни тысяч евреев со всех концов земного шара.

Поскреби любого и убедишься, что все мы — эмигранты. Даже если человек родился здесь и лишь родители у него эмигранты, он все равно тоже чуточку эмигрант. У него нет глубоких корней и глубокого чувства причастности.

Другая наша проблема — антисемитизм. Может, это прозвучит парадоксом, но самый интенсивный антисемитизм существует именно в Израиле. Мы — народ, которому много лет подряд твердили: “Ты плохой, изменись, будь другим!” Причины были разные, но всегда еврею заявляли, что он плох. Либо он плох, потому что слишком религиозен, либо потому, что в Бога не верит, либо слишком богат, либо слишком беден, либо “шибко грамотен”, либо — “отсталая масса”. Короче — с евреями всегда что-то не в порядке. И это твердили так долго, что в еврейскую душу закралось сомнение: что-то с нами не в порядке. А если человек чувствует, что с ним что-то случилось, то прежде всего он ищет причину... в ком-нибудь другом. Так рождаются “поля напряжений” в нашем обществе: к тебе пригпядываются, чтобы выяснить, где ты родился, к какой партии принадлежишь, каково твое отношение к религии. Эти напряжения принимают довольно интенсивную словесную форму. — потому что по сути своей мы народ, не склонный к насилию. В любой другой стране та поляризация, которая существует у нас между “Шалом ахшав” и “Гуш эмумим”, давно перешла бы в гражданскую войну. Если мы лишь кричим, бранимся — так ведь у других народов пускают в ход пистолет или нож! Мы в принципе не склонны к насилию. Я не скажу, что в Израиле совсем нет насилия, увы — это докатилось и до нас, но по сравнению с другими народами?! И то же в политическом плане: весь мир кричит, что Израиль раздираем противоречиями, что он накануне взрыва, но где он, этот взрыв? Я всегда напоминаю тем собеседникам из-за границы, которые порой весьма недружелюбно указывают на эти наши особенности, я всегда напоминаю таким собеседникам, что практически все ведущие страны и нации мира сформировались в результате кровопролитных гражданских войн. Америка стала сегодняшней Америкой лишь после того, как американцы убили миллион американцев. Флегматичная и джентльменски вежливая Англия знала кровопролитные религиозные войны, в которых участвовало не одно поколение англичан, убивавших друг друга. Франция “подарила” миру гильотину, изобретенную в одной из гражданских войн. Не стоит распространяться об Италии и Германии, а уж о России

все и сами знают. У нас же, после ста лет сионистского движения (если даже взять в расчет “дело Альталены”, “сезон” и “убийство Арлозорова”), за сто лет новейшей еврейской истории всего пятьдесят евреев было убито другими евреями при разных обстоятельствах...

#### Об отцах и детях

... И все же наш еврейский антисемитизм не остался без последствий. Именно он породил “ханаанское” движение. Это движение создали однако не те люди, что родились в Эрец Исраэль. Его создали учителя, писатели, воспитатели из Польши, России, Литвы, Украины, евреи, движимые страстным желанием, чтобы их дети превратились в “шейгецов” — так на идиш называют подростково-неевреев (женский род от этого слова будет “шикса”). Когда я был подростком, мои родители тоже любовно называли меня “шейгецом”. Я часто спрашивал себя: что побудило их, людей образованных, ученых, потомков раввинов и людей Книги, столь страстно желать, чтобы их сын был “шейгецом”? Чтобы он был белокурый, с голубыми глазами, чтобы не был похож на еврея? Чтобы у него не было ни еврейских жестов, ни еврейской чувствительности, чтобы он был простым и сильным? Это стоит в связи с тем, о чем мы уже говорили: мы, евреи, слишком долго слышали, что нам следует измениться, стать другими. Эта мысль в латентной форме присутствовала и в сионизме: была попытка освободиться от прошлого, начать новую страницу. Но что это значит — начать новую страницу? В природе животные, подвергающиеся непрерывным преследованиям, меняют кожу, меняют окраску, пытаются измениться до неузнаваемости. Так и у нас была попытка вырастить новое поколение, которое не походило бы на привычный образ еврея. Об этом никогда не заявлялось во весь голос, но отрицание идиш, отрицание галута, отрицание религии — проявления этих попыток. И новые, ивритские имена — в том же ключе. И наши эпические сказания на тему “солдаты-крестьяне”, “мускулистое еврейство”, еврейство силы, а не слабости, — о том же. “Самсон” Жаботинского — интегральная часть этих тенденций. Невозможно понять “Самсона”, если не представить себе типичного еврея, очкарика, сгорбленного над книгой. Без этого невозможно понять воскрешение образа Самсона, “тоску по железу”.



Позиция отцов всегда была амбивалентной. С одной стороны, они понимали, что необходимо сохранить наше духовное наследие, с другой — им виделся этаким сплав библейского Нимрода, героя-охотника, с рабби Нахманом из Брацлава, мистиком и мудрецом. Словом, знаменитая триада: стрелять, пахать, на иврите говорить. Первое же поколение детей, родившихся в Эрец Исраэль, продемонстрировало тяжкие результаты таких устремлений. Любое их мудрствование вызывало восторги и аплодисменты отцов: как же, впервые после двух тысяч лет! Не имел значения вид деятельности: политика, армия, литература, музыка — все вызывало бешеный восторг: наши дети делают это не хуже гоев! Поколение детей не видело всей глубины амбивалентности, не заметило трагичности ситуации: отцы хотели, чтобы дети выросли непохожими на них, и в то же время боялись, что это прервет связь поколений. Новое поколение росло с мыслью, что оно — самый драгоценный побег на стволе еврейского дерева: нет во всем мире людей более замечательных, чем они, умеющие пахать землю, скакать на коне, владеть оружием. Отсюда, кстати, пошло и амбивалентное отношение к арабам. С одной стороны, арабы — враги, а с другой — именно у арабов был взят слэнг, бранные слова, финджан, “чисбат” (сидение у костра, кофепитие, рассказывание историй). Даже часть эпоса, окружающего арабское бытие в стране, отсюда: благородный бедуин, гостеприимный феллах, то есть те, среди которых мы, евреи, хотели бы жить в мире на этой земле.

“Ханаанцы” получили весь этот комплекс взглядов в готовом виде, причем диалектическая сущность, амбивалентность ситуации или даже трагические элементы в ней были “ханаанцами” отброшены: они просто взяли готовую данность, не предаваясь размышлениям о ее сложной сущности, а рассуждая по-простецки: “Поскольку отцы все время твердят нам, что прошлое плохо, давайте это плохое прошлое просто-напросто отбросим, освободимся от него раз и навсегда!” Не было в Израиле ни одного молодого человека, который не прошел бы через “ханаанскую” ступень в своем развитии. Я тоже прошел через это. Неважно, чем занимаешься, уже одно то, что родился на этой земле, наделяет тебя магической силой, а тот, кто прибыл из галута, будь у него хоть десяток докторских степеней и говори он хоть на десяти языках, ничего не стоит в сравнении с твоим умением говорить на иврите без акцента и ориентироваться ночью на местности.

Когда “отцы” увидели результаты своей просветительской

деятельности, их охватила паника. Начались обратные процессы. В сороковые годы, во время войны за Независимость, руководство рабочего движения приняло программу, призывавшую молодежь заняться "поисками корней". Встреча с массовой анией 50-х годов вновь со всей остротой поставила проблему: если мы, уроженцы Израиля, будем "ханаанцами", то что связывает нас с этими евреями, прибывшими из всех уголков диаспоры, с мировым еврейством?

И тут "отцы" подняли перст указующий и объявили "детям": "А ведь вы-то дикари! Что с вами случилось? Где ваш еврейский гений? Где образованность, где чувствительность, где ирония?"

А "дети" — обиделись. Слишком уж резко восторги и похвалы сменились критикой и укоризной. "Ханаанское" движение было реакцией "детей". Я не говорю о той кучке интеллигентов, что группировались вокруг Ратоша, который восседал в иерусалимском кафе и разглагольствовал о Ваале и Астарте, о семье семитских народов. Я говорю о популярном, массовом ощущении, которое заполнило всю страну, увлекая даже тех, кто вообще не знал, что такое "ханаанство". "Чего от нас хотят? — вопрошала молодежь. — До сих пор мы были самыми лучшими и вдруг стали плохими? Мы хороши для войны и плохи для государственных дел? Мы — герои, которые завоевали эту землю в бою, не годимся, чтобы ею управлять? Значит, судьбу страны будут решать администратор из Парижа, советник из Лондона, судья из Германии? Нет, с этим нужно покончить! Мы отвернемся от стариков, от прошлого, от иудаизма, отбросим их претензии, перевернем страницу, начнем все сначала!"

#### Об израильской культуре

Первая попытка "начать сначала" была предпринята в литературе. Она потерпела полный провал (если не считать самого Ратоша, который при всем своем "ханаанстве" был глубоко еврейским поэтом). На сегодня у нас нет ни одной сколько-нибудь значительной творческой личности, которая оставалась бы приверженцем "ханаанства". Разумеется, есть немало литераторов, которые принадлежали к этому движению, но и они порвали с ним. Почему? Потому что если почвенный слой составляет всего два сантиметра, то растительность на нем весьма скудна. Отцветая, покрывая этот слой тонким слоем перегноя, эта скудная растительность готовит

почву для кустарника, который, перегнивая, создает почву для более крупных растений. Этот процесс должен длиться довольно долгое время, чтобы в конце концов появились могучие деревья. Здесь работает классический закон — невозможна цивилизация без временной протяженности, углубления времени, а мы — пример цивилизации, которая претерпела временной разрыв. Этот разрыв начался 200 лет назад в Европе, и не сионизм был тому причиной, сионизм — результат этого кризисного состояния, разлома нашей цивилизации. Цивилизация, которая претерпела такой разлом, проходит через ряд потрясений и переворотов, ее слои, перемешиваясь, то вдруг выныривают на поверхность, то низвергаются в пучину, идет непрерывное перемещение компонентов культуры. И на этом неустойчивом почвенном слое нет условий для произрастания мощной культуры, ибо для такой культуры требуется стабильность. Если присмотреться, великая литература никогда не расцветала в революционный период, как раз наоборот — великая литература плодоносит в конце революций и потрясений: в конце буржуазной эпохи, в конце эпохи царизма, в конце эпохи средневековья. Ренессанс — в конце! В конце афинской эпохи, на закате, в период угасания. В революционную эпоху есть и плакаты, и герои, но нет великих творцов. Это в меньшей степени верно в отношении лирической поэзии: лирика возможна в любой период, драма тоже возможна. Но эпос — это рыба, живущая либо в стоячей воде, либо в воде, которая едва движется. Если воды текут быстро, реальность недостаточно устойчива, чтобы можно было пустить корни. Стабильность культурной реальности проявляется прежде всего в языке. Когда ты говоришь “мужик”, тебе нечего пояснять: мужик в сапогах прямо перед тобой... Но что стоит за словом “крестьянин” в иврите? Йеменит из мошава? Очкарик-кибуцник? Парень из “Гуш Эмуним”? Или старожил — “йеке” из Рамат-Йоханан, на книжной полке которого “Процесс” Кафки соседствует с “Руководством по уничтожению вредных насекомых”?

Динамизм и мобильность нашего общества столь драматичны, что язык перестает обозначать, определять существующие явления, он сам претерпевает быстрые изменения, и это оказывает болезненное влияние на развитие нашей культуры.

Говоря коротко: тот, кто ожидает, что здесь, у нас, в ближайшие 30—50 лет расцветет великая культура, — ошибается. Что же расцветает на нашей культурной ниве? Ситуация духовной, интел-

пекгуальной напряженности небывалой остроты — вот что. И эта ситуация — начальное условие для расцвета культуры.

У нас все недовольны. Я могу указать довольных англичан, немцев, я уверен, что в России существуют миллионы русских, которые всем довольны. Но в Израиле нужно с увеличительным стеклом разыскивать довольного человека. Каждый из нас недоволен в силу своих причин: одному страна кажется недостаточно еврейской, другому — слишком еврейской, кое-кто считает, что государство слишком погрязло в анархии, а другой видит его чересчур тотализированным, одними наше общество воспринимается как чрезмерно интимное — нет никакой возможности от него отдалиться, другим оно чудится архипелагом островов, где каждый уединился на своем клочке суши. Если пройтись по стране и собрать все мнения, окажется, что нет двух схожих мнений и двух схожих причин для недовольства. При этом я исключаю политические разногласки, выношу за скобки всенародное согласие, что налоги у нас слишком высоки, улицы не блещут чистотой, а от шума некуда деваться.

Это плодотворное духовное напряжение, царящее в израильском обществе, — прямое следствие того факта, что у каждого из нас есть своя высокая мечта, свой высокий идеал, даже если мы порой не можем выразить его словами. Иногда — это мечта, которую человек привез с собой из своей прежней жизни, иногда такой идеал, напротив, — полное отрицание того, что было в прежней жизни, иногда — это идеалы, навеянные Библией, гоской по библейскому бытию, а иногда — воспоминание о том бытии и мире, которые были — и разрушены. Люди, желая изменить место, подменяют это переменной во времени, хотят изменить время — утверждают, что меняют место. Я считаю, что это плодотворная ситуация, хотя в ней есть "болевые точки". Я однажды говорил с наэлектризованной прозе Бупгакова. Так вот, наша земля, ее духовная атмосфера — наэлектризованы. Если в одной комнате собираются 3—4 человека, наверняка происходит нечто такое, чему нет аналога ни в одной другой точке земного шара. У нас не ведут эжливых, необязательных разговоров. О, конечно же, и у нас говорят о футболе, бирже и зарплате, но затем, когда тонкий слой этих проблем бывает исчерпан, разговор не становится тривиальным. Люди говорят об очень важных вещах. Даже когда у нас говорят о политике, разговор идет не об одной лишь политике. Говорят о смысле жизни. У нас не говорят о политике, как, к при-

меру, в Америке, в Англии или в Германии: какая из партий мне лично удобна в качестве правящей, кто сумеет обеспечить лучший порядок в стране? Наши разговоры о политике — это разговоры о Жизни и Смерти, о Культуре, о Смысле Жизни. Наша беседа может начаться со сплетен: Бегин таков, Перес таков, а уж Рабин и вовсе таков! Но если беседа затянется за полночь, она превращается в метафизическую, даже если собеседники не знают, что такое метафизика. Либо она становится религиозной, хотя ее участники иногда и думают, что с религией у них ничего общего.

Все это — многообещающие условия для развития культуры. Но нужно точно сознавать, что плоды этого культурного процесса нам не удастся пожать завтра. Тот, кто ожидает, что завтра у нас объявится Кафка из иерусалимского квартала Гило, или Достоевский из кварталов, заселенных простым людом, или Томас Манн из новых роскошных застроек, должен забыть о своих иллюзиях. Не так рождается культура. Для этого требуется углубление во времени и историческая непрерывность, которая у нас как раз была нарушена. Примечательно: в мировой литературе почти нет великого писателя, который не вырос бы “на коленях бабушки”, как говорится. Кто в Израиле может похвастаться такой роскошью? наших бабушек сжег Гитлер. А если им и удалось добраться сюда, то они говорили на идиш, которого мы не понимали. А если они говорили на иврите, то мы не понимали, что они говорят. Кто из выросших в Израиле может описать дом, в котором родились его отец и мать? Наши родители, кстати, не очень-то и хотели о нем рассказывать, они его стыдились. Где еще в мире найдешь общество, которое с такой страстью создавало бы культ “детей”, так по-язычески, почти с истерией, служило бы этому культу? Все эти особенности затрудняют реализацию того духовного напряжения, о котором я говорю. Поэтому необходимо запастись терпением. Это не означает, что нужно пассивно ждать. Напротив, необходимо непрестанно понуждать себя к диалогу — к диалогу с людьми, чьи идеи и мысли далеки от твоих, будь то по идеологическим, религиозным, этническим или культурным причинам. Только такие диалоги и могут поддержать нашу “наэлектризованную” духовную атмосферу. Если мы хотим, чтобы у нас возникла культура, мы должны задействовать весь богатый арсенал “духовных зарядов”, электризирующих нашу жизнь, столкнуть их в непрекращающемся противостоянии — не только в плане идей, но и в плане чувств, способов речи, ментальностей, манер

поведения. Многое из этого происходит спонтанно: Израиль — маленькая страна, здесь все встречаются со всеми — в армии, на резервной службе, в быту.

Я спрашиваю себя: на какой почве произросла великая русская литература XIX века? В самом общем виде я бы охарактеризовал ее возникновение как результат напряженности, царившей в России того времени, — напряженности, которая была порождена любовью-ненавистью к Западу. Если бы Россия оставалась лишь в рамках славянского мира, замкнутая в себе, без проникновения Запада — у нее была бы сегодня литература того типа, что сейчас существует в Египте. Если бы Россия поддалась тотальному влиянию Запада, она сегодня представляла бы собой духовную пустыню, уподобилась бы Канаде. Именно эта духовная напряженность, противоборство с Западом, породили и Достоевского, и Толстого. Россия ненавидела Запад, но не могла жить без него. В сущностном плане мы сегодня находимся в сходном состоянии. И не только по отношению к Западу: мы в сходном состоянии и по отношению к нашему иудейскому наследию — невозможен возврат к жизни по галахическим законам, к жизни в гетто, но и без иудаизма мы существовать не можем. Сходная ситуация и в отношении тех социалистических идей, которые исповедывались создателями государства. Мы уже не можем жить по этим идеям, но и не можем с ними расстаться. Все это — параметры той духовной напряженности, из которой в конце концов рождается культура. Только не следует, зажав в руке секундомер, вопрошать: "Где же она, черт побери?!"

Когда я говорю "культура", я не утверждаю, что это — нечто обратное "дикости". Россия Толстого и Достоевского (а до того — Гоголя, как и впоследствии — Чехова) была страной дикой. Русская улица была вотчиной дикарей, русская деревня по дикости своей не уступала деревне где-нибудь в Африке. Это известные факты. И тем не менее там и сям, в разных уголках, расцвела культура, которая изменила весь мир, а не только Россию. Россия времен великих писателей, философов, идеологов была страной куда более дикой, чем Швейцария. Тем не менее Швейцария не породила ни Толстого, ни Достоевского, ни Гоголя, ни Чехова. Потому что в культурной атмосфере Швейцарии не было этого духовного напряжения, не было глубокой амбивалентности. Швейцария была страной статической и осталась ею. Россия — динамична. Мы тоже динамичны, хотя это порой и стоит нам крови. И когда

я говорю, что у нас возникнет культура, я не могу гарантировать что при этом наши улицы будут чистыми. Вполне возможно, что в этом доме будет сидеть и писать наш Достоевский, а улица снаружи будет, увы, все еще далека от идеальной чистоты. Наши распространенные амбиции: создать за 30 лет культуру, которая сравнилась бы с великой русской или английской, а в то же время стиль жизни чтобы был швейцарский, а общественный порядок скандинавский — это наш еврейский “бзик”! Так не бывает! Мы останемся средиземноморской страной. С великой культурой или без нее — я не знаю, но наверняка средиземноморской. Мы не уподобимся Скандинавии или Швейцарии, не станем похожими на Рим — уж скорее на Южную Италию, на Испанию, на Грецию. Я не переживаю из-за этого. Есть люди, которые втайне тоскуют по Швейцарии, Скандинавии и даже по Германии: чтобы поезда ходили по расписанию, чтобы люди были вежливы, не забывали сказать: “Данке шен, битте шен”, чтобы царила корректность и улицы подметались аккуратно. Но здесь этого не будет. Мы — средиземноморский народ, хотим мы этого или нет, даже вне всякой связи с “ханаанством”. Мы, например, 8–9 месяцев в году живем вне дома, так требует наш климат, — и это формирует облик наших улиц и нас самих, этого не изменить. Вопрос в другом — какой облик примет наша средиземноморская страна? Уподобимся ли мы нынешней Греции или Греции времен Сократа, Платона, Аристотеля, Эсхила и Эврипида? Эрец Исраэль времен пророков тоже был средиземноморской страной...

У нас есть основания надеяться на возникновение великой культуры, но это не значит, что мы можем пассивно ждать. Мы должны расчистить ей почву, а для этого нужно прежде всего отказаться от наших многочисленных культурных гетто. Я боюсь, например, что люди, сплотившиеся вокруг “22”, тоже строят гетто. Я не бросаю в них камни: возможно, что на их месте, если бы мне не хватало сил, я делал бы то же самое. Но я сожалею. Нам необходимы не новые гетто, а диалог, постоянная ситуация непрекращающегося диалога разных, порой — полярных мнений, идей, позиций. Даже когда такой диалог раздражает и выматывает душу! В таком диалоге, который обычно у нас в стране начинается с аспектов политических (что вполне естественно), самое важное — не остановиться на политических разногласиях, а совершить “прорыв в метафизику”. Наши беседы никогда не начнутся с обсуждения новых стихов Амихая или пьесы Левина, мы всегда

начинаем с кардинального: где пройдут границы государства, возвратим ли мы Западный берег, за или против палестинского государства. Таковы наши отправные точки, ничего не поделаешь. Важно лишь, чтобы это были именно отправные точки — для обсуждения пьес и стихов, вопросов религиозных и моральных, проблем культуры и судьбы.

#### Об израильской литературе

Я уже говорил, что поэзия и драма не нуждаются в эпической стабильности. Лирика обнимает лишь малую часть окружающего мира, не претендуя на тотальный охват событий и идей. Я бы сравнил это с молнией в ночи: для эпоса необходима вся ночь, лирика довольствуется одной лишь молнией, которая сверкнет — и исчезнет.

Драма “сработана” из двух компонентов: типаж и конфликт. С этой точки зрения драма мало зависит от эпической стабильности, ее существование возможно и на менее устойчивой почве. Я бы сказал, что драма возможна и при землетрясении. Ибо и при этих условиях выполняются необходимые условия для существования драмы: есть и конфликт, и типаж.

В театральной жизни Израиля последних лет просматривается определенная тенденция: у нас гораздо легче создать комедию, чем трагедию. У нас практически нет трагедий. Их заменяют “черные комедии”, комедии ужасов. Таковы пьесы Левина. Его “Страдания Иова” — это комедия. Метафизическая комедия. Зритель, по сути, приглашен посмеяться. Достаточно вспомнить библейскую Книгу Иова, чтобы увидеть расстояние, отделяющее ее от пьесы Левина. В Книге Иова главное — это порядок, который в конечном счете всегда побеждает анархию, даже если та на короткое время торжествует. У Левина все поставлено с ног на голову. Бог и Сатана играют человеком в пинг-понг, но сами-то они, по сути, схожи.

Почему возможно существование такой комедии? Потому что есть библейская Книга Иова. Зритель, пришедший на пьесу Левина, знаком с библейской книгой, даже если не читал ее. В Израиле знают про Иова. Возможно, в Китае, в Японии не знают, но у нас это известные вещи. И комизм больших, серьезных страданий Иова в том, что он идет все той же дорогой, между тем как мир вокруг изменился, почва ушла из-под ног. Так ведь и с Чарли Чаплиным: когда он день-деньской закручивает гайки — это не



смешно, смешным это становится, когда рабочий день кончается, он идет домой, но продолжает закручивать несуществующие гайки. Так и Иов из пьесы Левина — продолжает закручивать, но гаек-то нет, кончились. Мир изменился.

Таков Израиль. Таковы мы все. Один приехал из России, другой родился в Иерусалиме, это не имеет значения — мы продолжаем закручивать нечто, а почва у нас под ногами иная, и смысл нашей работы иной, и мы пытаемся переделать самих себя в соответствии с изменившимся миром, но едва достигнув цели, убеждаемся, что мир снова изменился. Таков Израиль. Поэтому-то у нас расцветает лирическая поэзия, расцветает драматургия и все еще существуют серьезные трудности с прозой, с романом, с эпосом. Пока!...

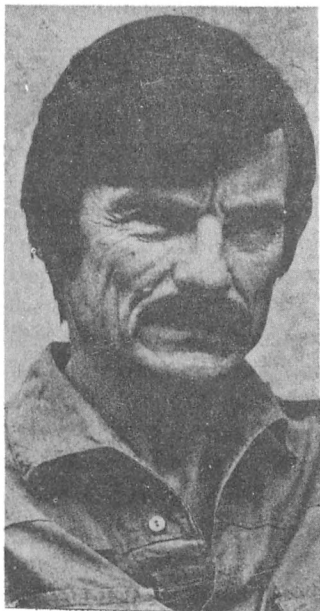
Несколько лет назад я написал обо всем этом книгу. Она называется "В яростном свете лазури" и говорит, главным образом, о расцвете литературы в период заката, в конце эпохи, а не в ее начале, не утром, не в полдень, а к вечеру. Отсюда и название: чтобы подчеркнуть, что мы-то далеки еще от вечера, мы ближе к утру, к началу дня. Так я писал:

"... В сумеречном свете, между закатом и неясным, мерцающим новым проблеском, стоял Данте на исходе средневековья и пороге Ренессанса. Так же стоят Сервантес и Шекспир — в коридоре, ведущем к новому времени. Подобно им, и великая русская литература: Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов — создавалась под колокольный звон погребения царской, православной России, обремененной годами, отяжелевшей традициями, верованиями, обычаями, религией, жизненным укладом, России со всеми ее градами и весями, дворянскими гнездами и освобожденными на волю крепостными, аристократией и разночинной интеллигенцией. Это была Россия агонизирующая, угасающая под ударами революционеров, идеалистов и нигилистов, но главным образом — под гнетом долгих лет, под тяжестью своей традиции и религии. И ее писатели — каждый сообразно со своим стилем — дети этой угасающей России. Все они — ее обожатели, ненавистники, обличители, убийцы, могильщики, произносящие надгробное слово, увековечивающие эту угасающую Россию, чтобы никогда не изгладилась из сердца память о ней..."

Поэтому скажу еще раз: великая литература — удел "конца времен".

*Перевел с иврита Виктор Радужский*

## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ



*Андрей Тарковский*

*Нина Воронель*

**ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
НОСТАЛЬГИЯ!**

Так и не вышло у меня на этот раз написать о Каннском фестивале, — наверно потому, что мой вариант сказки о Золушке не состоялся.

То ли какая-то мелкая шестеренка соскочила со своего ремнепровода в сказочном механизме мирового устройства, то ли я сама накликала эту беду в полузабытые времена незрелого юношеского бахвальства, побудившего меня написать складно и в рифму:

Полы я мыла и белье стирала  
И чистила кастрюли без конца,  
Но туфельки хрустальной не

теряла

На лестнице волшебного дворца.  
И юному наследнику в угоду  
Четыре ночи и четыре дня  
Не мчались по дорогам

скороходы,

Чтоб непременно отыскать меня.

А ведь теперь знаю: могли бы, могли бы мчаться. И отыскали бы обязательно, и туфелька пришлось бы мне впору. Но знание пришло непоправимо поздно, когда уже невозможно стереть написанное, чтобы скрыть от обидчивой Феи, как я заносилась, что не попала к ней в кабалу. И в наказание принцессы из меня не получились.

Что ж — не получилось, так не получилось, — считайте меня коммунистом и общий привет!

На этот раз чемодан для

поездки в Канны я складывала в соответствии со своим новым обликом современной деловой дамы (вот она — зрелость, увы!). Все строго-практично: туалет официальный и туалет вечерний — две легких блузки из магазина “Маскит” (кто не знает, пусть узнает — это наш израильский Диор), чтоб не ударить в грязь лицом и чтоб ничего лишнего с учетом пересадки в Риме — никаких хрустальных туфелек, Боже упаси.

Рим выглядел прекрасным и неумытым, как может выглядеть только вечный город, одолеваемый временными проблемами. Колизей хоть и стоял на своем привычном месте неподалеку от руин Форума, но роли в жизни города не играл никакой: он был лишь досадной помехой оглушительному всеобщему триумфу — римская футбольная команда в этот день впервые за последние сорок лет выиграла национальный кубок. Ясно, что в свете этого жизнеутверждающего события вся римская история с ее Ромулом, Ремом и их матерью-волчицей, с тремя десятками цезарей и сотней разрушительных войн, с ее поздним эллинизмом, ранним христианством и вторжением варваров, не стоила даже камеры футбольного мяча. Древний город затопили обезумевшие толпы, экзистенциально перебрасывая хлипкий временной мостик к эпохе вторжения варваров: до рассвета носились они на зловонных трескучих мотоциклах по отполированным веками плитам Аппиевой дороги, громыхали ревущими от восторга Фиатами по бульжникам Палатинского холма, швыряли звонкие жестянки из-под кока-колы в уцелевшие портики колоннад на Форо Романо. Намек на варваров был условный — у тех, бедняг, не было ни этой технической мощи, ни этого славного бензинного духа, ни этих слепящих синтетических красок — желтой и оранжевой, чтобы расписать лица, машины, волосы, платья, колеса и тротуары в цвета команды-победительницы.

Римский аэропорт был щемяще пустынен, носильщик на мой недоуменный вопрос печально отмахнулся: “Депрессия, никто к нам не едет” и потребовал добавочных чаевых. Но я в его правоте усомнилась: ночные ликующие толпы по-моему и слова такого не слышали — депрессия.

Над Ниццей громыхала гроза, и поезд в веерах брызг лихо пронесся мимо желтых станционных зданий, осененных очоченевшими пальмами, похожими на взъерошенных птиц, одного застывших на мокрых лужайках. Поезд был великолепно французский: никто не знал, в каком направлении он идет и где

останавливается. Когда в радужном полумраке закононого тумана промелькнул Антиб, я успокоилась насчет направления; оставалось только ждать, промчим ли мы на той же скорости и сквозь Канны. Выскочив из пропахшего знобкой сыростью тоннеля, поезд пустился стремительно перелистывать блестящие от дождя улицы Канны, и я уже начала прикидывать, откуда придется сюда добраться — из Парижа или только из Лиона, как он с разгону притормозил у знакомой платформы.

С первого взгляда все выглядело как в прошлом году — те же очереди у дверей кинотеатров, те же фантастические наряды, те же голые девушки на мокром пляже. Впрочем, девушки скорей всего были другие: прошлогодние, небось, уже вымерли от разочарований и воспаления легких. Но отличить их от новых было бы невозможно: лиц они не имели, только тела, — груди, бедра, животы, ключицы, щиколотки и ляжки. Всего этого так много, что каждое тело в отдельности теряло свой личностно-эротический смысл и становилось частью широкого ассортимента, приобретая тем самым марксово качество товара.

Если раньше я видела в этих девушках Золушек, мечтающих превратиться в принцесс вместе с мышами, превращенными в коней, то сейчас мне бросилось в глаза только их стремление стать товаром. Казалось этим стремлением охвачены все в Каннах; все режиссеры и продюсеры надрывались, чтобы превратить в товар искусство, и некоторые делали это столь успешно, что миновали ставшую сомнительной на рынке стадию искусства, сразу придавая результатам своего труда товарный вид. И потому искусством фестиваль порадовать не мог.

Возможно, такое резкое изменение угла моего зрения объяснялось просто скверной погодой или отсутствием в моем чемодане хрустального башмачка, — уж не слишком ли поспешно я его от туда выбросила, чтобы освободить место для двух элегантных блузок из магазина "Маскит", приличествующих облику деловой дамы, то есть, чтобы придать товарный вид и себе?

Вид был, похоже, вполне товарный, — я удостоилась десятков вспышек и щелканья фотокамер у входа в Пале Фестиваля перед началом вечернего просмотра: там загодя толпится стадо фотографов, снимающих всех, имеющих товарный вид. Ведь любой из них может оказаться Кем-Нибудь, если не сегодня, то завтра, и тогда публикация его портрета сразу окупит расходы на пленку, ужин и проезд в Канны.

Поток достойных фотографирования шурша вливался по дворцовой лестнице в новое здание Пале, где эскалаторов было не меньше, чем коридоров, а коридоров было столько, что никто никогда не мог бы дважды прийти в одну точку. Здание это, похожее на аэропорт, нависающий над Средиземным морем, открыли в этом году, навек покончив с хваленным кофейно-круассанным уютом Каннского фестиваля. Архитектура Пале лишена всякого уюта в соответствии с мироощущением современного человека: участники фестиваля часами мечутся по его неоглядным просторам среди стерильно-белых, ослепляющих афишной пестротой стен в поисках входа, выхода, буфета, туалета, оргкомитета, пресс-центра, просмотрового зала, своих друзей и самих себя. Возникающее в результате душевное состояние очень способствует правильному восприятию последних достижений кинопромышленности.

Единственно, когда невозможно потеряться в лабиринтах нового Пале, это перед началом вечернего просмотра, который и есть ключевой момент фестивального дня, его апофеоз и его катарсис, его магнитный, электрический, эмоциональный и финансовый полюс. "Такседо, такседо и только такседо!" — предупреждают счастливица, допущенного на это таинство, все правила фестиваля, устные и письменные. Это замечательное слово, напоминающее по звучанию магическое заклинание, обозначает вовсе не актерский талант и не режиссерское умение, а всего лишь пиджак типа смокинга — с длинными фалдами и атласными отворотами, без которого особь мужского пола не может проникнуть в Большой Зал Пале, даже обладая она сотней других, не менее важных достоинств.

Узкой извилистой лентой, строго очерченной сизой стеной полицейских мундиров, струится поток черных такседо по зелени дворцовой лужайки. Множество особей мужского пола в напряженном молчании медленно маршируют по направлению к полукруглому portalу, оправляя на ходу длинные фалды и атласные лацканы своих такседо, делающих их всех похожими на официантов ресторана "Карлтон-отеля". А может, некоторые и впрямь официанты, получившие в свой отгульный вечер чаевые в виде заветных приглашений, — кто их знает, ведь не все же здесь Годары и Феллини. Тут и там вкраплены в черное яркие блестящие дамских вечерних туалетов, капризом моды разделенных на два типа — длинные до полу и короткие до причинного места.

Я тоже медленно марширую вместе со всеми, оглаживая кру-

живые оборки блузки из магазина "Маскит", подавленная торжественностью молчания и пронзительной волной зависти, которая физически-ощутимо исходит от глазающей из-за полицейских спин толпы зевак, затопившей набережную Круазетт. Я всей кожей чувствую, как зависть эта касается моего лица, проникает за шиворот, вызывая по всему телу колочие мурашки, и с облегчением покидаю зеленую упругость лужайки, чтобы начать восхождение по лестнице, ведущей в зал.

В добрые патриархальные времена старого Пале восхождение это состояло из семи гранитных ступеней крыльца, плавно переходящих в короткий мраморный марш вестибюля. У крыльца плотным занавесом дежурили полицейские, вниз к морю еще плотней прессовались любители кино. Лестница нынешнего Пале пологой спиралью уходит вверх, создавая впечатление, что она завершится взлетной полосой — так и кажется, будто устремленная вверх стая черных такседо, обретая к концу пути подъемную силу, взмывает туда, где только небожители собеседуют с небожителями. А вслед за ними их дамы — те, что в длинных платьях, придерживая юбки, а тем, что в коротких и придерживать нечего, — но зато какое удовольствие следить за ними снизу, пока сам еще не взлетел!

Я поднималась неспешно и чинно вместе со всеми, почти готовая вместе с ними взлететь, если понадобится, — стены лестничного марша, стерильно-белые, были плотно оклеены афишами предстоящего фильма. Они повторяли многократно в такт шагам одно и то же слово, зеленое по темно-коричневому полю:

"НОСТАЛЬГИЯ"  
"НОСТАЛЬГИЯ"  
"НОСТАЛЬГИЯ"  
"НОСТАЛЬГИЯ"

И так двадцать шесть раз, без перерыва. То есть я насчитала двадцать шесть ностальгий, но было их там намного больше, — ведь я не сразу принялась считать. И под каждой ностальгией стояло имя режиссера — Андрей Тарковский, производство СССР—Италия.

Огни в зале были уже пригашены, создавая впечатление последних золотистых сумерек, в мерцающем полусвете которых особенно четко вырисовывалась огромная, как летное поле, сцена, опоясанная бесчисленными глиняными горшочками с пенистыми розовыми цветами. Позади сцены круто взмывало под крышу неоглядное полотнище экрана — Экрана с большой буквы, — оно

упруго трепетало под напором крылато нацеленных в него крупных и мелких тщеславий. В центре сцены под сенью Экрана печальным ангелом стоял Андрей Гарковский, бледное треугольное лицо это все время нервно подергивалось, закидывая певый угол усатого рта к затравленному пермонтовскому глазу. Конечно, он стоял там не один, а окруженный суетливой сворой распорядителей, соучастников и переводчиков, но их присутствии несколько не сглаживало и не смягчало того непроницаемого одиночества, которое досталось ему откуда-то свыше вместе с пермонтовскими усами в придачу к строчке "зыхожу один я на дорогу".

"Понятие "ностальгия", — сказал Гарковский в зале по-русски, и переводчики торопливо залопотали в микрофоны по-своему, несколько не нарушая этим это одиночества, — непереводаемо ни на какой иностранный язык. Только по-русски оно означает так много, только по-русски оно так эмко: здесь и госка по родине, и госка по утраченной молодости, и многое другое".

В зале захопала, свет погас окончательно и по экрану поползли гитры.

Над мокрым, скудно освещенным полем клубился туман, его рваные клочья колыхались в почти полной тьме, то разрежаясь слегка, то сгущаясь в непроглядные комья. Где-то за туманом эхала машина, увидеть ее было невозможно, но сквозь туманную глухомань иногда пробивалось надсадное зорчание мотора. Туман клубился и полз, клубился и полз, клубился и полз, а машина гужилась прорвать его и зыехать в поле зрения, но никак не могла. Это длилось так долго, что у меня даже зубы заняли; в зале перешептывались и кашляли. Наконец, хлопнула дверца, — похоже, машина осознала тщету своей борьбы с туманом и сдалась.

Женский голос приглушенно сказал по-русски с сильным акцентом:

— Вот и прыехальи!

А мужской ответил резко, на смеси русского и итальянского:

— Я зедь просил, парле итальяно, пожалуйста!

Но женский не унимался:

— Поглядьи, как крась:во! — воскликнул он и тут же поспешно перевел восторг на итальянский, это уже на бегу, удаляясь в сопровождении чавкающего припева Башмаков по жидкой грязи.

Сердигый мужчина за нею в болото не последовал, он остался где-то поблизости, еще раз хлопнул в темноте дверцей и проворчал ненавистно по-русски:

— В гробу я видал ваши красоты, чтоб зы ими подавились!

И опять заклубился туман, наползая и отползая, сгущаясь и разрежаясь, пока в белесой его дымке не прорезалось светлое окошко; в окошке взбежали на пригорок деревянные дома русской деревни. Из туманных хлопьев вынырнуло мужское лицо на негативном отпечатке киноплёнки, так что лицо выходило черным, а волосы белыми. Негативный мужчина тоскливо смотрел из тумана, как в далекой русской деревне маленький мальчик взбегает на пригорок, откуда машет ему женщина с зенком кос вокруг головы. Тугие косы эти строго обвивали шелковистую округлость ее затылка и короной возвышались надо лбом, не в пример неорганизованной гриве обладательницы итальянского акцента, вынырнувшей со временем из туманной тьмы начальных кадров в дождливую полутьму последующих.

Символика "ностальгии" постепенно проступала сквозь мутную сетку дождя, заливающего экран: герой его, Андрей Горчаков (надо же, какая фамилия красивая, нет, чтобы Горшков или Торчков, как это в жизни бывает) помогал режиссеру Андрею Тарковскому преодолеть Эдипов комплекс его предыдущего фильма "Зеркало".

В свете этого мучительного преодоления становилась понятной непреходящая черная меланхолия нашего двуликого Андрея, приехавшего из солнечной России в промозглую эт вечной сырости Италию, чтобы увидеть, наконец, воочию те памятники средневековой архитектуры, о которых он в течение многих лет читал лекции студентам. Ведь его томит ностальгия по семейному уюту "Зеркала", где он был счастливо женат на собственной матери — как говорится, "и дома, и замужем". Факт этого кровосмесительного брака удостоверяется в "Зеркале" не только тем, что режиссер поручил роль и матери, и жены героя одной и той же актрисе, не затрудняя ее даже переодеванием и гримом, созвучным эпохе, но и тем, что в глазах матери-жены сын-мальчик то и дело занимает место мужа-мальчика, так что к концу фильма вовсе непонятно, кто кому кем приходится. И последнюю точку над "i" ставит отсутствие в фильме отца, то ли арестованного, то ли погибшего на фронте, но в любом случае безжалостно удаленного режиссером из экранной жизни согласно канонам Эдипова комплекса, чтобы обеспечить себе ничем незамутненный союз с матерью.

В "Ностальгии" почти преодоленное стремление героя жениться на собственной матери прорывается только изредка, когда



он в ностальгическом отчаянии пытается жену "уматерить" и когда сам не знает, кто же этот мальчик, взбегающий к дому на пригорке, — он сам или его сын. Зато проблему отца режиссер решил воистину мастерски: не впуская его на экран и таким образом увиливая от непосредственного общения с объектом слишком недавней и потому неостывшей еще ненависти, он часто и подолгу читает вслух его стихи. Тут уж вовсе смешались все сознательные и подсознательные потоки, обильно орошаемые потоками щедро текущей по экрану воды: по фильму стихи принадлежат перу Андрея Горчакова, по жизни — перу Арсения Тарковского, отца Андрея Тарковского, того самого, который после успеха "Андрея (опять Андрей, что за наваждение! — а ведь это "муж" по-гречески) Рублева" говорил мне с горьковатой (горчаковатой) иронией: "Если раньше девушки спрашивали — кто этот вертлявый юнец? — им отвечали: это сын знаменитого поэта Тарковского. Если теперь они спрашивают, кто этот хромой старик, им отвечают: это отец знаменитого режиссера Тарковского".

Тут уж весь фрейдовский расклад налицо: и соперничество поколений, и соперничество поэзии с кино, и соперничество мужское — за благосклонность прекрасных дам. Но за годы, протекавшие (ведь у Тарковского все именно течет, а не передвигается каким-либо иным способом, — и время, и стихи, и судьбы) между "Зеркалом" и "Ностальгией", юношеское неприятие отца у Андрея, постепенно остывая, переплавилось в форму идеологического к нему почтения, свойственного зрелости. Враждебность, правда, еще не остыла настолько, чтобы допустить физическое присутствие отца в кинопространстве, но голос его поэзии уже заполняет все эмоциональное пространство фильма, преображаясь там в некое видимое Божество, витающее над водами. Этот образ вовсе не условный, ибо многие кадры "Ностальгии" представляют собой разнообразные эффектные сцены "из жизни воды" — потоки, заливающие нижние этажи заброшенных зданий; хлюпающие мокротой болотистые луга; радужный пар над горячими источниками; прозрачные струи, омывающие позеленевшие от времени скульптуры, и т. д. — озвученные пространством чтением стихов Арсения Тарковского.

Пригасив свою неприязнь к отцу, Андрей одновременно уже не с прежним пылом стремится к союзу с матерью, и потому намеки на ее отождествление с женой Горчакова не так прозрачны,

как в "Зеркале", зато жена все еще олицетворяет собой покинутую героиню мать-Родину.

Вот тут-то и начинаются загадки. Сюжетно все вроде бы просто: Андрей Горчаков, специалист по итальянской архитектуре эпохи Возрождения, приезжает в Италию пощупать собственными руками старинные камни, которым отдано его сердце. Казалось бы — щупай и радуйся, что добрался, так нет: наш Андрей сразу по приезду оказался во власти неодолимой тоски по собственному детству с домом на пригорке (или он только в Италии осознал, что уже не мальчик?), по оставленной в России жене, той, что с венком кос надо лбом, по сыну, избегающему на пригорок, который сливается в его сердце с памятью о себе, избегающем на пригорок; и по Родине, сливающейся в его сердце с образом жены. Тоска эта столь же неизбежна, сколь необъяснима, и потому хочется спросить у самого Тарковского, отчего это его герою так плохо.

Просматривая беседу Тарковского с каким-то дотошным итальянским журналистом перед самым началом съемок, наткнувшись на провокационный вопрос: как режиссер думает увязать свое пессимистическое восприятие мира с оптимистическим образом жизни Италии? Режиссер отвечает уклончиво и невнятно: "пессимизм его продиктован глубоким беспокойством за человечество и потому не может быть преодолен просто при помощи жизнеутверждающих склонностей итальянского обывателя". Раскрыв таким образом свою задачу не допустить победы бездумного оптимизма над обоснованным пессимизмом, режиссер честно сделал все возможное, чтобы эту задачу выполнить. Италия "Ностальгии" — это мрачная страна безлюдных руин, неосвященных колоннад, заболоченных полей, полузатопленных домов, замусоренных улиц. Смотришь и диву даешься — и как они там живут, бедняги? Так и хочется спросить участливо, как спросила внучка Корнея Чуковского, услышав, что дед жил при царе: "Бедненький, как же ты выжил?"

Вялую покорность, с которой итальянцы принимают свое беспросветное существование, можно оправдать разве что умственным и духовным их убожеством: как бессловесные призрачные тени, бродят они по мрачным храмам, ютятся в затопленных подвалах разрушенных городов среди свалок и болот, часами мокнут в водах горячих источников, сливаясь постепенно с радужными парами, клубящимися над их безвольными головами. Единст-

венный человек, который “звучит гордо” и потому удостаивается чести быть допущенным в собеседники возвышенного героя Тарковского — это сумасшедший профессор математики Доменико, разделяющий пессимизм Горчакова и дополняющий его по противоположности. Сам Тарковский так характеризует Доменико: “Он, подобно незащитному ребенку, действует безотчетно и безрассудно, восполняя таким образом то, чего недостает Андрею”.

Пока безутешный Андрей медленно и со вкусом переливал свою тоску из одного мокрого кадра редкой красоты в следующий не менее мокрый и не менее прекрасный кадр, большая часть зрителей успела разбежаться: вокруг меня то и дело слышались мягкие щелчки покинутых кресел и поспешные шаги беглецов. Непереводимая русская ностальгия никак не укладывалась в рамки “простой любовной истории”, обещанной Тарковским, ни в глазах заскучавших зрителей, ни в душе пышноволосяй переводчицы Горчакова Евгении, в которую он по замыслу автора был влюблен. Это была специфически российская любовь, описанная во многих романах и анекдотах: влюбленный герой, не соглашаясь на приятную интрижку, требовал от легкомысленной итальянки только полной отдачи, полного взаимопонимания и преображения ее в привычную ему Мать с большой буквы, ибо искал не радости, а страдания.

Вслушиваясь в сердитое итальянское стрекотание Евгении, я разделяла ее недоумение: чего ему надо? Почему он отказывается с ней переспать? Почему он требует от нее того душевного слияния, которое сам признал невозможным? Для чего он ставит перед собой неразрешимые задачи?

Пока я пыталась ответить на эти вопросы, Андрей тихо лежал на кровати в затемненной комнате с одним-единственным окном, выходящим в залитый слезами дождя сад. Он лежал тихо и неподвижно, как мертвый, силуэт его был едва различим в мутной полутьме комнаты. Секунды стекали по стеклу дождевыми каплями, перерастая в минуты — бегство из зала приняло повальный характер, так что топот многих ног заглушал иногда шорох дождя. К исходу третьей минуты в глубине комнаты появился едва различимый силуэт собаки, собака вскочила на кровать рядом с неподвижно распростертым Андреем, слилась с темнотой и тоже замерла. Секунды потекли еще медленней, наполняя зал ощущением отчаяния, невыносимого до боли в суставах, а к концу

пятой минуты полной неподвижности и тишины в комнате слегка прояснилось и оказалось, что на кровати рядом с Андреем лежит женщина с венком кос вокруг головы, беременная — где-то на последнем месяце. При виде ее огромного, чуть не до потолка вздутого живота Андрей вскочил, как ужаленный, и выбежал из комнаты, чтобы увидеть, как маленький мальчик избегает по залитой солнцем дороге к дому на пригорке, откуда машет ему все та же вездесущая обобщенная Мать в венке кос, на этот раз уже не беременная ни им, ни его сыном.

Вот тут-то и пришлось кстати стихи обобщенного отца, Арсения Тарковского, в изобилии прочитанные голосом Горчакова над стоячими, текучими, летучими и прочими водами, — похоже, они помогали ему избавиться от тяжкого комплекса вины.

Вины перед кем? Вины за что?

Ведь Горчаков, безвольно скользя по течению фильма, не совершает ни одного поступка, ни хорошего, ни плохого, так что ему нечего стыдиться, как, впрочем, нечем и гордиться. И даже когда его единственный друг, безумный Доменико, выходит на площадь, чтобы совершить тщательно подготовленное самосожжение, цель которого — доказать миру, что безумен мир, а не Доменико, Андрей не пытается предотвратить самоубийство и остановить друга. Он только, уподобляясь белому медведю в зоопарке, долго-долго бежит по пояс в воде по затопленному залу какого-то дворца, прикрывая полый пальто крохотное дрожащее пламя зажженной им в знак солидарности с Доменико свечи, и шепчет при этом голосами всех трех чеховских сестер: "В Москву! В Москву! В Москву!"

Я вышла из зала, пытаюсь убедить себя, что Андрей Тарковский, создатель "Андрея Рублева" и "Сталкера", искренне полагает, будто только "в Москве" существует истинная любовь (с зенком кос надо лбом), истинная высокая духовность (давно утерянная растленным капиталистическим обществом) и истинная связь человека с природой, (давно прерванная обывательским образом жизни Запада, ценящего комфорт превыше всего). Впрочем, насчет комфорта я сразу с ним согласилась; ведь я еще не совсем забыла прелести русского комфорта, приближающего к природе особенно хорошо при помощи зимнего сортира на улице без слива и отопления.

Я переворачивала детали фильма и так, и этак, пытаюсь прочесть замаскированную художественную весть его автора, но

ничего путного не выходило. Я чувствовала себя как традиционный сыщик из детективного романа, каждое хитроумное построение которого разваливается из-за какого-нибудь очередного несоответствия. Недостающую деталь мне подкинули непредвиденные события следующего дня.

Рано утром меня разбудил телефонный звонок: группа голландских тележурналистов умоляла меня помочь им взять интервью у Тарковского, который отказывал им, ссылаясь на отсутствие его англо-русского переводчика. Я немедленно согласилась, подогреваемая нестерпимым любопытством. Услышав, что переводчик есть, Тарковский пообещал выделить голландским ребятам пятнадцать минут через полчаса, так что они еле-еле успели за оставшееся время дотащить до "Карлтон-отеля" тяжелую аппаратуру. Впрочем, они были так счастливы своим успехом, что аппаратура не казалась им тяжелой.

Из вестибюля они позвонили в номер Тарковского, как было договорено. Телефон не отвечал. Я, конечно, сразу учуяла недоброе, но наивные голландцы, все еще ликуя, поволокли свои камеры и прожекторы на третий этаж, к дверям номера Тарковского. На стук в дверь никто не ответил. Я молчала, предвидя знакомый исход. Мальчики продолжали стучать все настойчивей, не понимая, что могло случиться: ведь Тарковский полчаса назад пообещал, что будет ждать их в номере. Вдруг дверь соседнего номера распахнулась, на пороге возник средних лет сухощавый молодец, на лице которого стояла несмываемая печать той организации, которой он служил в чине не ниже майора.

— В чем дело? — спросил он по-английски со следами русского акцента.

— Мы от голландского телевидения... господин Тарковский... интервью... — залопотали наперебой неподготовленные к подобным инцидентам мальчики. Я не вмешивалась, понимая, что могу только навредить.

— Господин Тарковский не может дать интервью, у него нет переводчика, — отрубил майор непререкаемо.

— А у нас есть. Вот переводчица... она согласна... и господин Тарковский тоже...

Наметанным профессиональным взглядом майор охватил все детали моей семитской внешности, быстро и умело пропустил их сквозь личный черепной компьютер и выдал отрицательный ответ:

— Мы не пользуемся переводчиками со стороны. Если надо, мы приглашаем своих, — и приготовился захлопнуть дверь.

Оператор, которому пришлось нести особо тяжелые части оборудования, ухватился за ручку двери, как за последнюю соломинку, и потащил дверь на себя.

— Но господин Тарковский нам обещал! Он обещал нам! — кричал оператор так отчаянно, словно приглашал самого Господа Бога в свидетели творящейся несправедливости.

Майор опять быстро пропустил нужные данные через черепной компьютер — на этот раз ответ был положительный: он бросил взгляд через плечо внутрь комнаты, застывшей в напряженной тишине. Оттуда, словно марионетка на ниточке, быстро выбежал взъерошенный Тарковский, повторяя на бегу одну и ту же фразу-заклинание, будто она была запрограммирована в нем, как в шарманке:

— Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал!

— Вот видите, господин Тарковский никому ничего не обещал, — проворковал майор с отеческим укором, но ласково, очевидно прощая глупым мальчикам их ребяческую ложь, и на этот раз закрыл дверь беспрепятственно, одним движением смахнув при этом Тарковского внутрь комнаты.

Мальчики уныло поволокли свое оборудование по коридору к лестнице, а я осталась стоять перед закрытой дверью, отмеченной лишь обычной гостиничной табличкой с номером, пригвожденная к месту внезапным прозрением. Несовпадающие детали загадочного фильма “Ностальгия” производства СССР—Италия вдруг встали на свои места, словно в детской картинке-лабиринте “найдите зайчика”. Я ясно увидела зайчика, затаившегося в сложном переплетении маскировочных линий, и теперь уже не могла понять, как это я не замечала его раньше, — ведь он просто бросался в глаза!

Не в силах совладать с темной волей своего подсознания, режиссер попытался раскрыть трагедию советского человека в заграничной командировке, который страстно мечтает остаться на Западе и никогда-никогда-никогда не возвращаться в родную тюрьму. Стоит только поднять этот скрытый от прямого взгляда подтекст, и немедленно исчезают все неясности, все смутные места, все доселе неподдающиеся объяснению метафоры фильма.

Вот женщина в полутьме храма открывает крышку огромной

плетенной корзины, висящей на стене, и оттуда вылетают десятки птиц, они взмывают в светлый простор небес, поток их бесконечен, и нельзя представить, как они все могли уместиться в корзине. Ах, как душа просится на волю, из плетенной клетки корзины, из замкнутого пространства в простор неба! Как же тут не затосковать, не заболеть черной меланхолией, не упасть ничком на темную кровать, затиснутую в угол продрогшей от сырости комнаты. А женщина с венком кос надо лбом уже тут как тут, сторожит, намекает на кровное родство, не отпускает из плена, то заманивает памятью детства, то голосом отца, то суровым приказом Родины. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит.

Что же сделать, чтоб не так хотелось, чтоб не так кололось, чтоб мама не сердилась?

Лучшее средство — зажмурить глаза, заткнуть уши и громко кричать: “Чур меня! Чур!”

Для этого Италию следует представить мрачной страной полузатопленных домов и замусоренных улиц, по которым бродят призрачные тени неудачников. И повторять, как заклинание:

— В Италии никогда не светит солнце! В Италии всегда идет дождь! В Италии только безумцы еще не потеряли связи с природой, не погрязли окончательно в болоте буржуазного комфорта! В Италии невозможно жить!

Главное, повторять это так долго и настойчиво, чтобы самому в это поверить. А на случай, если поверить до конца все же не удастся, следует пустить в ход более сильные средства.

Простейшее из этих средств сводится к унылому припеву, подхваченному у двух загулявших купчиков, пытавшихся помочиться на роскошное зеркало в фойе парижского ресторана:

Все равно, они нас не поймут!

А раз они нас не поймут, то и нам понять их невозможно, да и стоит ли их понимать? От природы они оторвались, погрязли в буржуазном комфорте, статуи эпохи Возрождения захлестили обертками от мороженого и апельсиновыми корками, памятники старины запустили до непотребной зелени — деньги на чистку жалеют, и главное — ничего не хотят сделать ради собственного спасения.

Вот и остается только зажечь свечу негасимого духа, прикрыть ее полой пиджака, чувствуя себя при этом спасителем челове-

чества, и метаться по пояс в воде, заклиная голосами всех трех чеховских сестер:

— В Москву! В Москву! Чур меня, чур! Я никому ничего не обещал!

Впрочем, никакие заклинания не помогут — потому что обещал: майору из соседнего номера, замаскированному то под мальчика, взбегающего на пригорок, то под большеглазую женщину с короной кос надо лбом, да еще к тому же беременную на последнем месяце.

Обещал хранить верность до гроба.

Обещал не хотеть жить на свободе, а рваться назад в Москву, где все презируют буржуазный комфорт, где обертки от мороженого и апельсиновые корки (если таковые есть с чего счистить) бросают строго в урны, где все памятники старины надраивают до блеска медных пуговиц и где всегда будет солнце, где всегда будет небо, где всегда будет Мама, где всегда буду Я!

И от этого "всегда" развивается ностальгия, истинно-русская, многозначная, непереводаемая на другие языки. Обоюдоострая ностальгия — по навеки недоступному манящему Западу и по России, покинутой в мечтах, но неотторжимой, как родовое проклятие.

Коричнево-зеленая ностальгия, мутная, как стоячая вода, как непролазный туман, как непреходящий дождь, доведенная до такой концентрации страдания, из которой возможен только один выход — в искусство.

Вот вам и парадокс: в искусство, а не в товар, — да здравствует Ностальгия!

**СЕМЕН ЧЕРТОК**  
**"ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МАЯКОВСКОГО"**  
(издательство "Эрмитаж")

Последний год жизни и самоубийство поэта. С приложением воспоминаний актрисы МХАТ В. В. Полонской и иллюстрациями.

Стоимость (с пересылкой) — 8,5 долл; в Израиле — 6 долл. (в шекелях).

Чеки посылать по адресу:

S. Chertok, HABAD Rd: 13/15 OLD City, 97500 Jerusalem, Israel.



## **ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ**

В 1967 г. в плане издательства "Искусство" была объявлена книга А. Белинкова "Юрий Олеша". Собственно говоря, книга называлась "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша". Но цензура есть цензура. У книги с этим названием была многолетняя история. Редакция издательства к этому времени уже добилась от автора некоторых компромиссов. Название книги было сокращено. Советский интеллигент назван русским. Перед цитатами из Ахматовой, Пастернака, Цветаевой и Мандельштама исчезли их имена, слово "термидор", находившееся по соседству с "после-революционным временем", было вычеркнуто, а анекдот о том, какой ад лучше — капиталистический или социалистический, был превращен в случай, будто бы описанный в "старинном португальском сборнике анекдотов, фаблю и притч", и снабжен сомнительными выходными данными, поскольку подобного сборника никогда не существовало. Само собой разумеется, что я не перечисляю всех изменений в рукописи объемом около тысячи страниц.

*Наталья Белинкова-Яблокова*

**СЛАВНОЕ МОРЕ,  
СВЯЩЕННЫЙ "БАЙКАЛ"**

Несмотря на уступки, компромиссы и эзоповы ухищрения, надежды на выход книги почти что не было. Обстоятельства менялись круче и быстрее, чем текст книги. Требования редакции по-

спевали за требованиями идеологической комиссии ЦК быстро и неукоснительно. Белинков писал очень тщательно и медленно. Шел юбилейный год, праздновалось пятидесятилетие Октябрьской революции. Тот относительный критицизм, которым пробавлялись некоторое время после 56-го года, исключался совершенно, и издательские планы пересматривались. Многие рукописи откладывались на неопределенное время. Но под влиянием паров недавней "оттепели" директора издательств еще разговаривали с авторами как сообщники: "Ничего не поделаешь, такой год!" — и будто бы огорченно разводили руками. И это рождало иллюзии.

Не отказывая Белинкову окончательно, директора издательства А. Караганов\*, а впоследствии Б. Шуб взяли курс на проволочку, и к нам время от времени приезжал редактор N. Каждый раз он привозил новые требования, и каждый раз автор садился переписывать заново целые куски. Очевидно, N сам не верил, что книгу можно довести до соответствующих кондиций, и отчаянно шептал: "Аркадий Викторович! Ну, не пройдет же! все равно не пропустят. Может быть? А? Ну, вы понимаете... за граница..." Белинков к тому времени уже сам вел переговоры о передаче рукописи на Запад. Товарищу N мы не верили ни на грош. Ловушка? Совпадение? На всякий случай шли закапывать один из экземпляров. Благо, дело летом, на даче. Такой уж был у нас рефлекс: прятать, шептаться, переезжать.

Осенью в нашей московской квартире раздался телефонный звонок. О, эти звонки! От них уезжали на дачи, в дома творчества и без них не могли жить московские литераторы. Просит разрешения приехать один из редакторов журнала "Байкал". С любопытством соглашаемся на встречу. Приезжает спортивного вида молодой человек. Рассказывает, как с рогатиной ходил на медведя. Держится дружески, говорит, что ничего не боится. Просит дать что-нибудь для журнала. Он уже слышал кое-что о книге "Сдача и гибель...". Его честное лицо обещало сотрудничество, а не редакционно-цензурский контроль.

Белинков заколебался. Если будет напечатан отрывок из книги, то это поможет протолкнуть ее в издательстве. Если публикацию заметят и на нее обрушатся, то надо забыть о выходе книги в СССР. Удастся ли напечатать ее на Западе? И какой это обойдется

---

\* В разговоре с Белинковым А. Караганов сказал: "Если я подпишу Вашу книгу в печать, то, значит, должен признать, что всю свою жизнь я прожил зря".

ценой? С повторниками\* у нас не церемонятся. И еще одна суетная мысль точила А. Белинкова. Он очень боялся остаться автором одной книги. Первой своей книгой о Тынянове он доказал, что не зря 13 долгих лагерных лет считал себя писателем. Теперь он хотел доказать, что "Юрий Тынянов" — не случайность в его литературной судьбе.

И Белинков решился... Это было совершенно против его правил и против здравого смысла. Цензору легче найти крамолу в статье, чем в книге. В книге больше пространства, которым автор может умело воспользоваться: там спрячется за посторонний эпизод, там за иронию, там за историю, а там продолжит цепочку однородных идей от главы к главе в надежде, что утомится бдительный цензорский глаз и потеряет путеводную нить. В статье же укрыться некуда. "Она вся просматривается, просвечивается, простреливается", — говорил А. Белинков. И все же было решено, что одну главу из "Олеши" — "Поэт и толстяк" — напечатают в трех номерах.

По мнению, распространенному в писательских кругах, редактор стоит на втором месте после цензора, поскольку выполняет приблизительно ту же функцию. В большинстве случаев это верно, поскольку таково государственное назначение его должности. Но сколько было в стране доброжелательных работников издательств (курьеры, корректоры, редакторы), более чем бескорыстно помогавших "протаскивать" рукописи! Если книгу "зарезали", то писателям доставались гонения и... слава, а редакторы теряли работу и гибли безымянно, как те неизвестные никому солдаты, которым потом ставили общие памятники.

Я думаю, сказкой про медведя молодой редактор заговаривал зубы нам, а не себе. Он знал, на что идет, и потому постарался заручиться солидной поддержкой. В результате его инициативы появилась предворяющая публикацию врезка, которую написал для журнала К. И. Чуковский. Корней Иванович был нашим другом, высоко ценил все, написанное Белинковым, оказывал нам в наших невзгодах поддержку, но, помнится, "проталкивать" рукопись об Олеше воздерживался. Каким образом наш редактор получил от него лестный отзыв о Белинкове и его книге для публикации, я могу только догадываться.

---

\* Аркадий Викторович Белинков был арестован в 1944 г. за распространение рукописи "Черновик чувств. Антисоветский роман". За то, что он писал в лагере, он получил незадолго до освобождения второй срок. Выпущен на свободу в 1956 г.

Вскоре начались обычные редакторские будни, с той, однако, разницей, что автор и редактор были в этой работе союзниками и вместе прикидывали, как смягчить текст, не искажая замысла. По международной линии Улан-Уде—Москва обсуждались строчки о диктатуре пролетариата и о той несвободе, которую она с собой несет. Как выдерживали эти разговоры бюджет журнала и мембраны подслушивателей, если они были, я не знаю. Нас беспокоило одно немаловажное обстоятельство. Главный редактор журнала Африкан Андреевич Бальбуров, кажется, не читал рукописи, хотя и знал, чья она, а если и читал, то ничего не говорил. Это было непонятно и тревожно.

Спустя некоторое время мы встречали в доме другого гостя из Бурятии — самого Африкана Андреевича Бальбурова.

“Байкал” не “Новый мир” и Бальбуров не Твардовский, — думали мы тогда. К нам приезжал главный редактор типичного советского журнала, к тому же, как мы знали, — кандидат в члены ЦК Бурятской ССР. Прочитал ли он рукопись, лежавшую в редакции его журнала, все еще не было известно. Во всяком случае, надо было быть настороже.

Напряжению, с которым мы ожидали Бальбурова, способствовал также мой предрассудок насчет того, что его, как восточного человека, надо как-то особенно угостить. Разумеется, к обеду надо подать и вино, и водку. Но все дело в том, что Белинков не пьет, а мне, женщине, вероятно, полагается занять второстепенное место. И вообще, как бы не вышло какой-либо неловкости.

Звоню нашему другу NN.

- Не можешь ли ты нам помочь? Приезжай!
- Конечно, приеду, а в чем дело?
- Понимаешь, надо пить.
- Пить!?

Африкан Андреевич Бальбуров предстал перед нами точь-в-точь таким, каким мы его вообразили. Азиат, невысокого роста, коренастый, чтобы не сказать — квадратный, ноги ставит тяжело и уверенно, как будто у него никогда ни в чем не бывает сомнений. Приехал он к нам сразу из Переделкино после посещения Галины Серебряковой.

Здесь следовало бы написать длинное отступление о том, как на волне XX съезда партии всплыли писатели-конъюнктурщики. Даже побывав на Архипелаге Гулаг в качестве политических заключенных, они продолжали оправдывать борьбу с “врагами народа”. Са-

мой модной писательницей того времени была Галина Серебрякова, до посадки написавшая сентиментальную книгу "Юность Маркса", а после реабилитации представшая несломленным коммунистом. Но я от длинного отступления воздержусь и вернусь в свою московскую квартиру.

Бальбуров прямо-таки излучал атмосферу партийной элиты. Так и светился. Он произносил закругленные фразы, аккуратно составленные из слов, почерпнутых из последних передовиц, а мы, стараясь не переглядываться, молчали или кивали в ответ. Как мы проклинали себя за то, что согласились на эту встречу! Можно ведь было отговориться болезнью, тем более, что в случае Белинкова это было непреходящей правдой. Я видела, как Белинков начинает бледнеть. Я знала, что еще немного и последует скандал. Вот-вот мой муж сорвется и наговорит, чего не следует.

Очевидно, гость почувствовал что-то неладное. Его речь постепенно начала приобретать другой характер. То ли он снимал маску, обрадовавшись, что ее можно больше не носить, то ли одевал другую личину под стать хозяевам другого дома. Возникло какое-то подобие разговора. Теперь, пятнадцать лет спустя, Бальбуров представляется мне не иначе как живописцем с кистью и палитрой в руках, а Белинков — натянутым на мольберте холстом. Скажет Бальбуров слово, как краску бросит, — отстранится и смотрит: подходит? Опять приблизится, другой мазок — отойдет, примеривается. Что-то менялось и в нашем отношении к гостю. Может быть, он не такой твердокаменный, как показалось сначала? Лицо хозяина дома просветлело. Щеки порозовели, поджатые губы распрямились. Спокойным голосом, в велеречивом стиле, который его всегда отличал, он излагал то, о чем ни с членами в ЦК КПСС, ни с кандидатами туда говорить не рекомендуется. Сталин — не искажение и не исключение, а самое верное и абсолютное выражение советской власти. Русская история развивалась по синусоиде: взлеты — падения. Советская история продолжает эту тенденцию, но в качественно ином проявлении — на уровне тотального испепеления. Сталинские и Ежовские палачества переплунуть невозможно, но по закону синусоиды после каждого подобия "оттепели" будут очередные "заморозки". Он также говорил о том, что до положительной программы мы не доросли и что самое страшное, что может ожидать Россию, это еще одна гражданская война, и надо работать над тем, чтобы ее избежать. В общем, это было то же, что пряталось в под-

тексте его книг и статей, но только теперь оно было сказано открыто.

Его слушал совершенно другой человек, чем тот, который незадолго перед тем вошел в наш дом. Внимательный, сосредоточенный, он доверительно наклонялся вперед, и под его грузным телом слегка поскрипывало тонконогое кресло.

Казалось, что и Белинков, и Бальбуров забыли о том, что происходит встреча власть имущего с бывшим арестантом. Поймал он нас на удочку или стал самим собой?

Постепенно менялось не только настроение, но и роли. Мы слушали, а он ровным голосом рассказывал о становлении советской власти в Бурятии, об уничтожении ламм, о том, что такое религия в сознании бурятского народа. От него мы услышали рассказ, похожий на легенду. Перед тем, как погибнуть в лагерях, ламмы успели дать образование одному бурятскому юноше в надежде на то, что он выживет и сохранит их учение. Юноша перенял почти все, хотя и не совершил трехгодичного паломничества в Тибет, которым должен был завершиться пятнадцатилетний курс обучения. В 1956 году этот юноша был выпущен на волю и потихоньку начал медицинскую практику (тогда это разрешалось). У него начали лечиться даже жены членов ЦК КПСС.

Неожиданно выяснилось, что Бальбуров знал о плохом состоянии здоровья Белинкова. Он стал настойчиво советовать ему поехать к бурятскому доктору. На время лечения предлагал остановиться у себя. "Может быть, спасение не на Западе, а на Востоке?" — подумала я.

Когда с некоторым опозданием пришел NN, поведение Бальбурова не изменилось. Можно полагать, что, доверяя нам, он доверял и нашим друзьям. Или это была непонятная нам азиатская вежливость? К счастью, наш друг бывал в Бурятии, и нам показалось, что его присутствие пришлось кстати.

Бальбуров рассказывал, как ему мешают работать, как часто от него требуют перемен в направлении журнала: утром подавай отражение ведущей роли русского народа, а вечером нужна демонстрация расцвета национальных культур в рамках дружбы народов. Он разошелся настолько, что рассказал в юмористических тонах, как однажды в самом начале "оттепели" ему в бурятском ЦК устроили нагоняй за публикацию стихотворения Евтушенко, который тогда еще числился в инакомыслящих. Нажимали на патриотические чувства. Бальбуров же притворно удивился и парировал:

“Так Евтушенко же наш, сибиряк”. Озадаченное молчание членов Центрального Комитета. А наш гость спокойно им объясняет: “У него же стихотворение об этом есть. Он родился на станции Зима!”

Какими мы были простаками, как легко можно было купить наше доверие! И как я рада, что обычная советская опасливость не стала барьером в наших взаимоотношениях с людьми.

Казалось, мы нашли с Бальбуровым общий язык. Но какие мы были разные! Годы “оттепели” были отмечены шумной, нервной деятельностью молодых людей тридцатилетнего возраста, занятых передачей самиздата и новостей, услышанных по радио “Свобода”. Все вызывало повышенную реакцию. Солженицына мы принимали безоговорочно, к Кочетову и Софронову относились с презрением, к Пастернаку с обожанием, к суду над Синявским и Даниелем с возмущением, к бегству Светланы Аллилуевой с энтузиазмом. Хладнокровия не было.

Бальбуров был необычен своим монументальным спокойствием. Может быть потому, что у него была другая шкала ценностей, он казался человеком старшего поколения. Много позже я узнала, что он был старше А. Белинкова всего на один год. Но он родился и вырос среди другого народа, в другой части света, и его поведение было иным. Очевидно, что “государственную систему” и “дело” он не смешивал. Возможно, что советский режим ему был чужд и оскорбителен, но, поскольку он был уже задан, как условие существования, то свое дело (журнал) Бальбуров хотел делать хорошо. Он должен был вертеться между хорошей литературой и политическими требованиями.

“Возможно”, “очевидно”, “кажется”... Отрывки из книги о гибельности капитуляции перед натиском советского режима равновесие, безусловно, нарушали. Зачем он к нам приехал?

За столом Бальбуров почти не пил. Водке предпочел бокал красного вина, со мной вопреки моим опасениям, разговаривал, как с равной. Сидел прямо. Узкие глаза прикрыты приспущенными веками. Чтобы лучше видеть собеседника, ему приходилось поднимать подбородок из-за слишком короткой шеи. Это делало его слегка надменным. Как бы откровенен он ни был, вы чувствовали, что за ним есть еще что-то, чего он вам не открыл до поры до времени и, может быть, никогда не откроет. “Скрытый буддист, — шепнул мне NN, — я встречал таких.” Я так и не знаю, кем был Бальбуров в действительности, но тогда мне казалось, что подобие Будды сидит за моим столом.

В зиму 1968 года был напечатан первый отрывок из книги А. Белинкова об Олеше. ("Байкал", №1, 1968, Улан-Уде). Он подвергся довольно сильной редакторской правке, которая до некоторой степени совпадала с требованиями, предъявлявшимися ранее издательством "Искусство".

\* \* \*

Публикация отрывков в "Байкале" имела необратимые последствия. Вопреки нашей надежде она не осталась незамеченной. Более того, она имела успех. Журнал исчез с прилавков магазинов через несколько часов.

Реакция на выход этого номера журнала была разнообразной. Большая часть читателей, натренировавшаяся к этому времени на чтении между строк, моментально распознала, что автор в завуалированной форме высказывает отрицательное отношение к власти, сложившейся в СССР в результате революции. Вместе с тем кое-кому из принявших основную концепцию книги не понравилось, что разрушающее действие этой власти показано на примере всеми почитаемого Юрия Карловича Олеши. Особенно обиделись те, кто увидел в образе Олеши себя. Они даже прислали автору письма по этому поводу. Только немногие догадались, что особенность книги заключается не в антисоветизме между строк и не в сатире на отдельные личности. Аркадий Белинков подвергал рассмотрению и оценке целый пласт советского общества и делал это непривычным для читателя способом. Он поступал не так, как это принято в литературоведении академического типа: прибегая к специфическому "научнообразному" языку, делать выводы на основании отбора, описания и анализа фактов, обращая при этом к сознанию читателя. Аркадий Белинков обращался к чувствам читателя, как это присуще писателю, а не ученому. "Сдача и гибель..." была образчиком нового литературоведения, которое выполняло функции художественной литературы: обобщать и типизировать явления через конкретные образы. В таком литературоведении объект исследования становится всего-навсего прототипом более значимых вещей. Вместо остроумного, меланхоличного и радушного Юрия Карловича, автора "Трех толстяков" и "Зависти", который был мастером блестящих метафор и завсегдаем московских ресторанов, перед читателем предстал обычный талантливый советский писатель, который опасается репрессий и славит советскую консти-



туцию, но старается при этом сохранить хорошую мину при плохой игре. В результате многолетних сделок с совестью сила его нравственного сопротивления тоталитарному режиму иссякает и талант сходит на нет.

Подставив на место Олеси имена А. Толстого, В. Шкловского, И. Сельвинского, Е. Петрова, И. Ильфа, К. Симонова, Е. Евтушенко и других, а на место олешинских произведений названия их собственных вещей, мы получим тот образ рядового советского интеллигента, который находится где-то посередине между Шолоховым и Булгаковым. Сдавшийся, переставший сопротивляться интеллигент (Олеша ли, другой ли) безвольно плывет в русле очередных постановлений партии и правительства к своему бесславному концу. Не случайно, близкие друзья, знакомые со всей рукописью, советовали назвать книгу "Другие и Олеша".

Подобное, принципиально новое литературоведение, естественно, вызвало и иные выразительные средства. Книги Аркадия Белинкова отличались непривычной для ученых книг метафоричностью и нехарактерной для них эмоциональностью. Я не берусь здесь судить о причинах умирания, перерождения и возникновения жанров. Это особая тема. Меня интересует только, почему эта миссия выпала на долю А. Б. Думаю, что в его писательской судьбе скрестились особенность его дарования и обстоятельства, в которых он писал свои произведения.

Его призванием была художественная литература. В юности, еще будучи студентом Литературного института, он создал у себя на дому литературную группу "необарокко". Молодые люди собирались по вечерам и обсуждали свои стихи и рассказы. Это был своего рода протест против классицизма и помпезности сталинской эпохи\*. Первым произведением А. Б. (ставшим непосредственной причиной ареста) был роман "Черновик чувств", в лагере он писал сатиры, драмы и романы. Как это можно было? Урывками и украдкой, расплачиваясь с урками пайкой. Урки спрячут, что хочешь.

---

\* Участники этой группы тяжело расплатились за свою полудетскую игру. Один молодой человек за роман "Одиннадцатое сомнение" провел 8 лет в лагере и 3 года в ссылке. (Он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.) Другой, отбывший в заключении лет 12, не выдержал, согласился сотрудничать с КГБ и по возвращении разорвал знакомство с нами, чтобы избежать возможности информировать о наших встречах. Надя Рашеева писала стихи. Она перенесла жуткие пытки во время следствия, провела в заключении около 13 лет и умерла через два года после освобождения.

После возвращения он написал несколько рассказов. Один из них, кажется, еще ходит по самиздату, второй либо потерялся, либо был уничтожен одним из читателей со страху. В 60-х годах А. Б. приступил было к историческому роману. Первая глава, посвященная эпохе Павла I, начиналась словами: "Идут убийцы потаенны..." Первая, написанная на Западе вещь, представляет собой рассказ ("Побег", "Новый колокол", 1972). Вступление к книге об Олеше превратилось в самостоятельную повесть ("Печальная и трогательная поэма о взаимоотношениях Скорпиона и Жабы, или роман о государстве и обществе, несущихся к коммунизму". "Новый журнал", 1968).

Когда А. Б. вернулся в Москву, у него не было иллюзий насчет свободы, которую ему даровала "оттепель". Но тем не менее он это короткое свободное время очень любил и сумел им воспользоваться. Он знал, что его вещи, ни по форме, ни по содержанию не совпадающие с "генеральной линией партии", не увидят печатного станка, если он не приложит невероятных усилий к тому, чтобы обойти цензуру. Кстати, печатному слову он придавал большее значение, чем славе самиздата, а печататься предпочитал в своей стране, где есть понимающий читатель. Чтобы протащить свои вещи через многоступенчатую цензуру (редактор, редсовет, главный редактор, главлит) он решил, что будет прятаться за спину уже опубликованных в СССР писателей. Поэтому в его книгах появился не писатель имя-рек, не сам Аркадий Белинков, а суммарный портрет советского писателя. Очень часто, однако, из-за его фигуры выглядывают наставленные автором рожки. Точь-в-точь, как на групповых фотографиях школьников.

О чем бы А. Б. ни писал, надо всем стояла сверхзадача — высказать свое отношение к режиму страны, в которой он жил. На эту, лежащую на поверхности, но отнюдь не исчерпывающую особенность книги и обратили внимание первые читатели отрывков, опубликованных в "Байкале".

Необходимость считаться с цензурой усугубила особенности стиля, тяготевшего к необарокко. Невозможность называть вещи своими именами вынуждала автора к эзопову языку. Аркадий Белинков проводил параллели между отдаленными эпохами, рассказывал притчи, прибегал к иронии, изливался в лирических отступлениях. Бесстрастности (кажется, это называется объективностью) в его литературоведческих романах не было. Они выглядели ненаучно. Так впоследствии работы Аркадия Белинкова и были расце-

нены академическими кругами на Западе, а многие русские читатели приняли сравнение советской эпохи с дореволюционным временем за чистую монету. Однако, в книге, в которой на первый взгляд, все кажется весьма произвольным: "Купила раз мне жена ботинки на микропорке...", "Я расхохотался с такой непосредственностью, что все пломбы вылетели у меня изо рта...", "Во весь горизонт стояла перед ним, тихо приплясывая, смерть" — в этой книге нет ни одного неточного факта (по крайней мере намеренного — ни одного).

А. Б. был не аккуратен, а педантичен. Он никогда не переиначивал, не подтасовывал. Если неожиданная находка опровергала выношенную им теорию, он не огорчился, а радовался, что таким образом избавлялся от ошибки. В процессе работы над рукописью ворошились старые газеты\*, листались отчеты судебных процессов, просматривались архивы, сличались первые издания с последними, каждая сноска, каждая биографическая или библиографическая справка проверялась. К работе привлекались жена, мать, родственники, друзья... Однажды А. Б. всех нас измучил. Ему нужно было найти таблицу логарифмов определенного года и определенного издания. Все другие не годились по фонетическим соображениям. Название "Таблицы логарифмов" должно было сопровождаться названием издательства. И название, и издание должны были поместиться в сноске и должны были иметь определенное звучание. С великим трудом я разыскала в библиотеке им. Ленина (бывшей Румянцевской) и точно переписала выходные данные требуемого издания таблиц логарифмов. Но А. Б. на этом не успокоился. Надо было сличить разысканные мною данные с подлинником. А книгу эту в библиотеке почему-то нельзя было получить: то ли она была потеряна, то ли находилась в переплете. Спустя несколько месяцев, после того, как "Сопrotивление материалов" Н. М. Беляева заменило "Таблицу логарифмов" (аппроксимация графика с сигмами, индексами и квадратными скобками лучше подходила для выражения пределов человеческой выносливости при различных видах тоталитарных режимов), один наш знакомый принес подарок — затрепанную книжечку, которую он нашел у букиниста на ул. Горького. Это была "Таблица логарифмов" требуемого издания. Дари-

---

\* Благодаря этой привычке в книге об Олеше появилась целая глава: "Что делал Юрий Олеша в газете "Гудок". В главе опровергается один из советских мифов о благотворном влиянии этой газеты на писательские кадры.

тель любил пошутить. Он не удержался и написал на книжечке: "Аркадию — без слов".

С интерпретацией событий и фактов у А. Б. можно соглашаться или не соглашаться. Но ошибок в фактах у него обычно не бывает. Тем обиднее мне было прочесть статью о нем (сразу через полгода после его смерти) под названием "Неряшливость".

Выверенность дат, имен и документов была отличительной чертой Аркадия Белинкова. Она создавала впечатление неопровержимости концепции. Эту особенность проглядела цензура в Бурятии, но ее заметили в центре. Поэтому книга то объявлялась в плане издательства "Искусства" на следующий год, то снималась с плана. Поэтому конца издательского процесса не предвиделось. А когда отрывки из книги были изданы в журнале, то сначала автору, а потом редактору журнала дали по рукам. Между выходом январского номера "Байкала" и окриком сверху прошло, однако, около трех месяцев. Крик прозвучал в форме статьи в "Литературной газете". Аркадий Белинков обвинялся ни много, ни мало, как в "волонтаристском подходе к фактам советской литературы и истории революции"\*.

---

\* Ю. Андреев "Своевольные построения и научная объективность". "Литературная газета" №20, 15 мая, 1969 г.

Готовя издание книги об Олеше за границей, А. Белинков полемизировал с Ю. Андреевым по одному частному поводу...

"Последнее слово в цитате — весны — вырвало вопль злобы, торжества и невежества из груди Ю. Андреева — обвинившего меня в том, что я строю гнусную концепцию на омерзительных опечатках. По авторитетному суждению Ю. Андреева следовало цитировать не "весны", а "вены". С беднягой произошел чрезвычайно неприятный случай: он сличил цитату с текстом двух последних изданий однотомника Ю. Олеши и перед ним, человеком, вооруженным самым передовым мировоззрением, разверзлась пропасть: упомянутая пропасть разверзлась в связи с тем, что я злонамеренно и вызывающе исказил писателя: вместо "вены" со злобным шипением написал "весны".

Я прекрасно понимаю, что до выхода последних однотомников (1956 и 1965 годы) Ю. Андреев "Зависть" (1927 год) мог и не читать. Я прекрасно понимаю, что советский критик очень занят и ему некогда читать книги, о которых он пишет. Так, например, он пишет о моей книге, которую тоже не читал, правда, не только из-за страшной занятости, но еще и потому, что в Советском Союзе она не была издана. Все это, конечно, можно понять. Но ведь он мог попросить своего секретаря, или тещу, или соседку заглянуть в первое издание однотомника Ю. Олеши. В первом издании однотомника строка в романе "Зависть" напечатана так, как написал Олеша и процитировал я: "... голубую рогатку весны..." (Юрий Олеша. Избранное. М., Государственное издательство "Художественная литература", 1936, стр. 52).

разгорелся подобный скандал. Власти разглядели обобщение. Свидетелям 50–60-х годов нет надобности напоминать, что “волюнтаризм”, как до того “ревизионизм” — понятия политические. Литературоведческие особенности книги, в частности, отход от канонов академического литературоведения, как и канонов соцреализма, отошли на второй план.

По случайному стечению обстоятельств в момент выхода статьи в свет мы были в Югославии в обычной туристской поездке. За событиями в нашей стране мы следили как бы со стороны. А там читатели бросились перечитывать, а некоторые, как я узнала позже, даже переписывать статью от руки, в полной уверенности, что “Байкал” исчезнет с полок библиотек. Но вместо этого, ко всеобщему удивлению, вышел второй номер журнала с продолжением отрывков из “Олеши” и с обещанием окончания в следующем номере. Его также моментально раскупили. Казалось, что кто-то очень спешил напечатать продолжение. Этот отрывок почти не был подвергнут редакторской правке. Может быть, редакция “Байкала” потеряла бдительность? Или там не успели прочитать разносную статью? Или наступили новые времена и можно писать и печатать, что хочешь? Мы находились в лихорадочном жару. Сроки нашего возвращения в Москву приближались. Что будет дальше? Дальше была вторая статья в “Литературной газете”, уже без подписи. Редакционная. В ней доставалось не столько автору, сколько журналу. А. Белинков понял, что путь к печатному станку в СССР для него закрыт надолго. И тогда он решился... Иного пути, как на Запад, не было. В 1968 году для этого существовала одна возможность — побег.

---

Я цитирую именно по этому изданию, потому что свой экземпляр “Зависти” считал с рукописью Ю. К. Олеши. В рукописи написано: “весны”.

Юрий Карлович, узнав, что я проделал эту работу (бесплатно), поглядел на меня, как в глубоком психологическом романе: во взгляде его скрестились тысячи кричаще противоречивых переживаний, из которых одержали победу два — удивление и гадливость. После взгляда писатель-мыслитель (он вспомнил известную скульптуру Родена) долго, — как в психологическом романе — сидел, опустив тяжелую, красивую, львиную и психологическую голову, шевелил губами и загибал пальцы. По прошествии определенного времени, тщательно взвешивая и металлически чеканя слова, он произнес:

— На двадцать литров (водки. — А.Б.) работы. Минимум.

Потом он взял мой экземпляр “Зависти” и написал (не для меня, для истории мировой литературной мысли): “С подлинным верно”.

Я цитирую: “... голубую рогатку весны...” С подлинным верно.”

Уже находясь за границей, я узнала, что редакции журнала был учинен разгром: будто бы Бальбуров был снят с поста главного редактора и даже гордился этим, а самоотверженный редактор А. Белинкова, ходивший когда-то на медведя, получил инфаркт. Как сложилась его судьба в дальнейшем, я не знаю. Бальбуров спустя некоторое время был восстановлен в своих правах. И когда он умер, дожив всего до шестидесяти, "Литературная газета" о нем написала: "член КПСС... слесарем... рядах советской армии... корреспондентом газеты "Правда"... главным редактором журнала "Байкал"... писателем создано много произведений в разных журналах..."

Смерть — перевернутая страница. Но ее не перечитать, только вспомнить.

Аркадий Белинков из-за железного занавеса вырвался и даже загодя ухитрился переправить за границу рукопись книги об Олеше. Его появление на Западе в качестве беглеца обратило особое внимание как на его литературные труды, так и на издательства, в которых он печатался. В частности, многие здесь впервые узнали о существовании далекого сибирского журнала. Так, Виктор Франк — сын известного философа Семена Франка — в передаче об Аркадии Белинкове для радиостанции "Свобода" заметил, что главы из книги об Олеше "появились в мало кому известном журнале "Байкал", выходящем в сибирском захолустье Улан-Уде".

Основываясь на тексте, опубликованном в "Байкале", т.е. на тексте, подвергнутом редакторской правке, автор передачи уделил особое внимание сравнению Бабичева с Чичиковым и автомобиля советской эпохи с птицей-тройкой гоголевского периода. (Кажется, он единственный из критиков, кто обратил внимание на самую сущность излюбленного приема А. Б. — показать современность в призме прошлого.) В. Франк цитирует:

"Пронесся автомобиль Андрея Павловича Бабичева, а за восемьдесят лет до него на одной из важнейших страниц русской литературы пронесся другой транспорт. Это была забываемая птица-тройка. Она неслась, оставляя за собой все народы и государства. Она безудержно и неотвратимо стремилась в будущее. Тройка была заложена в бричку, а в бричку был заложен Павел Иванович Чичиков. Это обстоятельство ждет своего внимательного исследователя. Можно предположить, что тройка неслась так быстро, что исследователи просто не успевали заметить это решающее обстоятельство. Теперь неотложной задачей является синтезирование тройки, брички и Чичикова, потому что до сих пор тройка, летящая в будущее, совершенно ненаучно отрывается от брички, а бричка от Чичикова."

Еще не кончив цитаты, В. Франк прерывает текст Аркадия Белинкова такими лестными словами:

“Прочтя несколько этих фраз, я ахнул. Ведь и Достоевский, и Аксаков, и Бердяев, и Блок, и все другие большие русские мыслители и писатели тоже пропустили мимо ушей это простейшее обстоятельство.”

В. Франк продолжает понравившуюся ему цитату из Белинкова:

“Когда приехали, Павел Иванович вылез из брочки и огляделся по сторонам. Глаз у него был опытный, нос острый, а ум — быстрый. — Ничего, — сказал Павел Иванович, — ничего-с. — И повел направо-налево вострым носом. — Дороги не в пример лучше, — отметил он, и велел Селифану распрягать. Несется брочка с Чичиковым, летит автомобиль с Бабичевым, оставляя за собой все народы и государства...”\*

А. Б. ответил Виктору Семеновичу письмом (публикуется впервые), которое интересно тем, что обращает внимание на изменения в тексте, сделанные редактором и автором при доброжелательном сотрудничестве.

Нью-Хевен, 15 декабря 1968 г.

Дорогой Виктор Семенович!

Ваша передача об отрывке из моей книги уж никак не письмо, и поэтому мой задержавшийся ответ особенно непростителен. Все это от замученности, задержанности. Впрочем, не большей, чем у других, и меньшего, чем у других, умения пренебречь второстепенным.

От души благодарю Вас за добрые, теплые и лестные слова о моем скромном труде. Я отношу Ваши слова не к себе, а к глубокой любви всего прогрессивного человечества к народам, населяющим нашу великую родину, киргизам, адыгейцам, абдурахманам, чеченцам и чекистам.

Извините, пожалуйста: я знаю, что благодарственные письма так не пишутся (я из хорошей семьи). А ведь не могу. А? Не могу. Что-то во мне горит и вертится, и не может остановиться. Я все время делаю не то, пишу не так, громко разговариваю.

Я искренне и серьезно благодарю Вас, Виктор Семенович, за то хорошее что Вы сказали обо мне. Здесь то, что я делаю, никому не нужно, и если кто-то вспомнит, что я делал что-то нужное там, то утешаюсь хоть этим.

У отрывка, о котором Вы так хорошо говорили, есть своя маленькая редакционная история. Как и всякий отрывок его сокращали. (Недавно я узнал, что это делается не только в Бурят-Монголии, но и в просвещенных европейских странах. Только что в Бурят-Монголии это делали очень неохотно, с моего согласия и боясь, что если не сделают, то к чертям полетит все, а в просвещенной Европе ни мало ничем этим не интересовались.) До сокращения этот отрывок был вот каким:

“— Ничего, — сказал Павел Иванович, окинув опытным взглядом, — ничего-с. — И добавил: — То есть в том именно смысле, что ничего особенного не изменилось. — И повел налево-направо носом вострым и чутким. — Дороги не

\* Радиопередачи Виктора Семеновича Франка после его смерти были изданы отдельной книгой: Виктор Франк. “По сути дела”. 1976, Лондон.

в пример лучше стали. Особенно стратегические. И жандарм будто крупнее из себя нынче, — отметил он. — А как по части мертвых? — с быстротой молнии пронеслась мысль в его мозгу. — Больше их против кампании графа Ивана Федоровича (Паскевича. — А.Б.)? Или после прошлогоднего недороду-то и других целительных забот и мероприятий? — Оценив прибыль целительных забот и мероприятий, Павел Иванович понял, что не ошибся дорогой, и велел Селифану распрягать.”

На это не рискнула даже готовая утопиться в собственном озере редакция журнала “Байкал”.

В числе иных вычеркиваний неожиданным для меня оказался Тамерлан\*. Москва недоумевала. Из Улан-Удэ разъяснили: по всем районам, соприкасающимся с Китаем, дано указание избегать упоминаний полководцев, на которых любят ссылаться в Китае.

Это открытие сделал не я, а (по московским слухам) М. А. Суслов.

Пусть ему посвятят радиопередачу из Пекина.

Жить здесь трудно и не нужно.

Писать не хочется. Все в Байкал, в Байкал...

Будьте здоровы и счастливы, Виктор Семенович.

Наташа кланяется Вам. Мы оба кланяемся Леониду Владимировичу.

Ваш А. Белинков.

Из этого письма явствует, что не все на Западе складывалось так, как мечтал и на что надеялся А. Белинков. Обретение свободы, давшееся мучительным личностным усилием, не дало незамедлительного удовлетворения, хотя внешне наше положение было прекрасным. Мы оба работали в одном из лучших университетов страны, А. Белинкова приглашали с лекциями в другие университеты, вели переговоры несколько издательств сразу, и радиостанция “Свобода” давала ему дорогу в эфир. Мы были окружены искренними, преданными друзьями, которые самоотверженно помогали переводить, звонить, налаживать контакты и делали уйму других полезных вещей.

Но с первых же дней эмигрантского существования А. Белинков столкнулся с непониманием со стороны так называемой прогрессивной интеллигенции Запада, с неприязнью консервативной части русской эмиграции и неприятием израильских должностных лиц. (Я имею в виду намерение пригласить А. Белинкова в Израиль в качестве гостя и скорый отказ от этого намерения после личного знакомства И: Рабина с А. Белинковым.)

Меня часто спрашивают о трагедии А. Белинкова. Я могу предло-

---

\* В этом редком случае А.Б. делает ошибку в имени. Не Тамерлан, а Батый. (Н.Я.)



жить пока что черновик ответа на этот сложный вопрос. Трагедия была. И ее не было. Успехи и поражения чередовались. Плохое сменялось хорошим. На смену достижениям приходили неудачи. Мы чувствовали, что качаемся на каких-то жутких качелях. Откуда бралось такое чувство? Ведь перемены это закон жизни. Почему нам стало так тяжело переносить перемены? Так легко было бы предположить, что наши трудности временные, что мы переживаем переходный период, что рано или поздно все образуется. Но что-то было не так. И это "что-то" мы никак не могли уловить, как неопытный шофер не может понять, что значит неверный звук в работе мотора. Кажется, что все хорошо, даже отлично. Машина летит вперед. Но вы подсознательно напряжены в ожидании катастрофы.

Оглядываясь назад, я начинаю понимать, что дело было не в чередовании падений и взлетов, а в том, что провалы были непредвиденными, подъемы непредсказуемыми. Мы встречались с большим количеством людей, говорили с ними на общие темы, но жили в разных измерениях. Рукопись романа Солженицына (1968-ой год!) "В круге первом" лежала на столике около дивана. Ее брали, листали и откладывали в сторону, чтобы прочитать после того, как она будет издана. О, где ты, горячка самиздата! А. Б. бежал на Запад для Дела (как он его понимал). А здесь стало создаваться впечатление, что дело, ради которого совершился побег, утратило часть своей необходимости (у американцев заботы сегодняшнего дня: рост цен, война во Вьетнаме; эмигранты измеряют сегодняшний день мерками вчерашнего или категориями вечности)\*.

Жадная потребность в работах Аркадия Белинкова (когда меня останавливали на улице и просили "устроить": дать почитать книгу об Олеше в рукописи) осталась по ту сторону океана, за границей, которую мы пересекли однажды и навсегда. Обретение свободы оказалось как будто бессмысленным. Нас окружали чужие люди с другим прошлым, с другим опытом жизни. А в России, кроме читателей, остались друзья и родные. Мать А. Б. была больна и лежала в постели в день нашего отъезда. Это постоянно мучило ее сына. Она умерла через год после его смерти, а отец — через 10 лет после нашего побега.

Аркадий Белинков попал в провал между поколениями разных стран, даже разных исторических эпох. Его состояние лучше всего

---

\* Спустя много лет я научилась различать "кто есть кто", тогда же все делились на понимающих и непонимающих.

понял бы тот персонаж из научно-фантастических романов, который возвращается на Землю с отдаленных не только в пространстве, но и во времени миров.

Вскоре после нашего переселения на другую планету мы обнаружили массу неожиданных вещей: американцы радовались, что наладились перелеты Аэрофлота с аэропорта Шереметьево на аэропорт Кеннеди и обратно (вот оно, преддверие детанта!), социалистическая Куба держала в плену воображение американских студентов, готовился последний припадок студенческих революций. Кое-где громили еврейские лавочки и вывешивали красные флаги. В Йельском университете протестующие сожгли часть библиотеки. Совершенно случайно это оказались книги 18-го века по юриспруденции. В это же самое время профессор Ульянов чуть не доказал, что романы Солженицына — изобретение КГБ. Критик Рафальский выступил со статьей против А. Б., в которой уверял, что А. Б. лучше бы бороться за свободу человечества "на каторгах и ссылках", а не учить свободе западных либералов. Вдруг обнаружилось, что ставка в университете была временной, и выходило, что мы остаемся без работы. А. Белинков продолжал переговоры с международными издательствами. Но издательские поезда двигались медленно. Книги А. Белинкова были длинными, с лирическими отступлениями, с литературоведческими обобщениями, с политическими обвинениями, с притчами, подтекстом и иронией. Переводить их было трудно. Второй план, налету схватывавшийся читателями в России, здесь был непонятен и потому, казалось, не нужен. Ему предлагали сокращения, изменения, незаметно вводили в академическое русло. Он страдал, но, я думаю, не оттого, что это напоминало советскую цензуру, а оттого, что вторжение в текст совершалось, как он полагал, дружескими руками и к тому же без надобности. Хотя А. Белинков и жил по его собственному выражению, "с неразжимающимся сердцем", он продолжал упорно работать, читал летом лекции о Солженицыне в колледже Мидлберри, принял участие в международной конференции по цензуре в Лондоне, два раза в месяц летал на самолете в Индиану, где вел семинар, принимал предложения на выступления в других университетах: в Питсбурге, в Вермонте. Однажды ездил в Нью-Йоркский университет, получив на день отпуск из госпиталя! Готовил "Новый Колокол", надеясь превратить это издание в систематический журнал, работал над книгой о Солженицыне.

Надо помнить, что эта нагрузка легла на плечи тяжело больного

человека, прошедшего и пытки, и тюрьмы, и смертный приговор, и лагеря. Американские врачи пытались продлить его жизнь. Ему сделали операцию на сердце. Наступило временное облегчение. Темпов жизни и работы А. Белинков не снижал ни до операции, ни после. "Я не приехал сюда отдыхать", — говорил он, когда его просили вести себя поосторожнее.

Весной 1970 года радиостанция "Свобода" обратилась к А. Белинкову с предложением выступить с циклом радиопередач по рукописи "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша.". Здоровье его в это время ухудшилось настолько, что о поездках на радиостанцию в Нью-Йорк — два-три часа на автомобиле — не могло быть и речи. Передачи он начитывал дома. Они не все были хорошего качества, несмотря на совершенную американскую аппаратуру и замечательных опытных техников. Иногда мешал шум детей за окном или телефонные звонки, которые не умолкали и здесь. Иногда чтец начинал задыхаться. Это были последние выступления А. Белинкова перед его читателями там, теми, которые умели читать между строк, теми, для которых писалась книга. Слово "Байкал" выплеснулось в эфир в последний раз.

Начинаем десятую передачу отрывков из книги Аркадия Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша.".

Книга эта была запрещена цензурой в Советском Союзе.

Вот, что пишет об этом произведении в статье "Дело Белинкова" известный журналист и публицист Донатов, прекрасно знающий литературную и политическую жизнь Советского Союза: "Книга Аркадия Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента" подняла совершенно целинный в современной русской литературе этический пласт. И — вообразите! — часть даже этой работы Белинкова увидела свет в Советском Союзе. Глава, названная "Поэт и толстяк" появилась... в махоньком литературном журнальчике "Байкал", издающемся в "столице Бурят-Монгольской АССР, в городе Улан-Удэ. Понадобилось за 5000 километров увезти вещь от недреманного ока московских цензоров, чтобы напечатать несколько драгоценных страниц правды с маленьким, но великолепным предисловием Корнея Чуковского. Однако, как сострил кто-то в Москве по этому поводу: "Улан-Удэ? Неважно, гдэ!" Журнал "Байкал", о самом существовании которого подозревали очень немногие в Москве и Ленинграде, пережил то, что на Западе именуется "бумом". Его популярность в считанные часы обогнала все прочие журналы, включая "Новый мир".

Арестантская судьба Аркадия Белинкова соединилась с "Байкалом" почти по песне. Книга об Олеше была опубликована в "Мадриде" в частной типографии в 1976 году без изменений и сокращений, под тем же названием, как предполагал покойный автор.

## ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Семен Резник

### ДЕЛО ЕМЕЛЬЯНОВА

В один из сентябрьских дней 1981 года в моей квартире раздался телефонный звонок, и приятель сообщил, что только что в Московском городском суде началось слушание "дела Емельянова".

Бросив все намеченные на тот день дела, отменив встречи, я поехал на Каланчевку.

Имя Валерия Николаевича Емельянова было известно мне уже несколько лет. Знал я и содержание некоторых его публицистических работ — как официальных, так и самиздатских, знал содержание его публичных лекций: пару раз на них попадали мои друзья, подробно пересказывавшие мне потом их содержание. Самому мне попасть на его лекцию никак не удавалось: как правило, объявлялись другие имена и только на самой лекции выяснялось, что читать ее будет доцент Емельянов. Мне описывали его наружность, и я хорошо представлял себе этого крупного 50-летнего мужчину, немного сутуловатого, нервного, с наклоненной вперед коротко стриженной головой и насупленными, сдвинутыми к переносью бровями, говорящего очень убежденно, горячо, почти яростно. Упустить эту последнюю возможность увидеть его я, конечно, не мог.

Небольшой зал суда оказался переполненным, у распахнутых дверей грудилась небольшая, но плотная толпа. Я пытался заглянуть через головы, и первое, что я увидел, было лицо какого-то человека в дымчатых очках. Он сидел в центре второго или третьего ряда и, повернув голову, смотрел в сторону входа, фиксируя каждого пришедшего. Даже сквозь очки ощущался давящий, свинцовый, настороженно-подозрительный взгляд.

Правую часть зала, где, собственно, происходило судоговорение, от меня закрывал дверной косяк. Я мог видеть только окно в противоположной стене, трех высоких длинноволосых парней у окна — свидетелей, и стол, за которым спиной к окну сидел человек средних лет, в темном костюме, весь какой-то скучный, непроницаемый и полусонный. Это был прокурор.

Тем временем допрос свидетелей шел своим чередом. Парней поочередно вызывали на свидетельское место, спрашивали имя, отчество, фамилию, предупреждали об ответственности за ложные

*Журнальный вариант. Копирайт автора*

показания и предлагали рассказать, что им известно по данному делу. Ответов их я разобрать не мог. Сколько ни напрягал слух, улавливал только невнятное бубнение, и только по вопросам судьи понял, что речь идет о какой-то стройке и каком-то пожаре.

Затем парней отпустили, и они поспешили удалиться из зала. Воспользовавшись движением, возникшим из-за этого у дверей, я протиснулся вперед и теперь увидел судью — приятную, как мне показалось, женщину с пышными, крашенными хной волосами, заседателей и защитника — тучноватого старичка в поношенном костюмчике, с нездоровым обрюзгшим лицом. Однако скамья подсудимых и теперь еще была мне не видна. На ней почему-то царило молчание.

Судья стала вызывать новых свидетелей. Она громко называла имя, и оно, многократно повторенное в публике, облетало весь зал и выпархивало в коридор. Никто, однако, не отзывался. Выждав минуту, судья называла следующее имя — с тем же результатом. Так повторилось раз пять, потом судья объявила перерыв на 15 минут.

Толпа у дверей развалилась, и я увидел, наконец, скамью подсудимых.

Она оказалась пустой.

Его не могли увести — еще не успели выйти ни судья, ни прокурор с адвокатом. Неужели его судят заочно? Как это понимать? Какая-то кафкиана — судят пустое место, подпоручика Киже, а не доцента Емельянова...

В недоумении я стал озиаться и снова наткнулся на дымчатые очки. Станный человек продолжал сидеть на прежнем месте, все так же повернув голову к двери. Я отвернулся и увидел стоявшую рядом рыжеволосую женщину. В ее зеленоватых глазах вспыхивали искры страстного нетерпения, веснушки делали молодое лицо почти детским.

— Вот оболтусы! — произнесла она, обращаясь ко мне.

— Кто? — не понял я.

— Эти... свидетели. Дегенераты какие-то! Ни черта они не видели...

— Я не слышал, что они говорили, — сказал я.

Она махнула рукой:

— Прибежали на пожар, нашли какую-то канистру, какой-то человек уходил... Ну, и что? Может, это не он! Видели его со спины, в темноте, а говорят!!

— Ничего, суд разберется, — успокаивал ее я.

— Как же — разберется! — убежденно возразила она. — Им бы только засудить человека...

— А почему его самого нет? — спросил я.

— Сказали, что болен, — ответила она и понизила голос до шепота. — Психически. Будто он сумасшедший. Так объявили...

Я уже догадывался об этом, но никак не мог поверить. Разве такой важный вопрос, как вменяемость или невменяемость подсудимого, может быть решен до судебного разбирательства? Если уж он находится в таком тяжелом состоянии, то должны быть допрошены эксперты, признавшие его невменяемым, но и их на суде не было. Скептики могли бы предположить, что подсудимого просто прячут, опасаясь его показаний, или же хотят уберечь от почти неминуемого смертного приговора (здесь, как я потом убедился, оснований для такого приговора было достаточно).

Но я не принадлежал к скептикам. И не потому, что поверил титулованным экспертам (в конце суда было все-таки зачитано решение психиатрической экспертизы, под которым стояла подпись академика Морозова — человека, который чаще всего возглавляет комиссии, признающие психически-больными тех, кто негоден властям), нет, а по той причине, что я сам и уже давно признал Емельянова психически больным.

Свой "диагноз" я поставил на основании широко разошедшейся в Самиздате "докладной записки" Емельянова в ЦК, носившей сенсационное название: "Кто стоит за Дж. Картером и так называемыми еврокоммунистами?" В "записке" утверждалось, что за перечисленными лицами (а также за социал-демократами, диссидентами и вообще любыми, кто не стопроцентно лоялен к СССР и КПСС) в действительности стоят замаскированные организации сионистов и масонов, стремящиеся к господству над миром. Они уже подчинили себе западный мир и теперь готовятся к захвату социалистических стран, а потому с сионизмом и масонством следует вести самую решительную борьбу: разоблачать Библию, Талмуд и другие иудейские книги, провозглашающие идею захвата мирового господства евреями, разоблачать евреев, занимающих влиятельные посты в советском аппарате, ибо они ставленники мирового сионизма, разоблачать диссидентов-неевреев, ибо они выполняют тайные указания "сионистского правительства", разоблачать еврокоммунистов, ибо это масоны, получившие приказ расколоть мировое коммунистическое движение.

Емельянов предлагал срочно ввести в школах спецкурс по изу-

чению сионизма и масонства и создать специальный НИИ с той же целью. И, наконец, чтобы предупредить неминуемую, по мнению автора, измену евреев в будущей войне, предлагалось уже сейчас поступить с ними, как Сталин поступил с "народами-изменниками" в годы войны и как с евреями поступили в Европе в те же годы.

"Записка" изобиловала экскурсами в "историю вопроса", обнаруживавшими незаурядную эрудицию автора, а уверенный страстный тон не оставлял сомнений в его искренности. И в то же время налицо были и логические несурезицы, и прямые подтасовки. Короче, налицо было явное раздвоение, ибо автор вполне сознательно лгал и передергивал и одновременно безусловно верил в свою ложь, как в непреложную истину. Я диагностировал "Записку" как "параноидально-шизофренический бред", и это, как выяснилось на суде, совпало с заключением комиссии академика Морозова: "Параноидальная шизофрения". Но сейчас, в зале, я все же был удивлен и спросил соседку:

— Разве невменяемых судят?

— Выходит, судят, — ответила она и добавила шепотом, — посмотрите на мать... Как держится!

Старуха в первом ряду сидела молча, глядя прямо перед собой, и я видел только ее профиль: большой, слегка выгнутый нос, толстые губы, массивный подбородок — не лицо, а барельеф. Барельеф на скале... Она, видимо, ощутила мой взгляд, потому что обернулась. В ее больших, серых, выцветших глазах царил уверенность и спокойствие. Похоже было, что она нисколько не переживает.

— Его, что, с самого начала не было? — снова повернулся я к соседке.

— Как же, покажут его! Он бы им тут все сказал!

— Вы, я вижу, не верите, что он сумасшедший?

— То все нормальный был, а как судить — так сразу сумасшедший! — с явной симпатией к подсудимому ответила она.

— Вы его знали?

— Нет, только на лекции видела, он в нашем КБ выступал. Знаете, какой это человек? Необыкновенный! Не такой, как все. Убежденный! За то и пострадал...

— Пойдите, — удивился я, — его ведь судят, кажется, за убийство, при чем тут убеждения?

— Что же тут непонятного? Это они ему мстят: убили жену и ему же подсунили. А чтобы правда не объявилась, признали сумасшедшим. И свидетелей вот подобрали — дегенератов!

Я был ошеломлен. Ее слова звучали как шизофренический бред. Я оглянулся и в третий раз увидел человека в дымчатых очках. И вдруг я понял, что меня больше всего в нем поразило: он озирается, как шизофреник, преследуемый маниакальными страхами. Да и весь воздух в зале был словно насыщен какими-то особыми испарениями, которые и здорового могли довести до шизофрении. Собственно, я с самого начала, еще стоя в коридоре, ощущал что-то нездоровое в атмосфере зала, но тогда, поглощенный стремлением протиснуться вперед, не обратил на это внимания.

Я снова посмотрел на мать подсудимого. Какая-то женщина, тронув ее за рукав, что-то ей шепнула, и старуха вся вдруг встрепенулась, заерзала, руки ее нервно задвигались, она открыла сумочку, достала оттуда дешевую шариковую авторучку и протянула женщине. Все время, что та записывала, старуха пристально на нее смотрела: видно, ее очень беспокоила судьба авторучки — получив ее обратно, она опять успокоилась. Мне вдруг стала понятной причина ее сверхъестественного спокойствия: в такой атмосфере она, должно быть, чувствовала себя, как дома.

## 2

В конце декабря 1975 года в "Правде" появилась статья, сообщавшая, что в связи с приближающимся 150-летием восстания декабристов в Москве открывается специальный музей, где будут экспонироваться их вещи и документы; среди прочего назывались масонские знаки Пестеля.

Вскоре в музее появился человек, отрекомендовавшийся доцентом института иностранных языков Емельяновым, и устроил подлинный скандал. Он кричал, что масоны, как известно, являются подручными сионистов и потому демонстрация масонских знаков Пестеля является сионистской диверсией. Все это он затем изложил на бумаге, расписался под ней и оставил в музее. А еще через несколько дней в музей позвонили из горкома, куда Емельянов, оказывается, направил письмо аналогичного содержания. Работник горкома сказал директору, что Емельянов, конечно, сумасшедший, но масонские знаки все же лучше... убрать.

Это была одна из многих побед, которые поощрили Емельянова к продолжению борьбы с "международным сионизмом и масонством". В отличие от других "специалистов" по сионизму, Емельянов в своей борьбе всегда шел до конца, не прибегая к уверткам и



недомолвкам. Свои лекции он читал напористо и страстно, не тушуясь перед “коварными” вопросами “сионистов” и “масонов”, иногда оказывавшихся в зале; поэтому его лекции производили большое впечатление на аудиторию. А его многочисленные статьи, письма и заявления, не отличавшиеся гибкостью формулировок, редко попадали в официальную печать, зато имели широкое хождение в Самиздате, что придавало им дополнительный интерес, как полузапретным. Впрочем, наиболее “смелые” органы печати изредка публиковали эти сочинения: “Наш современник” даже под его собственной фамилией, а “Комсомольская правда” и “Москва” — под псевдонимами.

Особенно активно Емельянов разоблачал “сионистов” в своем институте, и это часто оборачивалось для него неприятностями: один раз ему объявили выговор, другой — временно перевели в кандидаты партии и даже уволили с работы, так что восстановился он только через 21 месяц, да и то по прямому указанию ЦК (с выплатой жалованья за все время).

Емельянов подготовил к защите докторскую диссертацию, но “сионисты” помешали ему ее защитить, и тогда он попросил своих друзей-студентов из арабских стран перевести ее на арабский язык, что они с энтузиазмом сделали; затем эта диссертация в течение двух месяцев, изо дня в день, печаталась в одной сирийской газете; а еще позднее ее перевели и издали в Израиле и ряде европейских стран, как образчик современного антисемитизма. Это уже было слишком, и Емельянова вызвали для объяснений в Комиссию партийного контроля.

Однако вместо того, чтобы покаяться, Емельянов на комиссии заявил, что у Пельше (председателя) жена еврейка, у другого члена комиссии дочь замужем за евреем, а третий сам, по бабушке, немного еврей. Говорили, что, узнав об этом, даже Суслов позеленел и затопал ногами.

Емельянова исключили из партии.

Когда об этом узнала его жена, с ней случилась истерика. Рыдая, она напоминала мужу, как они бедствовали, когда он почти два года не работал, и упрекала, что он губит себя и семью. Видимо, именно тогда Емельянов “понял”, что жену “подкупили сионисты”, и решил ее убить. Свой дьявольский замысел он привел в исполнение при первом удобном случае.

15-минутный перерыв длился больше часа, после чего объявили, что из-за неявки свидетелей заседание откладывается.

Назавтра я уже постарался не опоздать. Впрочем, публики было меньше — многие, видимо, были разочарованы вялостью первого дня. Как и накануне, в центре зала сидел человек в дымчатых очках; вчерашней моей собеседницы не оказалось; зато в первом ряду, недалеко от двери, восседал отсутствовавший накануне мой давний знакомец Дмитрий Анатольевич Жуков — плодovitый литератор и переводчик, а также автор многочисленных, весьма бойких, но поверхностных книг. Впрочем, известен он больше не этими книгами, а неутомимой борьбой с "сионизмом": в "Записке" Емельянова, наряду с другими, содержалось требование немедленно опубликовать неизданные работы Д. Жукова, а также В. Бегуна и Е. Евсеева. Ознакомиться с неизданными работами Емельянов мог, конечно, только получив их непосредственно от авторов, так что все трое были, очевидно, его знакомыми и единомышленниками. Поэтому появление Жукова в зале не было неожиданным. Возможно, что Бегун с Евсеевым тоже были здесь, но я их не знал в лицо.

На этот раз свидетели были все, кроме супругов Бакировых, уехавших куда-то в "отпуск" и почему-то "не разысканных" — хотя, как выяснилось, они были самыми важными в деле. Тем не менее суд постановил не откладывать заседание, а показания Бакировых зачитать по протоколам предварительного следствия.

Апрельским утром 1981 года мать Емельянова, жившая с его семьей, уехала на весь день к своей подруге; вернуться она должна была очень поздно. Жена Емельянова, Тамара, отведя детей в сад, поехала к своей матери в Подольск, причем Емельянов строго наказал ей вернуться пораньше. У него в тот день была всего одна лекция, так что дома он должен был быть не позже часа.

В три часа дня Тамара выехала из Подольска в Москву, и примерно в то же время Емельянов позвонил своему другу и ученику Бакирову (которого не оказалось дома) и попросил его жену никуда вечером не уходить, так как он собирается зайти к ним по важному делу.

Около пяти Тамара вернулась домой, а около семи Емельянов вышел из дому, неся рюкзак, чемодан и большой молочный бидон. Со всем этим грузом он подкатил на такси к дому Бакировых.

Войдя в дом, он объяснил Бакировой, что ему нужно срочно сжечь сионистскую литературу, потому что сионисты его преследуют, хотят убить или арестовать, а у себя во дворе он сделать этого не может: один раз уже пробовал, вспыхнул пожар и прибыли пожарные; здесь же, на окраине, никто не заметит, если он сожжет материал на соседней стройке. Он только подождет Бакирова, чтобы тот ему помог.

Почему-то несколько не удивившись, Бакирова дала Емельянову ключ от своей машины, он спустился, сложил свое имущество в багажник, после чего вернулся и около часа сидел за столом, распивая чай и рассуждая о сионизме. Когда явился, наконец, Бакиров, Емельянов объяснил ему свое дело, и они вышли к машине, чтобы оттащить груз на стройку. Однако Емельянов вдруг заявил, что все сделает сам, пусть ему дадут только канистру с бензином. Бакиров с готовностью дал канистру (она фигурировала на суде, как вещественное доказательство), а сам минут через 10 вернулся домой. Емельянов же вернулся минут через 50, уже без груза, с сильно запачканными ботинками и брюками, которые он долго отмывал в ванной. После этого все трое сидели за столом, пили чай, и Емельянов был совершенно спокоен, много, как всегда, говорил о сионизме и вел себя без всяких отклонений от обычного.

На следующий день к Бакировым позвонил милиционер и объяснил, что накануне на соседней стройке вспыхнул пожар, рабочие (те самые "дегенераты", которые давали показания в первый день) прибежали тушить, а загасив огонь, обнаружили в золе обгорелые остатки человеческого тела. Теперь жильцов опрашивали, не заметили ли они чего-нибудь подозрительного.

Бакирова ответила отрицательно, но вечером, когда муж пришел с работы, рассказала ему о визите, и Бакиров, сообразив, что дело серьезное, тотчас позвонил в милицию и сообщил о Емельянове и его "сионистской литературе".

Между тем ни сам Емельянов, ни его мать не подняли тревоги по поводу исчезновения Тамары. Более того, когда мать Тамары позвонила к ним спросить, куда девалась дочь, мать Емельянова, не моргнув глазом, ответила, что Тамара легла в больницу на аборт. Однако она не могла "припомнить", в какую именно больницу, и вообще ее объяснения были такими путанными, что встревожили мать Тамары еще больше, и та обратилась в милицию. Вскоре ее и сына (брата Тамары) вызвали для опознания трупа. Хотя тело бы-

ло разрублено на куски и сильно обуглено, они, по им одним известным приметам, сразу опознали Тамару.

Емельянов был арестован — сначала как подозреваемый, и следователь разрешил ему позвонить по телефону. Он позвонил матери, которая сказала ему: “Валера, держись!” и Евсееву (“это его товарищ по борьбе с сионизмом”, — доверительно объяснила суду его мать), которому сказал: “Женя, я не виноват”.

А еще через день он признался в убийстве и рассказал обо всех подробностях.

#### 4

Чем дальше раскрывалась картина злодеяния, тем напряженнее становилось в зале. Но не потому, что публика прониклась сознанием чудовищности преступления. Ни к убитой, ни к ее родным, ни к двум детишкам, оставшимся сиротами, не ощущалось ни малейшего сочувствия. Напротив — заметно росла враждебность. Ядовитая атмосфера шизофренической ненависти сгущалась все сильнее, и из зловещих шепотков, перелетавших по залу, все более явственно выкристаллизовывалось одно слово: “сионисты”.

— Сионисты? — прервала себя дававшая показания мать Тамары, простая полуграмотная лифтерша, и повернулась к залу. — Почему же они ее убили, а не его?

В этот момент полусонный прокурор вдруг встрепенулся и, прервав свидетельницу, обратился к судье:

— Там товарищ записывает на магнитофон!

— Гражданин с магнитофоном, встаньте! — раздался тревожный голос судьи.

Из первого ряда во весь свой огромный рост поднялся Жуков — оказывается, это он держал на коленях портативный магнитофон.

— Записывать на магнитофон запрещено. Сдайте пленку!

— А почему это я должен сдать? — несколько неуверенно поинтересовался Жуков. — Я не сдам.

— Тогда покиньте зал!

— А почему я должен покинуть? Нет, я не покину...

Воцарилась мертвая тишина.

— Объявляется перерыв на 10 минут, — после короткого колебания объявила судья.

Задвигались стулья, публика потянулась из зала. Ко мне повер-

нулась женщина, полнее и старше вчерашней, но, видимо, не менее словоохотливая.

— А у меня все работы Валерия есть! — с заметной гордостью сказала она. — Он сам мне дарил, мы с ним были большие друзья...

Разговор обещал быть интересным, но тут заседание возобновилось. Жукова в зале не было. Мать Тамары продолжала свои показания. Она рассказывала, как мучалась дочь с мужем, как он избивал ее, запрещал лечить детей, когда они заболели, а приказывал посыпать и кормить их... зубным порошком, как сначала "пропало", а потом, после долгих настояний, было "найдено" и возвращено обручальное кольцо Тамары (видимо, отправляясь сжигать труп, Емельянов снял с него все ценности).

Мать Емельянова допрашивали последней. Она говорила тихо, интеллигентно, доверительно. Валерий и Тамара, по ее словам, жили дружно, никаких ссор между ними не было. Судья спросила, что она знает о первой судимости сына.

— Никакой судимости не было, — ответила мать.

— Как же не было, он сам об этом сказал!

— Да? Значит, я не знаю. Он вообще скрытный был, когда из партии исключили, тоже мне ничего не сказал.

На вопрос судьи, чем она объясняет случившееся, старуха тихо произнесла то, что все эти два дня витало в густой атмосфере отравленного зала:

— Он не убивал. Ему ее принесли в мешке.

После ее показаний был объявлен большой перерыв, и я поспешил присоединиться к новой знакомой. Пока мы ходили перекушать, она рассказала, что много лет была знакома с Емельяновым.

— Тогда вы должны знать о его первой судимости? — спросил я.

— То дело не дошло до суда...

— Как не дошло, когда судья о нем спрашивала?

— Я вам точно говорю, я знаю все подробности...

Но я тоже кое-что знал. Один из знакомых принес мне вырезку из "Литературной газеты" за февраль 1963 года, где в репортаже официозного публициста Ардаматского рассказывалось о разбирательстве дела молодого аспиранта Валерия Емельянова, которого судили за плагиат и клевету: в свою кандидатскую диссертацию об экономике Ливана он перекатал солидный кусок из диссертации другого человека об Индии, а когда это вскрылось, стал слать доносы на редакторов и рецензентов. Емельянов был тогда осужден на год лишения свободы. В репортаже не говорилось, на кого именно

и как клеветал Емельянов. Можно было предположить, что среди тех, кто забраковал его диссертацию, были евреи и это стало первым толчком к его последующей борьбе против "сионизма и маонства". Но моя собеседница упорно твердила:

— То дело не дошло до суда. — И поскольку я с ней не соглашался, она, в качестве последнего аргумента, бросила:

— Я сама знала эту женщину!

"Женщину? Какой неожиданный поворот!" — подумал я. Мне припомнилась одна из ходивших по Москве легенд об Емельянове: будто его первая жена покончила самоубийством, на него в этой связи было заведено уголовное дело, но ему удалось "отмазаться". Я не очень-то этому верил: мало ли что говорят об одиозных людях. Однако на всякий случай я спросил:

— Вы говорите о его первой жене? Так это правда, что она повесилась?

— Вот ведь что болтают! — возмутилась моя собеседница. — Она вовсе не была его женой. Они еще только собирались пожениться. И совсем она не покончила с собой. Она умерла... (тут женщина несколько замялась) ... во время полового акта...

— Сердечный приступ? — поразился я.

— Нет... не приступ... — Она замялась еще сильнее. — У них оказалась ... ну ... полная физическая несовместимость. Ну, в общем, они друг другу не соответствовали... У нее там оказалось все разорвано...

Я ошеломленно посмотрел на нее. Она с аппетитом жевала уже третье миндальное пирожное, и в ее светлых глазах царила полная безмятежность. Понимала ли она, что говорила? Ведь если это правда, то ее "большой друг" не только убийца, но и сексуальный маньяк, до смерти замучивший женщину, на которой собирался жениться!

Я вспомнил, что мать убитой Тамары в своих показаниях упомянула какую-то давнюю историю о студенте, погибшем во время альпинистского похода по вине Емельянова. Ни судья, ни другие не задали ей по этому поводу ни одного вопроса, так что достоверность рассказа осталась невыясненной. Но что, если и это — не пустая сплетня? Ведь вокруг этого человека в течение многих лет постоянно ходила смерть!

— А на сумасшедшего он походил, по-вашему? — спросил я спутницу.

— Ничего подобного! — уверенно откликнулась она. — Нервный

был — да! Возбудимый, верно. Но чтобы сумасшедший — не замечала никогда...

Мое доверие к экспертизе поколебалось после этого уверенного ответа. Если в СССР стало правилом использовать психиатрию для преследования неугодных режиму людей, почему бы не использовать ее для сохранения нужных? Разумеется, Емельянов ненормален, — но настолько ли, чтобы быть полностью освобожденным от ответа за совершенное преступление и даже от присутствия на суде?..

## 5

После перерыва заседание продолжалось недолго. Прокурор доказал, как дважды два, что убийство было совершено Емельяновым у себя на квартире, и в виду неумолимости обвиняемого предложил направить его на принудительное лечение. Защитник напирал на неполноту следствия и на неявку главных свидетелей, супругов Бакировых, чью роль в этом деле он, с полным основанием, назвал весьма подозрительной. Разве не странно, что Бакирова не удивилась намерению “сионистов” убить Емельянова? И вместо того, чтобы подробней расспросить его об опасности, дала ему ключи от машины? Почему она не заинтересовалась, каким образом сожжение литературы может предотвратить покушение “сионистов”? Допустим, она непробиваемо глупа, но ведь и сам Бакиров тоже не задал “другу” этих вопросов. Он с готовностью отправился ему помочь, а когда тот отказался от помощи, так же спокойно вернулся домой. Почему он не предложил Емельянову сохранить его литературу, вместо того, чтобы ее сжигать?

Поскольку всем этим вопросам суждено остаться без ответа, позволю себе задать еще один: да так ли было все на самом деле? Может, Бакиров вернулся не через 10 минут, а много позже, вместе с Емельяновым? Не странно ли, что жена Бакирова ничего не сказала милиционеру, а сам Бакиров, узнав об обнаружении трупа, сразу же сообщил в милицию о визите Емельянова, то есть связал этот визит с убийством?

Защитник требовал направить дело на доследование, напирая на то, что Бакиров — возможный соучастник преступления. Его готовность сжигать “сионистскую литературу” выглядит крайне предвзятой. Тем более, что Бакиров, заметил защитник, не какой-нибудь темный, полуграмотный человек, а ответственный работник КГБ!

Это замечание объяснило мне многое.

Тот факт, что "борьба с сионизмом" ведется в СССР под руководством "органов", давно не является секретом. Незадачливый Жуков — тоже ведь в прошлом сотрудник госбезопасности и, наверно, в подпитии любовно демонстрирует друзьям свой майорский мундир. Из того же круга и "всемирно известный" художник Илья Глазунов, ловко спекулирующий на древнерусской теме: КГБ искусственно создает ему репутацию эдакого полудиссидента и одновременно устраивает ему грандиозные персональные выставки. Одну из "идеологических диверсий" КГБ устроил с помощью друга Емельянова, Евгения Евсеева, который по заданию "органов" написал грандиозную, на 500 страниц книгу по "разоблачению сионизма", столь одиозную, что ее решились издать только "для служебного пользования"; тем не менее даже в Институте истории Академии Наук, где работает Евсеев, его сочинение вызвало бурю гнева: академик Кедров с трибуны назвал ее "антисемитской стряпней", редактор книги получил выговор, научный руководитель Евсеева — замечание. Но все это осталось в стенах Института; сама книга была разослана по обкомам и горкомам, где наверняка была воспринята как официальная инструкция по еврейскому вопросу.

Сотрудничество между КГБ и идеологами антисемитизма — давнее и прочное, и иначе не может быть. И все же трудно переоценить то обстоятельство, что, совершив преступление, Емельянов первым делом бросился к работнику КГБ, надеясь на его помощь и, может быть, защиту. А когда преступление все же было разоблачено, суд намеренно устроили во время отпуска Бакировых, которых, якобы, не удалось найти (это при советской-то паспортной системе!). Тем не менее связь КГБ с преступной шизофренически-антисемитской мафией в данном случае стала юридически доказанным фактом.

## 6

Суд удалился на совещание. Почему-то судья и заседатели выходили через дверь для публики, и я услышал, как, подойдя к первому ряду, женщина-судья негромко, но внятно произнесла:

— Здесь тоже одни шизофреники.

Она, видимо, имела четкое указание придерживаться схемы обычного дела об убийстве и не поддаваться на возможные "про-



вокации сионистов". Против ожидания, однако, в зале "сионистов" не оказалось — кроме меня в зале был только еще один еврей, мой друг-отказник с большим стажем. Зато густо были представлены единомышленники Емельянова, которые и создавали почти невыносимую шизофреническую атмосферу суда.

... Примерно через месяц, в Центральном доме литераторов, в перерыве какого-то скучного заседания, ко мне протиснулся Жуков и, с широкой улыбкой протягивая руку, спросил:

— Ну, чем тогда кончилось, каков приговор?

— По-моему, с самого начала было ясно!!

— Как так — с начала? — насторожился Жуков: не скажу ли я, что такие дела у нас решает не суд, а другие инстанции?!

— Ну, какой же приговор, если подсудимый невменяем? — сказал я.

Жуков как-то вдруг сник.

— Да, да, странное дело, — многозначительно протянул он, — очень странное...

— Что же тут странного? — возразил я. — Ясно, что это дело рук сионистов: они ее привезли ему в мешке. Вот только зачем он ее сжигать повез, — непонятно...

Жуков вдруг понял, что над ним смеются, его длинное худое лицо еще более вытянулось, и он поспешил удалиться.

А вскоре я листал небольшую книжку Жукова, где вне всякой связи с темой, но в полном соответствии с емельяновскими разоблачениями "жидомасонского заговора", много говорилось о "разлагающем и тлетворном влиянии масонства" на весь ход мировой истории (меньшими категориями "разоблачители" не мыслят!) Я уже был знаком с этой работой: она появилась в виде статьи в "Нашем современнике", том самом, который особенно охотно печатал антисемитскую братию. Я направил тогда в журнал возмущенную рецензию, но рецензию не опубликовали, а вот теперь статья Жукова вышла отдельным изданием. Антисемитскую музыку не остановили. И пока не видно, чтобы кто-то хотел ее остановить. Емельянов просто слишком погорячился, когда сменил перо на топор, — теперь он лечится в психбольнице. Но Жуковы действуют — пока! — только пером, поэтому они в безопасности. "Сионисты" не убивают их жен и не подсовывают им их в мешках. Жуковы уверенно смотрят в будущее, ибо знают, что время топоров еще придет. Всему есть свое время под солнцем, как сказано в одной из самых мудрых книг, когда-либо созданных человечеством...

## ЛЮДИ И КНИГИ

*Василий Аксенов*

Парный автор всегда интриговал мое воображение. Как это они умудряются не побить друг друга лица? Некоторое время жизни я провел рядом с одним таким тандемом. Это были Аркадий Арканов и Григорий Горин, подружившиеся в капустном цеху Первого Московского медицинского института. У них было отличное распределение ролей. Горин считался “везунком”, Арканов “бодягой”, то есть невезучим. Однажды Арканов прислал Горину телеграмму из Киева: “Срочно вылетай, не могу поймать такси!” В другой раз как-то Арканову случилось влюбиться, ну, и он сразу же позвонил Горину. Скажи, Горин, спросил он его, тебе когда-нибудь встречалась девушка, с которой тебе бы хотелось все забыть? — “Как раз с такой я сейчас лежу”, — ответил Горин. Трудно было вообразить, как такие разные индивидуальности во время работы добивались поразительной слитности, а между тем слитность имела место.

Однажды в дождливую крымскую зиму я был одновременно с этой парой в ялтинском Доме творчества. Наши комнаты оказались рядом. Я катал “бочкотару” и от удовольствия похохатывал. Соавторы за стеной тихонечко скрипели перьями, за час до обеда скрип обычно прекращался. На обеде Гриша спрашивал: “Работал, старичок? А мы с Арканом заснули...” Я тогда просто пришел в восторг — одновременно засыпают мужики, да ведь это же предел творческой слитности! Знакомо ли это Вайлю и Генису?

Вайль и Генис, что ж, “хоть имя дико, но мне ласкает слух оно”! Звучит, в общем-то, стройней, чем Горин и Арканов, пожалуй, приближается к Братьям Черепановым. Вот вам новости четырехгодичной давности из Москвы — Вайль и Генис еще тогда там были замечены. Генерал Кузнецов Феликс Феодосьевич, гуляя с газетой “Новое Русское Слово” по Переделкинским аллеям, намекнул полковнику Стаднюку:

— Вот два антисоциалистических литературных критика. Вот что случается, когда мы забываем о постановлении партии “Об усилении роли литературно-художественной критики”.

Не перестаю поражаться лукавством литературных критиков. Партия на критика возлагает, критик на партию кладет. Даже самый социалистический, даже вот такой, как сам генерал Кузнецов, даже когда самые сокровенные чаяния партии выражает, всегда что-то прячет свое, какую-нибудь боковую или заднюю мысль.

Одна фраза в сочинении Вайля и Гениса меня поразила. “Мы принадлежим к поколению транзитных пассажиров”, — сказали они. Глубоко копнули ребята! Между прочим, они и родились в транзитном городе Рига. Когда я смотрю на них, всегда вспоминается этот ганзейский порт в одноименном заливе.

В шестидесятые годы власть в Риге каждую ночь переходила из рук в руки, совсем затаскали беднягу. Штаб восстаний иной раз размещался в странном заведении, которое мы называли "Клуб Кикок имени Хичкока". Как раз напротив находились детский сад, куда ходил Генис, и школа, которую посещал Вайль. Лидер рижских авангардистов, ныряльщик, скалолаз, журналист, погонщик табунов и джентльмен Илан Полоцк иной раз, хватанув стакан два бальзама, показывал туда пальцем и туманно произносил — там наша надежда.

Она сбылась, как в песне поется, на берегах Гудзона. Немало удовольствия доставило нам в теснинах и пустынях эмиграции веселое перо двух братьев. К одному из главных достоинств их эссеистики следует отнести отсутствие императива. Мнение не навязывается. Вы можете согласиться с любой мыслью авторов, потом положить руку на плечо либо Вайлю, либо Генису и сказать:

— Правильно, старик (в традициях покинутых десятилетий), именно так все и бывает или, может быть, наоборот. Верно?

И не получите по лицу. Такова демократия в действии.

В заключение один, по-нашему говоря, аполинг куэстчн. Вайль и Генис сетуют на подрастающее эмигрантское поколение. Дети не хотят приобщаться к русской культуре. Эти дети, боюсь, и к американской не хотят приобщаться. Детей, не читающих Вайля и Гениса, нужно... нет, не пороть, но заставлять собирать бумажную макулатуру и металлолом на улицах Манхеттена.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**  
**НОВАЯ КНИГА**  
**ПЕТР ВАЙЛЬ И АЛЕКСАНДР ГЕНИС**  
**"ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ"**

240 стр.

10 долл.

Книга известных в эмиграции журналистов и критиков представляет собой иронический путеводитель по советской и эмигрантской жизни. Каждая ее глава — очерк одной из сторон советского "ада" и американского "рая": "труд", "досуг", "любовь", "культура" и так далее, а вместе они образуют выразительную и точную картину того, что было, того, что воображалось, того, что сбылось...

Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

## ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОЙ КНИГЕ

Виктор Каган

### ЧЕТЫРЕ ЛИДЕРА

*(Дора Штурман, "Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого"; Оверсиз пাবলিকেশн, Лондон, 1982)*

Сталин пробился к власти и уничтожил всех своих соперников, канонизировав Ленина, а с ним и себя как единственного достойного продолжателя его дела.

Хрущев унавозил почву для своего правления, противопоставив Ленина Сталину, которого он смешал с удобрением.

Так создалась и упрочилась легенда, будто добрый рождественский дед Ленин чуть было не довел до всеобщего блага, но за ним пришел злой Сталин и все испортил. А уничтоженные соперники Сталина обрели венец "истинных ленинцев", якобы унесших с собою рецепты "социализма с человеческим лицом". Все это абсурд — прежде всего, с точки зрения самого же марксизма, согласно которому личность может играть роль в истории, только пlying по течению, но отнюдь не направляя оное. В общеизвестном секретном докладе Хрущева ("О культе личности") на XX съезде это противоречие коммунистической теории с коммунистической легендой выставлено особенно рельефно и выглядит очень комично. Но легенды создаются не для людей мыслящих...

Чтобы рассеять нежнорозовый легендарный туман, скрывающий от глаз море крови, нужно разобраться,

1) может ли в принципе существовать рецепт "социализма с человеческим лицом", осуществим ли такой социализм?

2) кем были на самом деле Ленин, Бухарин и Троцкий, в которых хотят видеть положительную альтернативу Сталину?

На первый вопрос Дора Штурман ответила в капитальном труде "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат". Социализм в понимании Маркса и Ленина человеческого лица иметь не может. Оптимальное управление всеми группами общества из единого поставленного над ними центра неосуществимо, так как физически невозможно переработать потребное для этого количество информации. Осуществима лишь антиутопия — оптимизация управления по критериям центра, игнорирующая интересы общества.

На второй вопрос отвечает ее книга "Мертвые хватают живых (читая Ленина, Бухарина, Троцкого)"\*, тесно примыкающая к первой работе и в значительной мере опирающаяся на ее результаты. Последовательный научный подход позволил автору решить чрезвычайно трудную задачу — создать цельные портреты Ленина, Бухарина и Троцкого.

\* \* \*

Человек не эквилибрист на проволоке. Его жизненный путь не линия, а полоса, которая одинаково включает точки, лежащие на противоположных ее сторонах.

\* Далее в тексте цифры в скобках указывают страницы этой книги.

Маркс назвал в числе любимых своих писателей и Шекспира, и Поль де-Кока.

Ленин был главным вдохновителем и автором первого декрета об ограничении свободы печати. И он же на одном из заседаний ЦК в самом начале нэпа предложил разрешить издавать газеты всем, кто об этом ходатайствует.

— Но ведь тогда перестанут читать нашу “Правду” и “Известия”!

— Если мы не умеем делать их такими, чтобы их хотели читать, то туда нам и дорога.

Предложения все же не приняли. Эту неправдоподобно звучащую историю мне пересказал покойный Д. М. Стонов, слышавший ее от очевидца.

Сталин более десяти раз смотрел “Дни Турбиных”, а восхваляющий его “Батум” поставить запретил. “Бег” он назвал белогвардейской пьесой, соответственного мнения был, видимо, и об авторе. Но Михаил Булгаков умер в своей постели, а многие вполне верноподданные писатели погибли в застенках и лагерях.

Ежов, чьим именем часто называют один из самых кровавых периодов советской истории, спас дочь Гучкова, даже рискуя собственной головой: предупредил, чтобы она немедленно возвращалась из Москвы в Париж, когда было решено внести ее в список на уничтожение. Она сама это рассказывала уже много лет спустя, давно разорвав с французской компартией.

Противоречия подобного рода можно найти в любой биографии. Всякое жизнеописание неизбежно создает образ. “Объективное отражение объективной действительности” — идея, идущая от незнания азов физической оптики, которая учит, что получение изображения начинается с ограничения световых пучков. Портрет изображает человека не “каким он был”, а каким видел его художник. Аналогично и жизнеописание создает образ, увиденный биографом. Перефразируя известную поговорку об историках, можно сказать, что портретов и биографий нет, есть только портретисты и биографы.

Создание цельного образа — это, прежде всего, проблема ведущего признака. С точки зрения торговца лифчиками главный признак женщины, — что она носит бюстгальтер. С других точек зрения этот признак неважен и даже незаметен. Ведущий признак отличается тем, что многие другие можно вывести из него как следствия. Однако ведущие признаки одного и того же человека в частной и общественной жизни — разные. Цельное восприятие исторической личности затруднено именно тем, что у нее, по образному выражению Р. Л. Берг, есть не только структура, но и архитектура: историческая личность видна не только родным и близким, с которыми общается непосредственно, но и издали и в исторической перспективе. “Нереида” восхищает и не уменьшает симпатий к Пушкину, хотя все согласны, что подглядывать, как кулается девушка, — подлово. Причем тут не влияет, действительно ли он подглядывал за Марией Раевской (В. Вересаев. “Рассказы о Пушкине”) или, увлеченный ею, создал этот образ силой своего воображения.

Когда историческая личность — политический лидер, дело усложняется еще более.

Во-первых, свидетельства его и его близких, по которым воссоздается образ, искажаются политическими пристрастиями. Более того, из политических соображений эти люди идут и на сознательный подлог. Луначарский писал, будто Ленин изо всех сил противился красному террору и вынужден был

согласиться ввести его только после убийства Урицкого. "Троцкий никогда не упускал случая скрыть или извратить факты в интересах политики" (Р. Конквест. "Большой террор", стр. 819). Памятуя, что для Ленина и ленинцев "неважно, что говорить, важно для чего говорить", Дора Штурман сумела не поддаваться обману.

Во-вторых, биографы часто не могут устоять перед обаянием и демагогией своих героев. Уметь быть обаятельным — необходимое профессиональное качество любого лидера. Ленин отлично это умел — притом, что характер его был весьма и весьма отталкивающим. И то, и другое ясно видно и в советских сюсюреалистических мемуарах, и в трезвых воспоминаниях Н. Валентинова, Бухарин, Троцкий, Сталин, Гитлер — все они умели быть по-своему обаятельными. Демагогия — это искусство увлечь за собой людей, воздействуя прежде всего на их инстинкты, чувства и накаляя страсти так, чтобы "рассудок уж молчал". Цель научной дискуссии — поиск истины. Цель обращения к массе совсем другая: привлечь людей на свою сторону, повести за собой. А так как массовая психология зиждется более на предрассудке, чем на рассудке, и в то же время именно массы тягловая сила истории, то во все времена все лидеры так или иначе прибегали к демагогии. Троцкий, Гитлер были прежде всего демагогами-ораторами. Ленин, Бухарин были более демагогами-литераторами. У Сталина не было ни ораторского, ни литературного таланта, но, первоклассный организатор, он оскорбительно хорошо понимал людей, виртуозно умел играть на их слабостях и проблемы демагогии успешно решал посредством радикально усовершенствованного им парткратического аппарата. Чтобы не подпасть под влияние своих персонажей, нужно суметь вскрыть до конца реальное содержание их фразеологии. Дора Штурман отлично справилась с этой задачей.

В-третьих, оценивать политического лидера невозможно, если не видеть в нем творца истории. Между тем, видеть такую его роль часто отказываются, и нетрудно понять, почему. Вплоть до XX века полагали, что любой процесс можно описать как цепочку событий, в которых каждое последующее событие — необходимое, детерминированное следствие предыдущего. Но, отождествляя историческую закономерность с такой абсолютной детерминированностью, невозможно понять ход истории, если заранее не исключить влияния случайного фактора — отдельной личности. Нельзя не подивиться иным рассуждениям в защиту такого подхода. Л. Толстой писал: "Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пошли бы на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть". Поразительно, как он не заметил, что сам же себя и опроверг. Если приказ одного Наполеона равносильно действию не одного, но всех сержантов запаса, это и значит, что его роль в возникновении войны была решающей.

Плеханов утверждал, что личность может влиять лишь на оттенки исторических событий, и тут же отмечал, что ослабление французской армии вследствие назначения генералов по протекции маркизы Помпадур было немаловажным фактором в проигрыше войны с Англией, тогда как если бы при страстием к прекрасному полу отличался не сам Людовик XV, а его кучер или конюх, последствия для истории Франции были бы иными.

Эти два примера достаточно иллюстрируют и ширину фронта сторонников исторического детерминизма, и уровень их аргументации.

Дора Штурман показывает, что историю творят совсем не массы. Для таких сложных систем, как социальные, характерно колоссальное усиление управляющих сигналов, и отдельная личность вполне может играть решающую роль в событиях исторического масштаба — если (и только если) ей доступны “кнопки”, которыми подаются эти сигналы.

Принц обменялся платьем с похожим на него простым мальчуганом. Стражник не узнал принца, вышвырнул его за ворота дворца — и наследник престола превратился в бесправного оборванца. Нечто подобное произошло с Лениным во время последней его болезни. Но мытарства марктовеновского героя закончились благополучно, он стал королем еще при жизни. А Ленину положение вождя и учителя, чье слово — закон, вернула только смерть. И от пульта управления отшвырнул его не случайный безликий стражник, а “ближайшие ученики и верные соратники”.

Стоило болезни ослабить его хватку, и недавно всесильный вождь очутился в клетке — позолоченной и выложенной ватой изнутри. 18 декабря 1922 г. пленум ЦК возложил на Сталина “персональную ответственность за соблюдение режима, установленного врачами для Ленина”. На деле это значило, что Ленина и его родных отдали во власть Сталина, с которым у них были тогда весьма неприязненные отношения. Назначения врачей диктовались не только заботой о здоровье, они бывали и не следствием, а причиной ухудшения самочувствия больного (18-19). Когда Крупская записала письмо к Троцкому, продиктованное Лениным с разрешения врачей, Сталин учинил ей грубейший разнос. Крупская обратилась к Каменеву, но сама тогда же выразила согласие забыть сказанное (20). Ленину она рассказала об оскорблении только три месяца спустя, а потом пыталась задержать отправку его письма (19). В редакционном примечании есть ссылка на письмо М. Ульяновой президиуму объединенного пленума ЦК и ЦКК (1926 г.), в котором сказано, что Сталин извинился (22). Если такое письмо и было, оно все равно не заслуживает доверия, так как писалось в связи с тем, что вопрос поднял на пленуме Зиновьев, тогдашний лидер “новой оппозиции”. Извинение Сталина нигде не публиковалось и не цитировалось, Крупская никогда о нем не упоминала. В письме Ленина поражает несвойственный ему тон “мягкотелого интеллигента”, продиктованный, видимо, сознанием своего бесправия. Иллюзий насчет своего положения у него было немного.

— Если бы я был на свободе, — сказал он однажды Л. Фотиевой и повтори, смеясь, — если бы я был на свободе... (17).

Вата не только смягчает удар, она еще и заглушает крик. И клетка — хоть бы и золотая — не зеленая ветка. Осужденный, как “изменник Родины”, Н. В. Тимофеев-Рессовский жил на “шарашке” IX управления МГБ в отдельном коттедже с вольными женой и сыном. Его рабочего дня не регламентировали, еду и выпивку приносили по его заказу. Так ли уж сильно отличалось от этого положение Ленина?

“Ленинская гвардия”, люди, поставившие Сталина начальником режима семьи Ульяновых, сами не любили и не уважали “гениального среднего члена партии” (Троцкий о Сталине). Они просто хотели сделать его руками грязную работу — убрать Ленина из политической жизни. Сталин “оправдал высо-

кое доверие”, а через немного лет убрал и всю эту гвардию и не только из политической, а и вообще из жизни.

Картину умирания Ленина, преданного ближайшим окружением, Дора Штурман воссоздала в основном по советским публикациям записок и писем Ленина и дневников дежурных секретарей, этих “писарей-конвоиров, приставленных к нему тем же ЦК” (14). Она цитирует еще и А. Авторханова. В сведениях Авторханова можно и сомневаться, если они почерпнуты у недобросовестных свидетелей, вроде Троцкого. Но они добавляют немного, как и слышанные мною рассказы, что для Ленина издавался специальный экземпляр “Правды”.

Как дошел он до смерти такой? Автор отвечает и на этот вопрос, опираясь на самого Ленина. Уверовав в утопию Маркса, он поставил себе неразрешимую задачу. Его главным правилом было играть против всяких правил (92-93), т.е. принцип вседозволенности (разумеется, только для одного себя), его идеологией — диамат, сила которого “не в теоретической правильности, а в сознательной инструментальности учения. (...)”. В мире нет примера другого учения, которое в силу своей сознательной инструментальности давало бы такое неограниченное право своим последователям не считаться с собой в минуту опасности — освобождало бы их от присяги. Диамат, как покладистая жена, не требует супружеской верности и благословляет своих последователей на идейно-политический разврат, незабываемые образцы которого мы видели” (Ю. Марголин. “Диамат”).

Чтобы захватить власть, ему нужно было развалить армию и экономику своей страны во время войны. Нужны были деньги — хотя бы и вражеского государства — для финансирования своей пропаганды. И, главное, нужна была единовластно управляемая его твердой рукой “партия нового типа” — готовые на все исполнители, покорные руководителю, которого невозможно было “убедить в чем-нибудь, в чем он сам не был убежден” (Сталин о Ленине /33/ ). Такую партию он создал, армию и хозяйство развалил, власть захватил. Победу большевиков сильно облегчило, что их противники (Керенский) тоже верили в их утопию. Только, по образному выражению автора, они хотели не тащить в ад железными крючьями за живое мясо, а доставить туда на самолете люкс. Этим отчасти объясняется, что они вели себя с большевиками, как с политическими партнерами, вместо того, чтобы преследовать их в уголовном порядке. И все же, если бы не тактическое дарование и энергия Ленина, большевики оказались бы в лучшем случае небольшой фракцией российского парламента. Ленин единственный среди них безошибочно находил единственные тактические ходы, ведущие к победе. Они это понимали и шли за ним, снося его высокомерие, властность, нежелание мерить себя и других одной меркой.

Достигнув высшей власти, Ленин не смог царствовать спокойно: он сразу стал перед неразрешимой задачей полностью централизовать управление страной. Вначале он думал, что победит в конкуренции и с частным издателем, и с частным предпринимателем. Но жизнь очень скоро поставила перед альтернативой: либо отказ от монопольной власти, либо диктатура, “не ограниченная никакими законами и опирающаяся исключительно на насилие”. Идеология и мораль Ленина и ленинцев предопределили выбор второго пути. И тут обнаружилось, что Ленин, этот непревзойденный мастер ломать, совсем не такой



мастер строить. Вероятно, и сам он, и его приближенные верили, что ему мешает только болезнь. Но как бы то ни было, он утратил прежнюю свою ценность в глазах своей гвардии. И тогда вся гвардия дружно, как один человек, предала своего вождя — в полном согласии с его и своей моралью.

Вряд ли редакторы Полного собрания сочинений Ленина предполагали, что оно полностью взрывает каноническую версию его жития и деяний. Но ученый-исследователь тем и отличается от простого эрудита, что умеет извлекать нетривиальную информацию из самых тривиальных, набивших оскомину текстов.

\* \* \*

В работах Бухарина автор увидел многое, чего не разглядел С. Хейтмен, редактор издания бухаринских трудов, снабдивший их предисловием. “Лучший теоретик партии” элементарно недобросовестен в теоретических построениях. Зная, что и в России, и во всем мире пролетариат лишь незначительное меньшинство, он пишет, будто диктатура пролетариата есть диктатура большинства (172-173). Приводя фальшивые примеры, он “объясняет” академику И. П. Павлову, будто рабочий класс, несмотря на свою темноту, может и государство строить, и культуру создавать (180-182). И примерно тогда же пишет в других работах, что вся сила “гегемона” не в нем самом, а в его вождях (186), отождествляет диктатуру пролетариата с диктатурой партии, которую затем подменяет диктатурой вождей (187) — “интеллигентских перебежчиков”, выходцев из буржуазии (183, 188).

Теоретик, который, словно подгулявший купчик, “куда хотит, туда и ворочит, и его ндраву не препятствуй”, естественно, должен быть гонителем интеллигенции. Тут Бухарин достойный продолжатель Ленина. Впечатляют выдержки из его доклада на Всероссийском съезде учителей (190-192). Бухарин им растолковывает, что “человек в общем может быть и некультурным, а политически правильно вести дело”. Правда, “учитель культурней — это верно, в общем и целом он культурней и больше знает, — верно. А вот, если вы это скажете насчет политической квалификации, на круг, на сплошную, то это будет неверно, потому что Комсомол может иметь массу недостатков (...), но он есть плоть от плоти, кость от кости партийной организации”.

И учителя не должны претендовать на руководство своими учениками-комсомольцами. Потому что те

хотя немножечко дерут,  
Зато уж в рот хмельного не берут  
И все с отличным поведением.

Впрочем, в отличие от крыловских певчих, комсомольцу выпить тоже не грех. По мнению Бухарина, “величайшая опасность” если учитель “видит, главным образом, то, что составляет радость жизни в деревне — дебоширство и прочее (...), такой-то комсомолец охальник, такой-то там украл, такой-то с девичей не так поступил, вот там-то комсомольцы вечеринку с выпивкой устроили, а там — дебош в церкви, и т.д. (...). Может быть, это все фактически правильно, но” в глазах Бухарина все эти сельские радости зло не столь большой руки, когда им предаются социально близкие, “плоть от плоти, кость от кости”.

Теоретический аспект бухаринской оппозиции Сталину есть просто плод незрелой мысли. Автор текстологически доказал, что не Бухарин, а Сталин был преемником идей Ленина. Ленинский нэп был вынужденным тактическим маневром, чтобы выиграть время и организовать тылы для истребительного наступления на крестьянство. Стратегия Ленина и Сталина идет от Маркса и Энгельса, у которых "копните глубже — и вы (...) обнаружите смертный приговор крестьянству" (281). Полностью захватить свободный рынок одними лишь экономическими средствами невозможно, а "за свободной экономикой стоят свободные производители" (Сталин). Существование независимых людей, которые могут действовать и в своих интересах, несовместимо с монопольной властью партукратии, разрешающей действовать только в ее интересах. Бухарин же хотел именно соединить несоединимое: диктатуру партии и экономически свободных крестьян.

С. Хейтмена, видимо, подкупило, что Бухарин "поглощал литературу на нескольких языках" и "обсуждал весь спектр идеологической мысли XX века". Но качество "обсуждения" не оставляет сомнений, что мыслить независимо и честно он не умел. Может быть, все-таки можно найти у Бухарина и что-то действительно созвучное тем, кого он величал "учеными королями либерализма", "социал-демократической падалью", "пустопорожними болтунами, занятыми проституированием марксизма"? Наверное, можно. Но его место в истории определило то, что он был одним из лидеров партии Ленина и одним из главных пособников Сталина во внутрипартийной борьбе. Даже его оппозиция не была попыткой пойти против течения: он ведь не хотел посягать на диктатуру партии и пока дело не дошло до него самого заливхвательно иронизировал насчет инакомыслящих "нытиков" и "микробов", которые "были передвинуты на более северную зону" (207). Поэтому трагический конец Бухарина может вызывать к нему не более, чем простую человеческую жалость.

\* \* \*

Первым оратором в мире считали Жореса, вторым — Троцкого. Ораторский талант был особенно важен в период февраля-октября 1917 г., когда государство разваливалось, и успех решало умение увлечь за собой митингующую толпу. Но Троцкий был еще и талантливым организатором. Председатель Петроградского совета и большевистского Военно-революционного комитета, он непосредственно руководил октябрьским переворотом. Народный комиссар по военно-морским делам, он установил в Красной армии твердую дисциплину и решил проблему управления, поставив на командные посты старых военных специалистов и приставив к ним комиссаров, наделенных такими же правами, как и командиры частей. Это двоеначалие было окончательно упразднено только в середине советско-германской войны.

Заменить ли горелкою Бунзена

Тысячесильный Осрам?

Что после Троцкого Фрунзе нам?

Фрунзе — просто срам.

В начале двадцатых так думали многие, не один Маяковский.

Дора Штурман пишет, что Троцкий "вдохновенно играет на исторической

сцене, когда имеется не только автор, написавший ходкую пьесу, но и находчивый режиссер, и аудитория, которую сравнительно легко возбудить. Мизансцену, рисунок собственной роли (роли трибуна или командующего) Троцкий (...) импровизирует легко и успешно" (339). Эта оценка указывает одну из важных причин победы над ним Сталина, который был более режиссером, нежели актером. Автор отмечает напрашивающуюся параллель между Троцким и Гитлером. И тот, и другой были ораторы-фейерверкеры, зажигавшие аудиторию, а с нею и себя. И тот, и другой фанатически верили в правоту своих идей и потому теряли чувство реальности и бывали открытыми до цинизма. Троцкий "во весь голос" говорил о целях и методах партийной тактики, о колонизации страны партией, о всемирной коммунистической экспансии — словом, о вещах, которые Ленин, Сталин и их преемники успешно осуществляют на деле, не декларируя неуместно на словах.

Троцкий владел европейскими языками, был талантливым журналистом и много писал на самые разнообразные темы. Это создало миф о Троцком — интеллигенте с широким кругозором.

На самом деле Троцкий прежде всего антиинтеллектуал: по собственному его признанию он всегда мыслил, управляясь от теоретической схемы и не считаясь с фактами (421). Его воззрения на литературу и искусство примитивны, его эстетические оценки поверхностны и несостоятельны. Например, он скопом списывает в тираж всех писателей-эмигрантов и в их числе И. Бунина, который именно в эмиграции создал лучшие произведения\*.

Миф о Троцком-интеллигенте, естественно, породил совсем уж противостественный миф о Троцком-демократе, хотя по свидетельству М. Иоффе, восторженной его почитательницы, "в отношениях Троцкого с окружающи-

---

\* М. Иоффе, вдова А.А. Иоффе, одного из ближайших друзей и сподвижников Троцкого, вспоминает его отзыв об Анне Ахматовой:

— Понимаете, это очень большой поэт. Если она молодая, то вырастет в настоящую и, может быть, даже классического поэта.

— Нет, Лев Давидович, мне интересно, какого вы мнения именно об этих стихах?

— Ну, как вам сказать, они такие нежные, такие лирические, такие гинекологические, что сразу видно, что их писала женщина, а это необязательно для стихов. ("Время и мы" №20).

Разговор происходил на квартире Иоффе, речь шла о "Четках". Стихи Ахматовой уже и тогда занимали почетное место в русской поэзии. "Сероглазого короля" все стихолобы знали наизусть. "Четки" и вправду обнаруживают пол Ахматовой, но ведь и по стихам Пушкина сразу видно, что их писал мужчина. Тут сказался не пол Ахматовой, а потолок Троцкого.

На литературный вечер для избранных Троцкий пригласил Пастернака, Кирсанова и Сельвинского, чья "Уляевщина" ему тогда особенно понравилась. А в статьях для неизбранных ратовал за "одемянивание", про которое сказал тот же Сельвинский:

*Литература — не парад  
Выстраиваться в ряд дотошный.  
Я одемяниться бы рад,  
Да обеднячиваться тошно.*

ми чувствовалось, что он незримо держит людей на расстоянии". Расстояние было достаточно большим, чтобы не различать виновных и невиновных. Во время гражданской войны он обнаружил на одной станции отогнанный на запасные пути вагон, в котором были раненые красноармейцы, три дня не получавшие еды. Троцкий и не подумал искать виновных, а приказал тут же, на перроне, расстрелять 42 человека — весь обслуживающий персонал станции. Интересно: в 1952 г. следователь не записал этого показания очевидца, счел, что оно выставляет Троцкого в благоприятном свете. Для Троцкого же эпизод очень характерен. На XI съезде он говорил, что нередко в армии "расстрел был жестоким орудием предостережения другим" (399). В политике Троцкий выделялся своим антидемократизмом из всех тогдашних партийных лидеров. Тут не может быть двух мнений, даже если ограничиться теми примерами, которые приводит автор. Троцкий громкогласно требовал всего, что позднее делалось под аккомпанемент "Песни о Родине" ("я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек") и бесчисленных песен о Сталине ("о Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ"). Впрочем, даже Сталин не дошел до такого всеохватывающего порабощения, какого требовал Троцкий, выдвигая идею милитаризации рабочего класса через профсоюзы (390).

Третью часть книги завершает разбор одной из последних рукописей Троцкого: "Что такое СССР и куда он идет?". В ней немало разоблачений, которые не могли не задеть Сталина. Но сплошь и рядом Троцкий обнаруживает удивительное непонимание советской политики, принимая за чистую монету советские декларации. Конструктивной альтернативы Сталину у него нет. Его прогнозы, как правило, беспочвенны и ошибочны, а его идеи могут вести лишь к открытой конфронтации с демократическим миром и в такой же, если не еще худший, тоталитарный тупик.

\* \* \*

Отдельного раздела о Сталине нет, но он виден достаточно ясно, так что книга на самом деле не о трех, а о четырех лидерах. При всех индивидуальных отличиях у них есть важные общие черты:

во-первых, антиинтеллектуализм — полное отсутствие сколько-нибудь строгого теоретического мышления, связанного логикой и опирающегося на факты (538);

во-вторых, бешеная политическая активность, особенно у Ленина и Сталина (540);

в-третьих, возведенная в принцип беспринципность и неразборчивость в средствах (536);

в-четвертых, готовность жертвовать ради своих целей миллионами людей (537), но не самими собой, как жертвовали собою идеалисты, увлеченные идеями революции. Говорят, Сталин сказал однажды, что смерть человека — трагедия, а гибель миллиона — статистика.

Трагедию бывшей Российской империи предопределили не только исторические условия, но и личные качества этих лидеров, их характеры, так верно предсказанные Пушкиным:

Мы все глядим в Наполеоны;  
Двуногих тварей миллионы  
Для нас орудие одно;  
Собою жертвовать смешно.  
Иметь возвышенные чувства  
Простительно в шестнадцать лет;  
Кто ими полон, тот поэт  
Иль хочет высказать искусство  
Пред легковерною толпой.

Поэтами они не были и от восторженных чувств избавились рано. Но высказывать искусство они умели, а толпа и в наши дни так же легковерна, как во времена Пушкина. Только легковерие обходится теперь несравненно дороже.

*Игорь Ефимов*

### **"И НЕ УЙДЕШЬ ТЫ ОТ СУДА МИРСКОГО"**

*(Дора Штурман, "Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого", Оверсиз пабликейшн, Лондон, 1982)*

Всякий человек, интересующийся русской историей XX века, так много уже прочел о вождях большевиков, что поневоле в сознании вырастает стена отталкивания. "Ленин, Бухарин, Троцкий? Но я все уже знаю про них, мое отношение к ним определено, никакие новые сведения не смогут существенно изменить его." Только доверие к имени автора, чьи статьи всегда читал с глубоким интересом, заставило меня открыть и прочесть первые несколько страниц. Спустя примерно час я поймал себя на том, что читаю запоем, не отрываясь, как детектив.

Мережковский однажды написал ("Толстой и Достоевский"): "Существует логика страстей; но существуют и страсти логики".

Это замечание в большой мере объясняет секрет увлекательности книги и статей Доры Штурман. У нее есть редкий дар: умение сплавлять психологические черты и политические идеи исторического персонажа в цельный и убедительный образ. И когда она начинает сквозь призму этого образа рассматривать весь ход исторических событий, в которые он — персонаж — был вовлечен, все его дела, речи и писания, картина начинает проступать перед читателем с неподражаемой ясностью и убедительностью.

"Ленин, это гигантский исторический Раскольников, заранее и раз навсегда разрешил себе переступить через кровь, которой потребует его цель... Но, в отличие от Раскольникова романтического, он не терзал себя самоанализом, не изводил себя сомнениями в том, имеет ли он право переступить". (Стр.165)

Меткое историко-литературное сравнение приобретает новые оттенки, когда мы рядом прочитываем две сценки о Ленине-человеке, выловленные зорким автором из томов воспоминаний о "великом вожде". Двоюродный брат рассказывает, как Володечка в детских играх догадался незаметно при-

клеивать своих бумажных солдатиков к доске так, чтобы их нельзя было сбить игральной шашкой, и хохотал над проигравшими соперниками (стр.93). А Крупская не без гордости описывает Ленина-охотника: однажды поднявшаяся вода реки согнала на маленьком острове кучу зайцев, и Ленин, не потратив ни одного патрона, прикладом набил полный мешок (стр.94). Какие уж там правила охоты, правила игры, правила честного противоборства! Выигрыш, победа — любой ценой. И это действительно на всю жизнь остается главным тактическим принципом вождя большевиков.

Миф о Ленине Справедливом, все еще имеющий довольно широкое хождение в мире, рассыпается в труху, когда Штурман приводит ленинские записки с инструкциями к составлению Уголовного кодекса. "Суд должен не устранить террор..., а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и прикрас". (Стр.121) Знаменитая "всеподметающая" 58-я статья тоже была сформулирована им: "Вариант 2-б: Пропаганда или агитация, объективно содействующие или способные содействовать... международной буржуазии", карается высшей мерой наказания (стр.120).

В своих мемуарах нынешний премьер-министр Израиля Менахем Бегин рассказывает, что, будучи арестованным НКВД в 1940 году, он спросил, каким образом к нему может применяться 58-я статья, если он был польским гражданином и находился до 1939 г. на территории Польши. "—Ну и чудак же вы, Менахем Вольфович! 58-я статья распространяется на всех людей во всем мире, слышите — во всем мире! Весь вопрос в том, когда человек попадет к нам или когда мы доберемся до него". (Стр.121)

Об этом решительном толковании хорошо бы помнить всем, кто нынче на Западе ратует за дружбу с Москвой — любой ценой. Если бы они не поленились прочесть Ленина с таким же вниманием, как Д. Штурман, они бы увидели, что альтернатива "better to be red, than dead" ("лучше быть красным, чем мертвым") для них не существует; что именно они, как политические активные элементы общества, будут уничтожены в первую очередь после прихода коммунистов к власти. Для них путь будет однозначным: "Today red, tomorrow dead" ("сегодня красным, завтра мертвым").

Еще более устойчивы в кругах западной левой интеллигенции мифы о Троцком: Троцком-интеллектуале, Троцком-демократе, Троцком-гуманисте.

Этот интеллигент рассказывает в своей автобиографии "Моя жизнь", как "стремясь оборонить доктринерскую определенность своего мышления и мироощущения, защищался от новых воздействий и жизненных впечатлений, в том числе и от воздействия искусства..." По его же словам, "дальше дилетантизма... не дошел". Особенность эстетического дилетантизма Троцкого заключается, однако, в том, что после 7 ноября 1917 года он счел себя вправе... "выносить приговоры, решая, чему в искусстве следует быть, а чему — не быть". (Стр.422)

Будучи высланным из СССР, Троцкий честит Сталина за все его злодеяния и пороки, в том числе и за антидемократизм. Но в период нахождения у власти сам он отстаивал абсолютный и полный диктат партии во всех речах и статьях. "Тов. Преображенский говорил, что нужны какие-то гибкие органы и, как он сказал, партийный децентрализованный аппарат. Это в корне ошибочно и неверно. Децентрализовать партийную власть это значит раста-

щить ее, сделать достоянием областной стихии, это значит уничтожить всякое руководство...” (Стр.387)

Наконец, так называемый гуманизм Троцкого очень хорошо проявился не только в годы гражданской войны, когда он вводил внутриармейский террор, расстрельные загранотряды, захват в качестве заложников семей офицеров, но и в период послевоенного строительства, когда он сформулировал главные постулаты рабского труда при социализме. "...Мы стоим перед необходимостью применения сложнейшей системы средств и методов, и духовного и организационного порядка, и характера премиального и характера карательного для того, чтобы повышать производительность труда на тех **принудительных основах, на которых строится все наше хозяйство**". (Стр.394)

Нельзя не согласиться с Дорой Штурман, когда она пишет: "Все жестокости, которые совершил Сталин, суть ничто иное, как историческая реальность лозунгов Троцкого!" (Стр.438)

В чем же тогда причина падения Троцкого, если его лозунги оказались фактически принятыми партией большевиков к реальному исполнению? В том, что он провозглашал эти лозунги, не камуфлируя их, с компрометирующей откровенностью. Тяга к эффектной позе была так сильна в нем, что он не затруднял себя пропагандными ухищрениями. Мировую перманентную революцию он так и описывал как постоянную агрессию коммунизма, имеющую целью завоевать мир; большевики же осуществляют ее исподволь, вопя о невмешательстве во внутренние дела других стран. Ограбление народа и введение рабского труда, декларировавшееся Троцким, коммунистическая диктатура осуществляет под лозунгом "неустанной заботы партии о повышении уровня благосостояния". Тотальный диктат партии во всех сферах жизни держится прочнее, когда он мотивируется "единством партии и народа", а не восхваляется как самоцель или как путь к неведомой мировой коммуне.

"Роль Бухарина в партийной политике 1917—1926 гг. не позволяет приписать ему простодушие современных его исследователей... Не имея другой легальной почвы для полемики, Бухарин решает (то же делали и Зиновьев, и Троцкий) опереться на словесные партийные декларации в борьбе против истинной партийной политики. Он как бы не видит (неужели действительно не видит?) того, что отказ от возобновления ленинской политики военного коммунизма по отношению к вставшему на ноги крепнущему крестьянству конца 1920-х годов ведет к "стольпинскому эффекту". Вырастает огромный класс фермеров, способный оказывать на правительство экономическое давление... Именно в стране с преобладающим и массивным, могучим крестьянством такой путь для монопартократии невозможен, губителен". (Стр. 310)

Этого важнейшего момента стараются не замечать многие западные левые историки, занимающиеся Бухариным. (См. Стивен Козн, "Бухарин и большевистская революция", 1980, Страткона, США.) Им дорога любая, пусть даже иллюзорная, альтернатива сталинской политике, ибо она питает их сокровенные надежды на "правильный, хороший коммунизм, на коммунизм с человеческим лицом". Но судьба Бухарина как раз и подчеркивает принципиальную невозможность альтернативы: этот деятель в течение десяти лет в союзе со Сталиным строил монопартократию и моментально утратил всякую власть и влияние, как только заговорил о представлении частичной экономической независимости крестьянству.

Основной тезис Штурман — единственным настоящим продолжателем дела Ленина был Сталин, а не Бухарин и не Троцкий — не вызывает сомнений. Но, чтобы подчеркнуть последовательность и целеустремленность Сталина в деле обеспечения тотальной власти для партии и для себя, она порой преувеличивает его дальновидность и рациональность его поведения. Верно, что рабочая оппозиция в партии была реальностью и представляла угрозу. Верно, что еще большую угрозу представляло крепнущее крестьянство. Но, в конечном итоге, любая группа подданных представляет известную угрозу тотальной власти, однако полное уничтожение подданных чревато не просто опасностью, а гибелью: некому будет кормить партократию, некому будет защищать от внешнего врага. Именно это случилось недавно с группой Пол Пота в Камбодже: она реализовала свои людоедские инстинкты с такой стремительностью, что довела себя до гибели.

В этом смысле избивание профессиональных кадров в армии и промышленности, устроенное Сталиным в 1937—40 гг., никак нельзя назвать рациональным даже с его шкурной точки зрения. Ибо, уничтожив всякую, даже потенциальную, угрозу своей власти изнутри, он сделал себя крайне уязвимым для нападения извне. Прострация, в которую он впал в первые недели после немецкого вторжения в июне 1941 г., ясно показывает, что он прощался с жизнью, что он просто не верил, что кто-то станет защищать его. Только политическая бездарность Гитлера, вообразившего, что Россию можно покорить военной силой, не предлагая ей никаких политических альтернатив, спасла его тогда. Нынешнее большевистское руководство извлекло урок из войны. Оно поняло, что тотальный террор и тотальное рабство сталинского образца, несмотря на всю их соблазнительность, могут оказаться гибельными для них в индустриальную эпоху. Таким образом, можно сказать, что в послесталинскую эру взяли верх не бухаринские идеи и лозунги (несовместимые — здесь Штурман абсолютно права — с принципами партократии), но бухаринские страхи перед доведением страны до разорения, чреватого военным поражением и — как следствием — потерей власти, а может, и гибелью.

Книга Штурман радует не только ясностью мысли, глубиной анализа, яркостью и точностью стиля. В конце читатель испытывает еще и моральное удовлетворение — когда видит, что все три персонажа успели получить возмездие, дожили до жизненного краха. Троцкий и Бухарин были унижены и убиты презираемым когда-то соперником, объявлены несуществовавшими, так что даже упоминание их имен в печати до сих пор запрещается цензурой. Но, оказывается, и Ленин в последние полтора года жизни успел попасть в железные тиски изобретенной им системы подавления неугодных. Ибо он стал неугодным для партократии на новом этапе — и она практически поместила его под домашний арест, погрузила в вакуум "лечения", оставила умирать в унижительной беспомощности и одиночестве, рассылающим "секретные" инструкции, которым никто больше не следовал, пишущим статьи, которые никто больше не печатал. (Из воспоминаний Е. Драбкиной: "Ленин часами сидел в одиночестве и часто плакал", стр. 160). Если бы его разваливающийся организм протянул дольше, как знать, не оказался бы он первым пациентом "спецпсихбольницы"?

Хотелось бы, чтобы современный читатель обратил внимание еще на одно важное замечание в "Заключении": "Эти деятели (Ленин, Бухарин, Троцкий)



политически ошеломительно активны... А серьезная и честная мысль их оппонентов издавна и по сей день больна острой гипертрофией личной и социальной ответственности, перерастающей в парализующую рефлексию. Легко представить себе, чем чревато такое распределение качеств: активность в сочетании с безответственностью и пассивность в сочетании с правдой". (Стр. 540)

*Михаил Агурский*

## НОВОЕ СЛОВО О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

*(Эмиль Коган. "Соляной столп. Политическая психология А. Солженицына", "Поиски", Париж, 1982, 230 стр.)*

Читателя, незнакомого с французской литературой и философской традицией, книга Когана возможно удивит. Но эту книгу следует воспринять именно в рамках этой традиции. Эмиль Коган давно живет во Франции и, в отличие от подавляющего большинства русскоязычных авторов, погрязших в источниках, доступных им только по-русски, широко оперирует идеями французского литературоведения и французской философии. Но дело не только в источниках. Коган тонкий и мыслящий наблюдатель, не придерживающийся к тому же шаблонов. Он не занимается надоевшим иконоборчеством, вошедшим в моду в некоторых эмигрантских кругах. Он честно старается понять писателя, его внутренний мир, его психологию. В обильной литературе о Солженицыне это новое слово.

Коган отвергает примитивные обвинения против Солженицына. По его словам, "национализм писателя не экспансивный, а интенсивный. И ему чужд культурный изоляционизм. Солженицын не участвует в попытках соскоблить с родной культуры влияние модернизма и постреволюционного авангардизма, вытравить из нее следы Маяковского, Бабеля, Мандельштама и всех русских писателей нерусских кровей" (стр. 47).

Более того, по словам Когана, "охранительная реакция Солженицына перерастает в широкую и целостную экологическую программу, мало чем отличающуюся от современных западных, но далекую от центра интересов его национальных спутников" (стр. 49).

Коган также понимает, что "тоталитаризм для Солженицына — не мистическое свойство славянства, ему подвержены все расы" (стр. 52). "Не стоит делать из писателя, — правильно замечает Коган, — апологета сокрушительной диктатуры. Его устроил бы лишь тот авторитаризм, что без всякого семантического нажима сочетался бы с определениями христианский и правовой. Он согласен чтить лишь ту власть, которая чтит свои собственные законы. Солженицын испытывает биологическую, англо-саксонскую привязанность к праву и питает отвращение к культуре грубой силы" (стр. 69-69).

Но при этом Коган замечает одно явное противоречие у Солженицына. Да, Солженицын — контрреволюционер, но его "контрреволюционный язык ...

прячет молочные зубы революции". Это глубокое замечание. Мятежный дух Солженицына труднее всего вписывается в рамки консерватизма. Между прочим, Коган обращает внимание на то, что Солженицын, возможно, описал дореволюционную Россию хуже, чем она была на самом деле, что по существу подводит читателя к мысли о неизбежности социального переворота.

"Из портретной галереи золотопогонных гомункулусов выносишь странную дилемму. Или Советская Россия — прямое продолжение царской по линии правящего класса, и тогда стране было нечего терять и незачем нынче проклинать революцию, или же в романе произошел перенос черт одной эпохи на другую" (стр. 142). Коган смутно чувствует, что Солженицын на самом деле внутренне близок к анархизму. Между прочим, эту близость отмечал, например, и такой исследователь русского анархизма, как Поль Аврич.

Коган с удовольствием отмечает это внутреннее противоречие Солженицына, ибо сам он явно относится к революции с симпатией. Конечно, его симпатия распространяется не на ленинскую революцию, которая, по его словам, "почти сразу очерилась контрреволюционными клыками" (стр. 122), — точнее сказать, что в книге Э. Когана живет романтизм "мятежа", вечно уповающего на то, что мятеж этот может обрести, наконец, свою идеальную гуманную форму. В этом Коган обнаруживает влияние традиционного французского радикализма.

Самым интересным в книге мне представляется попытка психоанализа творчества Солженицына. Здесь Э. Коган исходит из интересной, но, увы, неизвестной русскоязычному читателю работы Алена Безансона "Закланный царевич". По мнению Э. Когана, "особенности русской психики в ее культурно-религиозном, политическом и духовном планах" связаны "с неразрешенностью у русского человека эдипова комплекса, неспособностью превзойти отца и добиться своей автономии; тогда как для западного христианина Голгофа — символ освобождения, для восточного ... встреча с Отцом завершается, как правило, духовным крахом сына" (стр. 97). С этой точки зрения только грузин Сталин был "единственным случаем мужского пребывания в родительском доме", в остальном же советский бюрократический тоталитаризм характеризуется "преобладанием женского начала" (стр. 100-102).

Партия в интерпретации Когана — это новая "коллективная Мать".

Книга Когана воспринимается как фейерверк мыслей и ассоциаций; но это же обуславливает и ее слабость — она кажется несколько рыхловатой.

*Михаил Вайскопф*

## СИМВОЛ ИЛИ СОЗНАНИЕ?

*(М. Мамардашвили, А. Пятигорский. Символ и сознание /Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке/. Иерусалим, 1982)*

На мой взгляд, "Символ и сознание" — это не столько философия, сколько литература, мастерски замаскированная под философию. Специфическая же литературность книги определяется прежде всего тем обстоятельством,

что исходная ее проблематика — проблематика метасознания — не поддается не только какому-либо осмысленному решению, но и рациональной постановке. Действительно, где та внешняя позиция, с которой можно рассматривать сознание, — иными словами, что такое “метасознание”? Здесь, очевидно, намечаются два подхода: 1) либо это не-сознание (подсознательное, бессознательное и т.п.); 2) либо это всего лишь некая часть, сторона сознания, совершающая рефлексивное действие; значит, в строгом смысле, вовсе не “метасознание” — если, конечно, не заниматься пустым словесным трюкачеством. В первом плане решение вопроса в принципе невозможно, тогда как описание второго типа широко представлены в рационалистической философии, с Декарта и до феноменологии, анализирующей “чистое сознание”. Отнюдь не чураясь первого подхода, обрекающего их на своеобразный иллюзионизм, авторы в остальном довольно преданно следуют за Гуссерлем, при этом, тем не менее, постоянно оспаривая и, в общем, психологизируя его метод.

На деле все это выглядит достаточно странно. “Сознание как таковое (а не его понимание) ... не может быть для нас феноменом жизни и поэтому оно не может быть объектом позитивного знания... оно не может быть никаким объектом”. На нет и суда нет. О чем тогда и писать? Зато эта, весьма неплодотворная в философском отношении, позиция создала примечательный художественный эффект, поддерживаемый тщетным стремлением автором передать непередаваемое, выразить невыразимое и превращающий их “размышления” в задушевно-лирическое эссе. Основными средствами описания становятся туманный, бессвязный намек, бесчисленные оговорки и вынужденные трюизмы, поданные с торжественной интонацией. Ситуация перекликается с излюбленным шопенгауэровским примером: Мюнхаузен, вытаскивающий себя из болота за волосы. Естественно, что важнейшей эпистемологической категорией всеерьезно объявляется непонимание как свидетельство “незавершенности и самостоятельности сознательного бытия”, не поддающегося формализации и объективизации<sup>1</sup>.

С чисто концептуальной точки зрения невозможно было, однако, без конца удерживаться на величавой, но неудобной позиции “метатеории” сознания. При всей нелюбви авторов к внятным определениям, в их классификации отчетливо вычленяются следующие моменты: “сфера” — насколько я могу судить, нечто вроде трансцендентального субъекта неокантовцев и Гуссерля; “состояние” — формальные предпосылки или условия сознания (сами авторы, правда, заведомо отвергают “формальную” трактовку, но иной, более убедительной не дают); “структура” — содержательный момент (по авторам, скорее формальный): аналог гуссерлевских интенциональных предметов. Вместе с тем, исходная противоречивость методологии заранее парализует все попытки рационального развития темы. Когда авторы, допустим, проводят принципиальное и важнейшее различие между пониманием как внутренним непосредственным “схватыванием” и знанием как внешним, опосредованным ознакомлением, только конкретный анализ категорий позволил бы уберечь подобную методологию от обвинений в банальности и бессодержательности. Но как, спрашивается, можно анализировать категорию понимания — то есть, определять ее путем познания? Неудивительно, что дальнейшее теоретизирование превращается в хитроумную и произвольную

терминологическую игру. Ведь как бы то ни было, "понимание" есть восприятие чего-то, следовательно неизбежно опосредованное отношением к предмету. Не более вразумительно, например, и следующее заявление авторов: "В основе нашего подхода лежит принцип сплошной и последовательной неклассифицируемости... не переход от общего понятия к частному, а просто следующая ступень в нашем рассуждении, в конкретизации нашего понимания. Новые понятия выступают как новые конкретизации самого нашего понимания, а не его объекта".

Тут что ни слово, то Цицерон с языка слетел. "Конкретизация" — это и есть обычная классификация, то бишь "переход от общего к частному". И чего стоит "понимание", если оно не находится ни в какой связи со своим объектом?<sup>2</sup>

Конечный вывод впечатляет своей помпезной тривиальностью. "Почему, собственно говоря, — с превосходно наигранным недоумением спрашивают себя авторы, — нужно столь долго и сложно рассуждать для понимания и объяснения символической жизни сознания тогда, когда символическая жизнь сознания предполагает в принципе непосредственное понимание?..

Мы думаем, что символ только может быть непосредственно понят тем, кто им оперирует".

Ради эдакой концепции книги писать, конечно, не стоило — но нужно иметь в виду, что теоретическими аспектами ее значение не исчерпывается. "Размышления" Мамардашвили и Пятигорского — талантливейший образчик насквозь литературного, заботливо стилизованного и зачастую бесспорно пародийного косноязычия<sup>3</sup>. Благодаря этой особенности книга выполняет одновременно и весьма своеобразную эстетическую и, так сказать, антипропедевтическую функцию, отвращая философствующего русского интеллигента от солидной академической философии и, наряду с этим, вселяя в него трепетное и суеверное к ней почтение. Тем самым философии возвращается то исключительно магическое, культовое значение, которое когда-то придавалось ей в России.

Находясь на Западе, нам трудно вообразить, с каким умильным благоговением будет перелистывать советский читатель эту убого изданную, украшенную нелепым рисунком книгу (художник, к счастью для себя, предпочел остаться неизвестным), усердно вглядываясь в ее тяжеловесные и затейливые словесные узоры.

Возможно, впрочем, что я попросту не понял намерения авторов. Ничего постыдного в этой возможности для себя не нахожу. В конце концов, Канта, к примеру, читать несравненно легче, чем Мамардашвили с Пятигорским, хотя отсюда еще не следует, что Кант хуже. Как бы то ни было, меня утешает сентенция Лидии Ворониной, мимоходом высказанная в ее остроумном предисловии к "Символу и сознанию": "Что касается "критики" данного текста, то он просто неуязвим тем, что открыт полностью для любых возможных пониманий, равно как и непониманий".

---

<sup>1</sup> Основные источники, по-видимому, — Индия и поздние европейские иррационалисты; аналитическая психология; Витгенштейн с его символизмом и идеей о невыразимости бытия в формах мышления; из русских исследовате-

лей — гуссерлианец Г. Шпет — ощущается влияние работ “Явление и смысл” и “Внутренняя форма слова” — и неокантианец М. Бахтин (тезис о принципиальной неисчерпаемости сознания). Но, кроме того, — хотя, я думаю, авторы вряд ли задумывались над этим примечательным совпадением — взгляды Мамардашвили и Пятигорского чрезвычайно характерны для некоторых литературных направлений и, в первую очередь, для русского романтизма и неоромантизма, начиная с Жуковского (“Невыразимое подвластно ль выраженью?..”) и Тютчева (“Мысль изреченная есть ложь”).

<sup>2</sup> Что касается собственно “символологии” Мамардашвили и Пятигорского, позволю себе сформулировать ситуацию таким образом: дуализм семиотики и проблема объекта снимаются феноменологическими методами (*Selbstgegebenheit*, самоданность сознания), которые немедленно вступают в противоречие с догматической метафизикой авторов, декларирующих: “Символ... такая странная вещь, которая одним своим концом “выступает” в мире вещей, а другим — “утопает” в действительности сознания”. Здесь — опять-таки, в русле эволюции гуссерлевского метода — следовало бы ожидать конкретных онтологических разработок, в частности, модального анализа символов — но бесплодность и иррациональность понятия “метасознания” начисто закрывают эту перспективу.

<sup>3</sup> Пародийность распространяется и на многие концептуальные пассажи — такие, скажем, как грациозная параллель между Буддой и Гуссерлем или метафизические рассуждения о дизайне.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”  
ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ КНИГУ  
КИРИЛЛ ХЕНКИН  
“РУССКИЕ ПРИШЛИ!”**

**300 стр.**

**14 долл.**

В своей новой книге известный автор (“Охотник вверх ногами” и другие) задается вопросом о том, как формировалась “третья эмиграция”. Кто столь заботливо мог отобрать своеобразный букет талантливых писателей, неунывающих стукачей, высококвалифицированных уголовников? Кто сумел бы очистить Одессу и Кутаиси от черного бизнеса, а Вильнюс и Ригу от сионизма? Кто позаботился об очистке Москвы и Ленинграда от ненадежного элемента и об укреплении кадров радиостанции “Свобода”? Читатель уже полагает, небось, что догадывается об ответе? Так вот — его ждут неожиданности...

Заказы и чеки принимаются по адресу: “Москва—Иерусалим”, п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ПУБЛИКАЦИИ

Лев Шестов

### ПИСЬМО К ОТЦУ

(с отчетом о втором Базельском конгрессе сионистов /10-30 августа 1898 г./)

*Дорогой папаша! Вы, верно, очень недовольны, что я не писал тебе все время, пока длился конгресс. Но это было решительно невозможно. Заседания длились почти непрерывно и затягивались до ночи. Последнее заседание окончилось в половине пятого утра. А в небольшие промежутки между двумя общими заседаниями еще собирались частные конференции русских делегатов, так что большей частью не успевал даже и к обеду попасть. Правда, я не досиживал до конца всех заседаний, ибо до того утомлялся, что ничего не понимал даже из речей делегатов, говоривших по-русски. Я совсем отвык от такой шумной и бурной жизни за последние два года. И мне поэтому было ужасно трудно за всем следить и оставаться непрерывно в залах заседаний. Да, впрочем, не я один. Многие, крепче и поздоровее меня, покидали зал среди даже интересной речи, так как силы им отказывали служить. Я был ужасно доволен тем, что ты не приехал. Тебе было бы жалко уходить из заседаний — но высидеть все время ты бы не мог. И при том, как мне кажется, конгресс тебя бы не удовлетворил. Шлейфер передавал мне, что тебя больше всего интересует колониальный банк и что ты из-за банка больше всего хотел присутствовать на конгрессе. Ну, а в этом отношении ты бы узнал очень мало нового. Все русские делегаты, ехавшие в Базель, главным образом хотели себе выяснить положение банка. Верно, ты слышал, что 150 русских делегатов собрались предварительно в Варшаве. Там у них совещание длилось четверо суток, т.ч. они приехали в Базель уже охрипшими и утомленными. Но все-таки в Варшаве они пришли к единогласному решению: требовать отчета о собранных шекелями суммах и о положении банка. На предварительных заседаниях русских депутатов доктор Коган-Бернштейн — не знаю, помнишь ли ты его: он когда-то был в Киеве студентом, хотя и недолго — заявил нам, что в Варшаве решили во что бы то ни стало требовать полного отчета по этим двум пунктам и убеждал нас ни за что не уступать, как бы Герцль и его товарищи ни протестовали. С ним все согласились, но на конгрессе поддерживали его не очень усердно. Тогда он снова созвал русских депутатов и стал упрекать их в неумении постоять за себя. Но доктор Членов из Москвы заявил, что не следует вносить раскол в движение и что гораздо лучше, чем собраться на конгрессе, частным образом послать к Герцлю двух русских, которые бы допросили его о причинах его таинственности. Выбрали Членова и Когана-Бернштейна. Они пошли к Герцлю и говорили с ним. Что он сказал им — мы не узнали. Только вернувшись от него, К. Бернштейн стал другим человеком. Он не только не убеждал нас оппонировать Герцлю, но открыто, на конгрессе, произнес длинную речь, в которой заклинал всех депутатов ни о чем больше Герцля не допрашивать и хотя бы еще на один год совершенно довериться ему. Не все с ним согласились, но его мнение все-таки восторжествовало. Отчет об истраченных шекельных деньгах мы не получили, о банке*

нам сообщили только самые общие сведения, относящиеся к его учреждениям, имеющим второстепенный интерес. Спорили очень много о том, что местом деятельности должен быть не "восток" вообще, как проектировалось в уставе банка, а только Сирия и Палестина. Герцль настаивал на том, что слово "восток" из политических соображений должно быть оставлено, чтобы Турция не увидела в уставе банка посягательство на свои права. Помирились на середине, на том, чтобы было прибавлено к слову "восток" слова "главным образом в Сирии и Палестине". Такого рода споров было много, и они отнимали массу времени, тем более что ораторы не всегда, как это водится, говорили прямо о деле, и многие стремились блеснуть красноречием и возвышенностью своих чувств. Но без этого и в парламентах не бывает, где выступают люди, искушенные в политической борьбе. Много хлопот доставили конгрессу социалистические депутаты. Их было немного: всего несколько человек из студентов. Тем не менее из-за них поднималось много шума и даже произошло два скандала. Как раз во время заседания конгресса пришло известие, что Государь наш предложил Европе план разоружения. Один из депутатов взошел, с ведома Герцля, на трибуну и предложил конгрессу послать Государю благодарственную телеграмму. Это было, конечно, очень бестактно. Какое право имеет конгресс сионистов посылать такого рода телеграмму? Можно быть уверенным, что телеграмму вернули бы. Но многие все-таки пришли в восторг и начали аплодировать. Другие — главным образом, не русские делегаты, у которых больше политического такта, не соглашались с предложением. Социалисты, воспользовавшись замешательством, подняли крик и шум. Герцль только тогда понял, что телеграмма оскандалила бы нас, и изменил предложение в том смысле, что конгресс должен только перед самим собой выразить радость по поводу события. Это было принято с восторгом и аплодисментами, не нарушенными ни одним возгласом протеста. Но через два дня этот инцидент снова подал повод к ужасной буре. Распространился слух, что один из социалистов телеграфировал в какую-то газету, что будто бы конгресс непочтительно отнесся к предложению о телеграмме. Когда это узнали, поднялся такой крик, что, говорят, было уже недалеко от вмешательства полиции, ибо на улице все было слышно. К счастью, нашелся один человек, который сумел успокоить разбушевавшихся депутатов. Тем временем Герцль объяснился с обвинявшимся социалистом: оказалось, что его напрасно обвиняли. Он сообщил в газету только то, что было на самом деле. Социалисты несколько раз во время конгресса вносили предложения, носящие партийный характер. Под конец профессор Мандельштам так рассердился на них, что предложил лишить их делегатских прав. Рассказать все, что происходило на конгрессе, решительно невозможно. Столько говорили, столько спорили, так волновались и увлекались, что нужно было бы сотни страниц, чтобы хоть часть передать всего виденного и слышанного. Одних депутатов было 350 человек. Я встретил здесь массу знакомых, которых не видел целые годы. Между прочим, и неаполитанского раввина. В числе делегатов были люди со всех концов света — из Африки, из Америки, Северной и Южной. Я встретил одного господина из Чикаго, близкого знакомого Прицкерова. Он состоит их адвокатом и передавал мне, что их дела недурны, хотя после смерти отца Тульчик не очень-то хорошо всем управляет. Этот господин обещал передать от нас всех поклон Прицкерам. Что касается

общего впечатления от конгресса, очень трудно сказать что-нибудь определенное. Несомненно, есть масса людей среди депутатов, искренне преданных своему делу. Есть, конечно, и крикуны — не только среди студентов — которые приехали себя показать, но таких очень мало. Большинство серьезно и задушевно относится к сионизму. Это видно уж из того, как работали они в течение недели. Они не знали ни днем, ни ночью покоя. Герцль — молодец. После конгресса он был так же крепок и бодр, как и в первый день своего приезда. Он даже не охрип, хотя ему пришлось столько говорить, что другой и за годы не скажет. Популярность его среди депутатов так велика, что, пока, он делает решительно все, что захочет. Кажется, так лучше. В начале необходимо, чтобы один заведовал всем. Иначе не может быть никакого порядка, особенно при тех условиях, в которые поставлен сионизм. Евреи не привыкли к политической деятельности, они разбросаны по всему миру — чтобы держать их, нужна твердая воля. Окажется ли Герцль на высоте задачи — трудно предсказать. Пока он держится и чарует всех. Он действительно необычайной красоты и привлекательности человек, т.ч. одной внешностью располагает к себе. И, затем, он несомненно очень умный и твердый деятель. Почти всегда он найдет выход, даже из самого трудного положения. Макс Нордау — кажется, не много делает. Он вроде свадебного генерала, которого пригласили из-за его чина. Речь его была хороша и вызвала энтузиазм, но потом он все время держался в стороне, словно роль его уже окончена была. Я думаю, что он больше ничего не может, чем читать речи — он слишком кабинетный человек. Одно место из его речи всем понравилось. Он сказал: "Мы, интеллигентные евреи, до сих пор полагали, что отдаем достаточную дань еврейству, если любим и читаем Гейне". Эти слова — очень правдивые — были покрыты взрывом аплодисментов.

Особенно всем понравился доктор Мандельштам и его речь. С кем я ни говорил — все от него в восторге. Говорят, что он украшение конгресса. Даже в здешних газетах его ужасно расхваливали. И действительно, видно, что он всю душу свою вложил в дело.

Между прочим, мы здесь были свидетелями одного очень отрадного факта. Как раз в то время, когда происходил конгресс, жители Базеля устроили торжественную процессию по поводу годовщины своей победы над австрийцами. Когда процессия проходила мимо городского казино, где совещался конгресс, она опустила знамена и провозгласила "хох" в честь евреев. Можешь представить себе, как приятно было узнать об этом членам конгресса.

Нужно кончать письмо. Всего на бумаге не расскажешь. Скоро появятся отчеты. Речи Герцля, Нордау и Мандельштама будут готовы через неделю. Остальное через месяца два. По-видимому, сионизм за последний год успел значительно развиваться. На конгрессе тоже не все было видно. Поклонись всем. Приехали уже мамаша и Фаня? Когда свадьба? Теперь или после нового года? Мой адрес: Сюсс, Территэ (прэ дэ Монтрэ) пост ристан. Чувствую себя хорошо. Приехал ли Кайлиман? Деньги в Базеле получил.



## ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия годичной подписки: в Израиле 2800 шекелей (можно в 2 чека с разрывом в месяц), за рубежом 35 долларов (авиапочтой в Европу — 45, в США — 51 доллар), для организаций — 44 доллара. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", POB 7045, Рамат-Ган, Израиль).

### КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Инфляция ставит под угрозу существование нашего журнала. Мы просим всех, заинтересованных в его сохранении, помочь нам пожертвованиями, которые, независимо от их размера, будут приняты с искренней и глубокой благодарностью.

В ноябре-декабре получены следующие пожертвования: А. Лернер (Холон) — 1400 шек., З. Минц (Бейт-Шеан) — 200 шек., И. Зусман (Иерусалим) — 1000 шек., А. Годес (Иегуд) — 500 шек., Гельчинский (Кфар-Саба) — 1000 шек., Э. Рижский (Нетания) — 600 шек., Я. Шапиро (Тель-Авив) — 500 шек., Л. Утевский (Безр-Шева) — 500 шек., М. Штейнберг (Кармиель) — 400 шек., В. Шапиро (Кирьят-Ям) — 300 шек. и Е. Аксельрод (Мюнхен) — 15 долларов. Мы благодарим наших друзей.

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № .....

Прилагаю чек (чеки) №..... на сумму .....

Журнал прошу выслать по адресу .....

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала .....

(фамилия)

